ЦВЕТ ЛИТЕРАТУРЫ

Венко АНДОНОВСКИ

Папокот на светот

Венко АНДОНОВСКИЙ

Пуп земли



Лауреат международной
литературной премии «Балканика»

АЗБУКА

Пуп земли

Венко Андоновский

Аннотация
Венко Андоновский. Пуп земли
Предисловие издателя
Часть первая. Замок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
Часть вторая. Ключ
Книга. «Свет»
Послесловие. (Рецензия на книгу «Пуп земли»)
Приложения
Ян Людвик. ЗАГАДКА. Девушке с раскосыми глазами

Аннотация

Роман македонского писателя Венко Андоновского произвел фурор в балканских странах, собрав множество престижных премий, среди которых «Книга года» и «Балканика». Критики не стесняясь называют Андоновского гением, живым классиком и литературным исполином, а роман сравнивают с произведениями столь несхожих авторов, как Умберто Эко и Милан Кундера.

Из «предисловия издателя» мы узнаем, что предлагаемый нашему вниманию роман представляет собой посмертную публикацию «случайно найденных» рукописей — некоего беллетризованного исторического сочинения и исповедального дневника молодого человека. Изданные под одной обложкой, они и составляют две части книги «Пуп земли»: в первой, написанной от лица византийского монаха Иллариона Сказителя, речь идет о расшифровке древней надписи, тайном знании и магической силе Слова; вторая представляет собой рассказ нашего современника, страстно и безответно влюбленного в

девушку. Любовь толкает молодого человека на отчаянные поступки и заставляет искать ответы на вечные вопросы: Что есть истина, Бог, любовь? В чем смысл жизни и где начало начал, «пуп земли»?.. Две части романа разделены дистанцией в тысячу лет, в каждой из них своя атмосфера, стилистика, язык. Однако вечные вопросы на то и вечные, чтобы освещать путь человека во все времена. Этот завораживающий, виртуозный роман сделал Венко Андоновского самым знаменитым македонским писателем наших дней.

Венко Андоновский
Пуп земли

Предисловие издателя

Чтобы с самого начала избежать неопределенности (я бухгалтер и в отчетности люблю определенность): эту книгу я предлагаю к рассмотрению и выпускаю ее в свет только из-за моего брата. Вернее, из-за чемодана-сундучка моего брата, который мне передали за пять минут до того, как доставили его тело в цинковом гробу. И поскольку гроб с телом брата был герметично запаян, а чемодан держался на одном ремне, я открыл чемодан. Из него вывалились: желтая зубная щетка; несколько неиспользованных презервативов марки «Латекс» с запахом корицы; портсигар с тремя сигаретами «Житан» без фильтра, один неиспользованный мундштук «Никотеа стоп»; одна сигара «Капитан Эдвардс» специальной скрутки; двое брюк, одни грязные; зажигалка «Zippo», отец подарил перед тем, как отказаться от него из-за цирка; два моих письма, в которых я прошу его вернуться домой и бросить опасные цирковые номера; до неприличности откровенное любовное письмо от украинки — гимнастки на трапеции Инны Колениной; фо-

тография брата с Инной и ее сестрой Светланой Колениной; его дневник (черная засаленная тетрадка, закапанная красным вином) и несколько книг, имена авторов и названия которых мне, бухгалтеру, ничего не говорят, и по этой причине я привожу их здесь только для полноты описания, чтобы понять, что довело моего брата до смерти: «Люди, языки, письма» Ребекки Рубинштейн; «Легенды Паннонии» неизвестного автора; «Азбука для непослушных» авторитетного и уважаемого Венко Андоновского; «Вертоград духовный» о. Мелентия Хиландарца; «Knjiga o knjizi, historija pisama, materijala i instrumenata za pisanje» Звонимира Кулунджича (хорват); «Эстетические теории Средневековья» Росарио Асунто (итальянец) и Библия, македонское издание, которая сразу открылась на странице 830, то есть на Песни песней. Вот и все, что выпало, а в двойном дне чемодана парой дней позже, пока готовили церемонию погребения и ждали, когда приедут из Европы товарищи брата по цирку, я нашел самое главное, то, что, в сущности, и заставило меня решиться на такой безумный шаг — опубликовать наследие моего брата: около ста тридцати страничек текста, отпечатанного на машинке на желтоватой бумаге, сверху было заглавие «Пуп

земли», а под ним строчными буквами «роман».

Так вот именно это слово, «роман», и заставило меня выпустить эту книгу, хотя сам я умею только составлять финансовые отчеты. К тому же меня уговорил издатель, который дважды безуспешно пытался получить грант от Министерства культуры на получение помощи; меня подталкивала и большая неразделенная любовь брата, госпожа Люция Земанек, с которой он провел тот роковой день перед несчастным случаем. Она, кстати, выступала в качестве свидетеля в суде, на основании чего был составлен документ на шестнадцати страницах, в котором детально описано все, что случилось в день гибели брата.

Таким образом, настоящее издание (не могу найти более удачного названия для того, что печатается) содержит: «роман» моего брата (очень странное и необычное повествование о том, как Константин Философ, он же Кирилл, брат Мефодия (или нет?), расшифровал надпись на Соломоновой чаше в Софийском соборе в Константинополе), дневник брата, который, как я понял, находится в некой тайной связи с романом о Константине Философе и который, возможно, объясняет, как и почему появился такой необычный текст, а также свидетельские показания

Люции Земанек о последних часах покойного, то есть начиная с его тайного побега из цирка «Медрано» (в который он убежал так же тайно!) до возвращения в наш город (когда он мне даже не позвонил!) и до встречи с госпожой Земанек и его печальной смерти.

Я должен заметить, что, говоря о тексте «Пуп земли», я постоянно пользуюсь термином «роман» в кавычках. Я делаю это с чистой совестью, так как, прочитав текст, я понял, что это не оригинальное произведение моего брата, у которого не было сколько-нибудь заметного литературного таланта. Более того, можно сказать, что у меня в молодые годы было больше склонности к литературному творчеству, чем у него. Сомнение в том, что он является автором этого «романа» (можно поспорить, роман ли это вообще!), превратилось в уверенность, когда я прочитал книги, вывалившиеся из его чемодана: стало ясно, что он, совершенно искусственно скомпилировав (и кратко изложив) книги, которые я перечислил выше и которые, можно сказать, являются просто сборниками эссе, и извратив Песнь песней, сумел написать действительно потрясающее сочинение о Константине-Кирилле Философе. Как у него это получилось — не понимаю и сейчас. Может

быть, к этому имеют касательство какие-нибудь талантливые писатели и деятели искусства, с которыми он наверняка встречался во время своих странствий с цирком по белу свету. (Это, возможно, подтверждает и тот факт, что среди его визитных карточек есть и карточка Горана Стефановского из Швеции, Йордана Плевнеша из Парижа, Ханса Магнуса Энценсбергера из Германии, Предрага Матвеевича из Рима и Соломона Маркуса из Бухареста.) Но, может быть, все не так: Инна Коленина, женщина, с которой он жил, когда работал в цирке, после похорон говорила мне, что он писал какой-то роман, причем сам, и из-за этого над ним смеялись в цирке; она не помнит, чтобы ему кто-нибудь помогал и чтобы он говорил с этими всемирно известными писателями на какую-нибудь другую тему, кроме женщин, карт и выпивки. И естественно, еще о тайне сосредоточенности при исполнении своих сногсшибательных номеров на трапеции.

И еще кое-что об этом необычном издании: одну из выпавших из чемодана моего брата книг я в вышеприведенном списке не указал, и она до настоящего времени представляет для меня проблему. Речь идет о «Шутке» Милана Кундеры в македонском переводе с предисловием Луи

Арагона. Мне непонятно, что она делала в его чемодане, потому что, даже прочитав ее раз пять, я не нашел никаких следов ее влияния на его «роман». От всех других понемножку нашел, а от этой — нет. Скорее всего, он ее взял у кого-то случайно (на ней нет ни экслибриса, ни библиотечного штампа, ни дарственной надписи), но так и не прочел и не использовал в своем романе-компиляции. По этой причине я ее и не привел выше. Но она мне пригодилась для другого: поскольку наш круг крайне узок и все комментируется в самом местечковом духе, я решил всех персонажей из дневника брата, а также из свидетельских показаний Люции Земанек (да и ее саму) переименовать, использовав для этого имена, взятые из этой книги. Не знаю, какие могут быть последствия в смысле авторских прав (авось Кундера не будет со мной, бухгалтером, судиться за то, что я позаимствовал имена из его книги); в сущности, все, что связано с этим изданием, спорно, поскольку спорно само авторство. Но, как бы то ни было, единственная книга, не оказавшая влияния на «роман» моего брата, будет полезной для всего издания. Таким образом, мой брат больше не В., а Ян Людвик, госпожа Ж. становится Люцией Земанек, и так

все по порядку.

Только для меня не нашлось имени в «Шутке». Поэтому я и подписываюсь просто:

Я.

Часть первая
Замок

КНИГА «ПУП ЗЕМЛИ»

1

Мы — это душа и тело; Господь — это душа, тело и Бог. Но когда говорят: прекрасен Ты, Господи, и чудны дела Твои, то говорят так потому, что всякая плоть, тварь и вещь совершенна в своем роде, и потому, что каждая тесно связана с другими творениями и создана с некоторой необходимой целью.

Так и муравей. Так и человек.

Так и я, человек-муравей, с целью лукавой, низкой, недостойной, я, муравей, преподносящий это сочинение вам, которые придут на лицо земли после меня и предстанут перед лицом Господа, как и я предстоял и не достоял, потому что Он низринул меня от лица Своего. И прогнал меня Господь от лица Своего, говоря: «Изыди прочь от лица Моего, ибо ты решил поправить, переправить и довершить то, что Я не хотел поправлять, переделывать и довершать».

Един, велик и вездесущ Господь Бог Вседержитель, Тот, Кто из ничего создал все, Тот, Кто может и свет сотворить из мрака, а зло претворить в добро. Он вездесущ, всевидящ и всеслышащ; Он вездесущ, но не принимает Он тело мое как

дом Свой, как жилище Свое на земле, даром что тридцать и три лета возносил я Ему чистейшие молитвы от всего сердца. Отверг Он меня как дом Свой, не меня поселил в Нем, и не радуется сердце мое в Господе; и оставил меня Господь с того дня, когда явился души моей погубитель, тот, кто ввергнул меня в страдание и несчастье: Философ. Отринул меня ради него, и теперь нет Его во мне, а ведь Он везде: в колосьях вдоль дороги, в растениях и животных, в рыбах в воде и птицах в воздухе, в глазах людей, во всех созданиях. Он везде, но только не во мне.

И я зол на Него. А Он видит, что я зол, и смеется надо мной, хохочет по небесам, которые упокоил на тверди земной. Хохочет, ибо превзошел: легче Ему новое солнце сотворить на небе, чем мне зажечь свечу; легче Ему потоп новый ниспослать на землю, воды неизмеримые, чем мне слезу уронить и покаяться. И так живем мы, я и Он, в состоянии необъявленной войны. Один против другого, Он вверху, а я внизу, как два войска, одно могучее, с грозными знаменами, а другое пораженное проказой, несчастное, изнемогающее от голода, два войска, не равных одно другому, пока не прозвучит последняя труба.

Ибо согрешил я страшно: вся Вселенная постра-

дала от дел моих. Я потщился ниспровергнуть Божий престол, низринуть его, сместить точку его равновесия, но об этом потом, когда придет время, о бедные и блаженные духом слабым.

Я — червь черный, муравей мрачный, черный, живу в черном мраке. Нет глаз у меня. Сердце мое не ведает света. И страшусь. Теперь не страшусь Его, Бога не страшусь; ибо Он все видел; видел все, что я совершил. А страшусь самого себя. Если я совершил это, то чем измерить зло, которое сердце мое совершить может? Ибо меры злу нет, как нет меры милосердию и доброте; в этом они подобны, и трудно различить их слабой душе человеческой. Делай добро, и нового добра взалкаешь; делай зло, и нового зла восхочет душа твоя. Одно мгновение решает, что из этих двух ты изберешь. Я боюсь, все члены у меня трясутся, душа как в лихорадке трепещет, когда я пишу это слово для вас, тех, кто идет вослед, кто будет судить его по делам его и меня по делам моим и кто узрит в восхищении, как Господь распахнул перед ним врата чертогов небесных, а меня, который во многом не ниже его, — меня презрел и отринул.

Для вас я уснащаю это слово красотами, ибо я знаю, что произошло, какими грозными событи-

ями чреват гнев моей души. Знает и Он. Ему не нужны письмена, словеса и буквы. Он видит. От всевидящего ока Господня не могут сокрыться не только явные, но и тайные дела наши, равно и помыслы наши.

Знал ли Философ, что́ уготовала ему моя гневная, безмерно уязвленная душа? До последнего вздоха, до последнего взгляда будет мучить меня этот вопрос. Если не знал, к чему тогда его последние слова, обращенные ко мне, когда он готовился упокоиться в Бозе в светозарном Риме в четырнадцатый день месяца февраля второго индикта в год от Сотворения мира шесть тысяч триста семьдесят седьмой, которые он записал на помятой бумаге своим мелким и некрасивым почерком и сказал: «Передайте сие отцу Иллариону. В сем послании заключена мудрость Божья, равно как и спасение его».

В послании было написано: «Представь себе темнейшую ночь, мрамор самого черного цвета и чернейшего муравья. В такую беззвездную ночь на таком мраморе Бог не только видит муравья, но и слышит шум шагов его. Бог и мир с тобой, отче Илларион. Аминь».

Бумагу, послание, я разорвал и проглотил. Глубоко в себе, в утробе, скрыл я эту язвительную

параболу, написанную тем, кто вверг меня в пучину бед. Я проглотил эпистолу, писание съел ядовитое. Теперь яд выходит. Это исповедь. Перед вами, которые только приходят на лицо земли, пред лицо Божье.

Он видел. Видел, что я проглотил послание. Он и сейчас смотрит, когда я пишу. Постоянно и отовсюду. Смотрит на меня.

2

Но для вас ли я пишу? Разве не изрекают ложь уста человеческие каждый раз, как открываются? Разве не изворотлив язык мой? Не пишу ли я *для того, чтобы забыть?*

Философ однажды сказывал о случае чудном, но верном и истинном. В его краях, откуда он был родом, жил старец, который наизусть знал великое множество сказаний, поучительных наставлений и историй. Он часами рассказывал их легко и без запинки. Никогда не останавливался, его душа помнила каждую подробность того, что заучила, и он мог говорить целыми днями, когда принимался повествовать о Сотворении мира. Он знал все: что и как происходило с первого дня Господня до его времени, всякую историю помнил и самый малозначительный случай. И каждую историю он всегда рассказывал одинаково, неизменно одними и теми же словами. Умом он был светел и помнил все, как помнят глаза и уши Господа. Но из некоторой далекой земли пришел путник, умевший грамоте, и очень возрадовался, когда услышал старца, знавшего все, знавшего всю историю мира. Он предложил, чтобы старец

рассказал ее, а он бы записал, чтобы она осталась для тех, кто впредь придет в мир. Старец восхитился буквами и мощью их памяти, их чудесной способностью вмещать в себя всю историю мира, которую он знал. Он прыгал как ребенок и спрашивал: «Неужто в эти твои черточки и крючки поместится весь мир, все времена, через которые прошел мир, поместится моя душа и то, что помнит мой ум?» И когда старец рассказал одну повесть из истории, а путник ее записал, старец попросил прочитать ему надпись. Воистину, все события верно улеглись в черточки и крючки грамотея. И когда он увидел, что письмо так же знает все, как знает и он, что книга говорит его голосом, старец рассказал всю историю мира. А когда закончил, то угостил чужанина яствами и питиями божественными и оставил его ночевать в лучшем покое своего дома. Утром путника уже не было: он ушел, не простившись, по дорогам, которые знал только его посох. Ушел с историей мира, с голосом старца, застывшим в неведомых буквах. А когда вечером дети, собравшись вкруг старца, попросили рассказать им историю Вселенной, он ничего не смог вспомнить. Даже последний день не шел ему на ум, а уж тем более первый. Уста не населяли сказания, они были

пусты, как пуста моя душа от Бога. «Это потому, что чужестранец сказал мне, что я более не должен помнить и держать все в уме, что черточки и крючки будут помнить за меня». И так навсегда была потеряна таинственная и великая история мира. Она переселилась в чудесную книгу странника. Письмена крадут у нас ум и отнимают память, понуждают нас не помнить, заставляют забывать, насаждают в нас леность ума, духа, души и памяти: в той земле, говорил Философ, многие люди заразились этой болезнью — забыли, не помнят ничего и никого, даже рода своего не помнят после того, как начали пользоваться черточками, крючками и буквами.

Так рек Философ, слава ему в небесах, в чертоге Господнем.

Зачем тогда я пишу вам? Что я хочу забыть?

3

Во-первых, надо забыть свет, облако света вокруг него, которого не видел никто, кроме меня, когда он вошел в палаты логофета. И логофет, власть высшая, не узрел облака фиолетового света вокруг тела Философа. По этому я понял, что я и Философ похожи: оба видим невидимое. Внутренним взором видим.

Такого света никогда мне не было явлено, даже когда я призывал Бога, в часы бестелесные, бесчувственные. И музыку вселенскую, которой никто, кроме меня, не слышал. Три сущности видел я: свет, цвет и музыку. Вот как нас, несчастных, обманывает написанное, вот как *лживы* уста, неверен язык, переменчиво сказанное: три ли это сущности?

Одну сущность я видел, лучше так сказать и придумать слово единственное; видел я одну сущность, ибо свет есть и цвет и музыка одновременно, как цвет есть свет и музыка и как музыка есть свет и цвет. Как много слов и букв для одной сущности! Един Господь Вседержитель и велик, и в разных обличьях является нам это единое. И много слов нужно, чтобы выразить это единое,

хотя для одной сущности наилучшую службу сослужит одно слово. Но слова этого я не знаю. А когда много слов измышляется для одной сущности (как в словарях языков вавилонских), тогда они дробят это Единое на много сущностей, и единое уже не едино, и мы, говоря словами многими, говорим уже не о Нем. А все-таки совсем без слов ничего сказать нельзя. Нам, несчастным, нельзя произносить имя Господне, но я произношу его с многоглаголанием, ибо сердце мое слабо и все, что я умею — это мыслить разумом своим и Слово писать рукой своей.

Попробую, значит, буквами описать, хотя знаю наперед, что описание будет несходно с видением: музыка была самых изысканных тонов, самого утонченного звучания, а самого утонченного звучания земное ухо не слышит. Потом: свет, созвучный всем цветам, его составляющим; свет такой, что, когда он входит во всякую сущность, его лучи одушевляются ею и он окрашивается в цвет, подобающий этой сущности, свет неизменный, первоначальный, а меняющийся при вхождении в предмет. Свет благовидный, а благовидный потому, что он прекрасен одновременно во всех своих составляющих, потому, что он прекрасен всегда в одном и том же отношении

и одним и тем же образом, потому, что он не возникает и не исчезает, не увеличивается, не уменьшается; про него нельзя сказать, что он частью красив, а частью отвратителен, или что он иногда красив, а иногда отвратителен, или что по отношению к одному предмету он отвратителен, а по отношению к другому предмету красив, или что он на одном месте красив, а на другом отвратителен, или что для одних он красив, а для других отвратителен, нет, он сам по себе прекрасен сейчас, всегда и во веки веков, обликом он всегда сообразен с самим собою, это свет, несущий в себе источник красоты: свет, музыку и цвет. Свет, видимый сердцу и распадающийся на цвета, когда его видит разум; музыка, слышимая сердцу и распадающаяся на голоса, когда ее слышит разум.

Свет — благодать, Святой Дух. Дождь, дождь из света. Как дождь, падая на землю, передает растениям их свойства: сладким — сладость, разымчивым — дурман, а ядовитым — яд, так и свет сей, входя в сердца людей, меняется и дарует им качества в согласии с доблестями сердец их.

Мне — яд. Муравьиный.

Он вошел и остановился перед логофетом. Он поклонился (и облако поклонилось вместе с ним,

но этого никто, кроме меня, не видел). Рядом с логофетом был я, отец Стефан Буквоносец (отец письменности, которую должно было принять все царство, и приняло бы, если бы не пришел тот, другой!) и отец Пелазгий Асикрит, смотритель библиотеки. Мы все поклонились ему, ибо слух о чудесах и подвигах его шел впереди него. Никто из нас не знал, почему логофет вызвал его, но мы предполагали, что он хотел увериться в его духовной силе. И догадывались, что это таинственно связано со странной болезнью его дочери, которая вот уже много лет (из-за проклятия, нависшего над нашим царством и над зловещей комнатой со Словом в ней, тайна которого осталась нераскрытой) страдала от необыкновенной и неведомой болезни и под ней истлело уже столько постелей, сколько ей было лет.

Но об этом потом, ибо время еще не приспело, о возлюбленные мои; а я известен тем, что наслаждаюсь, сочиняя всяческие Слова и выдумывая истории, которые хоть и вовсе не случались, но выглядят так, будто они у вас перед глазами; и умею поведать сказание с отступлениями; понемногу я даю вам вкусить от повествования, от сладкого меда историй, как жаждущему дают воду в пустыне, капля за каплей, чтобы не

умертвило его утоление жажды, исполнение желания. И вот так всегда я поступаю и впредь буду поступать: дам вам вкусить немного и больше не дам до следующего раза, потому что еще не пришел срок, и чтобы у вас было время принять и обдумать сказанное, чтобы не отравил вас яд знаний, чтобы не вдруг утолили вы жажду истины, чтобы повествование не сразило вас и вы не скончались, слушая меня, от неготовности принять сказанное. Поэтому я и получил такое имя от здешних отцов, которые нарекли меня Илларионом Сказителем, как только заговорили уста мои и язык мой, еще шестимесячный. Это мое раннее умение связывали с тем, что я найденыш, а не плод чрева женского, или, если угодно, плод неведомого чрева женского, о доброутробные. Отцы говорят, что, вероятнее всего, меня родила женщина, которой Господь Бог затворил лоно; она родила меня, говорят они, после долгих молитв пред лицом Господа и что она дала обет, молясь Богу, что если родит, то отдаст меня Ему в услужение и что бритва не коснется моих волос или бороды, пока душа моя пребывает в теле. И говорят еще, что поэтому она оставила меня именно перед дверьми той тайной, роковой для нашего царства комнаты — комнаты страха и

ужаса нашего, в глубине глубин церкви Святой Софии, откуда я и возвещаю это Слово для вас, блаженные.

Тридцать три года тому я был найден на ступеньках лестницы, поэтому меня хотели окрестить Лествичником. Так велел отец Стефан Буквоносец, на которого я весьма похож обликом, а более всего — волосатыми руками. Это он решил назвать меня Лествичником, чтобы я возвысился, стал чист духом и богоугодными деяниями приблизился к Богу. И так и было, я был Лествичником, пока не отверзлись уста мои в возрасте шести месяцев и пока Бог не укрепил язык мой в словах. А когда услышали отцы, нашедшие меня, что полугодовалое дитя может рассказывать различнейшие истории и что истории эти к действительности отношения не имеют, что они без корней, как дерево в воздухе висящее, вымысел чистый, то нарекли меня Сказителем. Сказания суть домыслы, в отличие от событий, которые, без сомнения, происходили и должны быть верно пересказаны. А язык мой не к событиям, а к сказаниям дар имел и этим медом был вскормлен сызмальства. И так стал я Сказителем, ибо лучше всех других здесь я владею искусством сказывать сказки, искусством повествований и грез, кото-

рое все сводится к отсрочкам и оттяжкам, ибо всякое удовольствие человеческое, включая и удовольствие выслушать или поведать сказание, из того и состоит, чтобы оттянуть миг удовлетворения, ибо после удовлетворения желания страсть в душе угасает как свеча, когда догорит в подсвечнике. Имя Сказитель мне совершенно подходит, и мало кто знает меня как Иллариона; я был Сказителем, пока не появился Философ. С тех пор для меня каждое сказание превратилось в наказание; так я сам говорю, ибо наказанием Божьим, карой Божьей стала душа моя для этого моего ни в чем не повинного тела!

Поэтому я незадолго до этого и сказал: я был во многом не ниже Философа, который был мудр и учен, но не видел того, что видел я, не умел своим умом сочинять сказания, а только пересказывал чужие. Но Он его избрал, его поселил в Своей обители, потому что не любил вымысла. Ибо в Священном Писании сказано, что в чертоги небесные, в град Божий, не войдут псы, любодеи, убийцы, идолослужители и всякий любящий и делающий неправду. А Сказители — делают и *любят* делать неправду. Ибо сказано, устами святого апостола Иоанна Богослова: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова про-

рочества книга сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни…» Я приложил и согрешил, и Бог накажет меня, добавив в книгу жизни: смерти буду желать, но время мое не придет!

И было так, ибо не было иначе, моими устами сказано, моей рукой написано: после того как мы поклонились Философу, а он нам, логофет изрек:

— Добро пожаловать, Философ.

— Господь да благословит тебя и царство царя твоего, благочестивый управитель, — ответил Философ.

— Вот мои советники, отцы духовные, первенцы рода своего, члены совета моего, — сказал логофет и указал на нас. — Отец Илларион, которого мы зовем Сказителем, потому что он сочиняет сказания без корней в земле. Отец Стефан, по прозванию Буквоносец, который придумал новую азбуку, лучше нынешней. И отец Пелазгий, мой и царский асикрит, отвечающий за библиотеку, многоученый, число дней жизни которого вдвое меньше числа Слов, им прочитанных.

Так он нас представил, будто имена исчерпывают смысл сущностей, которые их носят, и будто

они всегда даются нам по правде и по заслугам. А даются они из грешных уст человеческих и оттого часто сами грешны; так, часто случается, что имена святых дают башибузукам и разбойникам с большой дороги; только Бог знает истинные имена явлений и предметов, но не открывает их, ибо время еще не пришло, как в сказаниях моих.

Философ качал головой, крестился, когда называли каждое имя, а потом с любопытством начал разглядывать нас своими большими теплыми глазами. Я ненавижу его, а из-за него и Его, но должен сказать, что не видел очей прекраснее, подобных глазам молодого оленя. Ничего человеческого не было ни в тех глазах, ни в его взгляде светлозрачном: он стоял перед нами, и по лицам Пелазгия и Стефана я понимал, что они не видят того, что вижу я, — облака света, которое продолжало облекать тело чудотворца. И взгляда его они не видели, взгляда, который зрит и прозревает сквозь оболочки сущностей: за твердой скорлупой ореха он ощущает его скрытую сладость и за мягкой кожей нас троих он чувствует нашу тайную горечь.

— К вашим услугам, раб ваш и Божий, — сказал Философ.

— Правда ли то, что говорят, Философ, о святых

мощах святого Климента? — спросил логофет.

— Господь увидел, — коротко ответил Философ, у которого, верно, не было расположения разговаривать.

— А почему они испускают сияние?

— От одного слепого нищего, который, как всякий нищий, простирает длань за подаянием Христовым, ибо кто подает бедняку — Христу подает, я узнал, что мощи великого святого все еще лежат в море. Я умолил архиепископа дать мне корабль с людьми набожными, мужами благочестивыми, чтобы отвез он меня к тому месту. И тот человек поступил так: дал мне корабль и людей общим числом человек двенадцать. И когда мы доплыли, великая тишь пала на море. Я велел им копать в том месте. И сказал: «Войдите в воду и копайте в воде и не бойтесь, ибо не потонете, как мыши». — «Кто в силах выкопать яму в воде, Философ»? — спрашивали эти двенадцать. И я сказал этим людям, что, если мы на истинном месте, море само откроется, и покажется земля. И они прыгнули в воду, но земля не показалась, ибо не были мы на истинном месте. Люди стали кто тонуть, кто выплывать, но тут страшная буря налетела на море, поднялась волна великая, и нас понесло дальше, к берегу. В какой-то миг

буря стихла, море отверзлось, и стало видно дно. Люди мои принялись копать, и тут послышался сильный запах лампад и ладана и открылись святые мощи. А затем люди собрали их в ковчежец, запечатали и с большой честью и славой пронесли их в храм, в город. Вот что произошло, милостивый повелитель, с Божьей помощью и по желанию Его.

Пока Философ говорил, я смотрел в лица отца Стефана и Пелазгия. У отца Стефана один глаз был совсем белый, закрытый бельмом, еще у него была жилка на шее, которая в минуты злобы и гнева (а они частенько на него нападали, ибо он был слаб душою) билась, как у ящерицы. А сейчас эта жила, казалось, лопнет. Буквоносец надулся, как вол, утонувший в реке, побагровел, затем посинел, и только присутствие логофета мешало ему прервать рассказ, ибо не желал он слушать о подвигах других. Завистлив был Буквоносец, и душа его страдала от зависти и днем и ночью, как камень прибрежный от волн морских. И поэтому в моих сказаниях я представлял отца Пелазгия молью, или, по крайней мере, я тешил себя мыслью, что в какой-то предыдущей жизни (я один из всех отцов верил в это чудо, предыдущую жизнь) он всеконечно и несомненно был

молью, ибо зависть — это воистину моль: как это несчастное создание пожирает одеяние, в котором родилось, так зависть снедает сердце, грызет душу, уродует тело. Как всякий завистник, отец Стефан терзался, встречая высших себя, не замечая, что равен им, обессилевал, видя равных себе, желая первенства и власти над ними, трясся от страха при взгляде на меньших себя, боясь, что они поравняются с ним, ниже превзойдут его. Плакал отец Стефан с плачущими, но душа его не радовалась с радующимися. Всю жизнь это мешало ему быть счастливым: зависть не давала ему насладиться тем, что он имел, ибо его постоянно мучило желание того, чего у него не было. Так и теперь: постепенно, а видел это только я, он превращался в несчастное орудие злобы.

Отец Пелазгий Асикрит, напротив, внешне спокойно смотрел на Философа, но на его устах заиграла лицемерно-сладкая улыбка. А он был лицемерен, и душа его страдала от двуличия. В улыбке его таилась насмешка; я хорошо ее знал, ибо однажды исповедовался у отца Пелазгия и поведал ему, что слышал небесную музыку в храме, когда призывал Бога в часы бестелесные и бесчувственные. Та же усмешка, что и сейчас, играла тогда на его губах. Эти двое не верили в

чудеса, потому что усердно призывали Бога, а Он ни разу им не явился; они повествовали семинаристам о чудесах Пресвятой Богородицы, но сами в них не верили. И теперь не верили, хотя, как я уже сказал, пред приходом Философа до нас дошла весть о чудесном открытии мощей святого Климента, пречестного папы римского, который приял мученическую смерть, утонув в море.

Логофет смотрел на Философа, вытаращив глаза. Ему было непонятно, как может Философ рассказывать о таком событии с такой простотой и спокойствием, как будто он рассказывал, что отворил дверь, вошел в комнату и закрыл дверь за собой.

— А образование, Философ? Где ты учился? У столь просвещенного человека должно быть много книг. Скажи, где твои сундуки со Словами, я прикажу их принести.

— Никаких сундуков у меня нет, — был ответ.

— Как нет?

— Так, всемилостивейший. Небо, земля, море, весь этот свет — это огромная и преславная книга Господня, в которой в молчании нам открывается проповеданный Бог, ибо все видимое свидетельствует о невидимом, — сказал он, и это, очевидно, произвело сильное впечатление на логофета.

Отец Стефан откашлялся, посмотрел на отца Пелазгия, тот притворно улыбнулся и пробормотал так, что слышно было и логофету:

— Следственно, вотще нахожусь я в челе библиотеки, ибо нет в ней ни неба, ни земли, ни моря. Или, скорее, если верно сказанное пречестным Философом, я в челе неба, моря и земли!

Логофет удивленно поглядел на отца Пелазгия, у того усмешка сразу застыла на устах, и в тот же миг отец Пелазгий раболепно склонился перед логофетом и забормотал:

— Прекрасную параболу использовал Философ, о логофет. Но и книги и Слова нужны. Для учения. Для *настоящего* учения.

О Философ, человек телом, ангел душой! Душа твоя в тот миг стала мягкой, словно пряжа, в которой застряла отравленная стрела; успокойся, ибо стрелы зависти не могут поразить мягкое, улавливающее и обезвреживающее их, а от твердых каменных стен суеты эти стрелы отскакивают, как от крепости, но оставляют в них отметины. Философ мягко улыбнулся, но понял, что значило слово *настоящего.* Он был опытен в словопрениях, и мы слышали, что всех, с кем он спорил, он победил разумом, рассудком и верой в Бога. О нем говорили, что из уст его исходят слова то благие и

мягкие, то строгие и праведные, но не ядовитые и что обычно его противники после диспутов с ним уходили посрамленными. Он только погладил бородку, посмотрел куда-то поверх головы отца Пелазгия и сказал:

— Когда море отверзлось, кто это сделал — человек или Бог?

Пелазгий сказал:

— Бог.

— А когда некто не верит, что море отверзлось, но верит, что только Бог может отверзнуть море, то что это значит — что он не верит в Бога или не верит в человека?

— Не верит в Бога, — сказал Пелазгий и вспотел.

— А чтобы некто мог не верить в Бога и мог сказать, что Бога нет, разве не следует ему самому быть всеведущим и самому быть всемогущим, то есть самому быть Богом? Чтобы сказать: «На свете нет Бога», разве не следует сначала познать весь свет, постичь всю Вселенную со всеми ее солнцами и звездами, историю всех времен, пройти все пространство и все время?

— Да, — нехотя и недовольно сказал Пелазгий и скривил рот, будто съел пригоршню кислых ягод.

— И как же так, пречестный асикрит: Пелазгий — Бог, а в Бога не верит? Разве Пелазгий не верит сам в себя?

Только я понимал, что происходит с Пелазгием. Душа Пелазгия была воистину слаба и не верила в саму себя, а еще менее в Бога. Потому была и горделива, и раздражительна, ибо гордыня проистекает из слабости, из недостатка веры в себя. И потому не может уподобиться Христу, хоть что читай днями и ночами. И поэтому в моих сказаниях я представлял его совой, которая в темноте видит совершенно ясно, а при солнце, при свете Божьем, становится слепой птицей. Так и Пелазгий: он был необыкновенно остроумен и смышлен в беседах в семинарии о подробностях событий в Евангелии и деяниях подвижников, но не видел ничего, когда возгорался свет истинный, облако света, дождь света, какой сиял сейчас вокруг слабой, почти бестелесной плотской оболочки Философа. Был у отца Пелазгия один недостаток: когда одолевали его в спорах с притчами, начинал он заикаться, а на глазах его проступали слезы. Но это были не слезы слабости, а слезы гнева, что, может быть, и одно и то же, ибо слабый гневлив и злопамятен; он помнит все, пока не отомстит. Ибо сказано же: легче победить

царства, чем гнев свой. И многие герои, победив царства, становились слугами своего гнева. Так и Пелазгий: начал креститься (а в самом буря бушует), промямлил, что все не так, что Бог ему свет. Но Философ точное слово сказал о Пелазгии, и я, хоть в этот миг и ненавидел его, а ненавидел, ибо смотрел он в нас и в сердца наши и утробы, будто мы из стекла, — я знал, что Пелазгий не верил в себя и что потому не мог и в Бога верить. Знал, что как невозможно видеть солнце, если солнца нет, так невозможно Бога познать, если Бога в тебе нет, если веры в себя нет. Ибо Бог в нас; кто в себя не верит, не верит и в Бога, который в нем.

Логофет между тем заплескал в ладоши в знак одобрения Философа. Смотрел на него как на откровение. Очевидно, весело ему было слушать Философа, но нас, чьими мудростями он был пресыщен, он не высмеивал.

В ту минуту отец Стефан совершил самую большую ошибку, ибо вмешался и встал на защиту отца Пелазгия.

— Сколько книг прочел ты, Философ, что говоришь столь мудро? — спросил он с лицемерной благостью, но мы знали, что душу его снедает суетный огонь. Возжелал отец Стефан доказать свою мудрость, а ведь сказано: «Доказывай

мудрость свою, будто доказываешь, что солнце светит!»

— Не знаю, — ответствовал Философ.

— Наверняка знаешь, хотя бы приблизительно, — сказал ему тот, подводя его к ловушке, как охотник, что загоняет оленя к капкану.

— Может быть, сто, — сказал Философ.

— В нашей библиотеке их пять тысяч, — торжествующе сказал отец Стефан. — А асикрит Пелазгий прочитал четыре тысячи. — И жилка победоносно заиграла у него на шее.

Философ улыбнулся и спросил искренне:

— Разве нужно выпить все море, чтобы понять, что вода в нем соленая?

Логофет громко рассмеялся, и смех этот поразил отца Стефана прямо в сердце, жилка на шее у него билась так, что я в какое-то мгновение испугался, что она может лопнуть и кровь начнет брызгать во все стороны.

Логофет по-прежнему смеялся, все чувствовали себя не в своей тарелке, и Философ это понял и продолжил:

— Отец Стефан, если каждый день читать с утра до ночи в течение шестидесяти лет, сколько шагов книг можно прочитать? Не больше одного или двух шагов. А в вашей библиотеке будет на-

верняка больше тысячи шагов, если обойти все стены. Но это не означает незнания, ибо знание не измеряется в шагах; а если бы было так, то тот, кто целыми днями шагает и у кого нет другого дела, кроме как вводить нас в искушение, тот был бы умнее всех, асикрит из асикритов!

Стефан неистовствовал, претворялся в ящера богомерзкого, в моль, поедающую собственные ясли; Пелазгий уже совсем побледнел, и только я видел, что Буквоносец под ризой сжимает пальцы десницы в кулак. А Философ все так же продолжал говорить, спокойно, кротко, размеренно, но строго и праведно, словами, бьющими больно и метко. Ведь сказано же: «Враг твой — лучший врачеватель недостатков твоих, ибо он пристальнее следит за тобой, чем друг, который по учтивости или ласкательности своей никогда откровенно не изольется!» И ты вразумляйся от него, ибо то, что глаголет, не есть яд; да и разве ядов малые меры, капли чуточные, как и мое поучение в сказаниях, не суть ли лекарства от боли? Неприятель твой, о отец Пелазгий, есть врачеватель души твоей, но тогда ты этого не увидел, не понял. А Философ продолжал:

— Кроме того, сердце так же ведет к Богу, как и книги. Как никому не вдохнуть в себя всего

воздуха, так никакому уму не впитать в себя всего знания. И конечно, если человек читает до последнего вздоха своего, он, несомненно, будет знать много, но не будет у него времени другому передать науку эту в последний свой, предсмертный миг, ибо миг короче часа, час — года, а год — жизни; и вот, если ждать смертного часа, чтобы передать знаемое, оно вместе с мудрецом перейдет в мир иной, и никто не узнает, что тот знал.

В лице отца Стефана не было ни кровинки; вся кровь собралась у него в той жилке на шее. А отец Пелазгий все облизывал сухие губы и в крайнем напряжении, стараясь не заикаться, проговорил:

— А сколько раз в день ты читаешь эту свою книгу моря, земли и неба, Философ? И почему ты читаешь ее сегодня, раз вчера ты ее уже прочитал?

А тот мягко улыбнулся и спросил:

— А почему ты, отец Пелазгий, сегодня есть захотел? Ты ведь вчера отужинал?

Логофет уже с восторгом смотрел на Философа. Указал на стулец подле себя и сказал:

— Садись. Сядь здесь, Философ!

Никто из нас не помнил, когда последний раз логофет позволил кому-нибудь сесть в его присутствии, тем паче сесть рядом с ним. Такой чести

до этого удостоился только отец Стефан, когда придумал новые буквы, ибо логофет прежние никак не мог выучить и жаловался, что они слишком сложные. Мы все знали, что душа логофетова ленива, и что тяжело входит учение в душу его, и что власть Бога не просит, и что лучше выдумать новые буквы, попроще, чтобы и тот мог сочинять Слова и писать заповеди своей рукой, своим почерком. Много труда положил отец Стефан, чтобы научить логофета старым, прежним буквам, но ничего у него не выходило. В конце концов получил он указание придумать новые. А когда тот выполнил задание и принес буквы, изукрашенные на бумаге, пригожие, как девы, хранящие свою невинность, логофет превозвысил его и удостоил его чести сесть рядом с ним. Он выучил новые буквы в три дня и был весьма доволен, ибо они были просты и специально сложены для властителя. В новом письме каждая буква была картинкой, которую было легко написать, легко запомнить и легко вычленить ее значение, ибо картинка самым понятным образом передает ее душу, то есть значение: одинакие суть по значению сами с собою, с тем, что нарисовано на картинке. И Буквоносец измыслил точно тридцать и две буквы, тридцать

и две картинки для тридцати и двух слов, без которых не может обойтись ни один правитель и которые необходимы ему в науке управительства над другими людьми, а меж ними важнее всех: «я», «власть», «ухо» (что означает «наушник», ухо государево, человек, слушающий, что говорят о власти, и услышанное передающий потом царю) и другие, а все письмо выглядело так:



Когда увидел отец Стефан, что хорошо Слово, которое своей рукой и с помощью новорожденного письма составляет логофет, он предложил

ему издать закон: во всем царстве все должны изучить новые буквы; писари, священники, управители и все грамотные должны заменить старые буквы на новые, чтобы они были понятны властителю. Я знал, что это будет нелегко сделать и вызовет волнения в народе, ибо теперь с новым письмом мир стал выглядеть маленьким, стеснившимся и слишком упрощенным: ничего из тех сущностей, для которых не было картинки в письме Стефана Буквоносца, более не существовало, ибо сущности наличествуют, только пока имеют названия, которыми их можно именовать. Выходило, что Буквоносец отгородил часть света, созданного Господом, и сказал: вот, с этим вы будете жить отныне и ничего другого, для чего не родил я буквы, более не существует. В том письме, например, не было знака «любовь», даже для любви телесной, с женщиной; когда я сказал о том Буквоносцу, он заскрежетал зубами, засверкал белым оком и ответствовал: «Это не твоя забота. Когда прикажет тебе логофет измыслить письмо лучше моего, тогда и будешь вставлять в него, что тебе потребно». И выгнал меня из семинарии. Но я много размышлял об этом письме и пришел к выводу странному, но спасительному: может быть, сказал я себе, народ станет тайно,

без ведома логофета (который наверняка не дозволит умножать число букв в этом письме), использовать один знак для обозначения двух, а то и трех сущностей; так, знак «власть» станет и знаком «любовь», хотя мне не была ясна тайная взаимосвязь между двумя этими понятиями, если вообще существует связь между «овладеть» и «любить». Также мне было неясно, как распознать, когда этот знак (человек с поднятой рукой) значит «Я владею тобой», а когда «Я люблю тебя», и я уже представлял себе, какие могут от того произойти недоразумения. И мне было неясно, почему правитель всегда хочет выучить буквы и знать их число и не позволяет выдумывать новые имена для сущностей. И почему народ должен под одним и тем же знаком скрывать разные значения. От кого их скрывать? И зачем такие тайные письмена в письменах, тайные слова в словах, тайные буквы в буквах, какие открыл отец Кирилл Философ, как мы увидим в дальнейшем, ибо сейчас время рассказать об этом еще не приспело. Но я не хотел во все это вмешиваться, потому что мучил меня страх навлечь на себя гнев Буквоносца, ибо не дано мне было быть Буквоносцем, а всего лишь Сказителем.

Так и было: устранился я на время с пути Бук-

воносца и старался ничем его не прогневить; а когда Философ воссел на стулец подле логофета, я представил, что сейчас происходит в суетной, гневной душе Буквоносца, и у меня мурашки побежали по коже от того, что я увидел в ней (я говорил вам, что вижу то, чего другие не видят, но пока об этом умолчу, ибо еще не пора), и я подумал, что, может быть, время и мне сказать что-нибудь в нашу защиту. Не потому, что хотел, а потому, что нужно было, поскольку я знал, что после призовет меня Буквоносец в свою келью, как часто делал, когда не был доволен моим поведением, ибо желал он, чтобы я походил только на него, а на себя — нет. Ибо сказано: кто своих недостатков не видит, тот начинает искоренять недостатки ближнего своего. А если призовет, то спросит, почему я сказал то, что я сказал, или почему я не сказал того, чего я не сказал, и, не выслушав, станет честить меня словами отвратными и богомерзкими; а если промолчал, если не встал без рассуждений на его сторону в споре, значит, был на стороне Сатаны. Всегда так: когда с ним кто-нибудь спорил, он каждый раз требовал, чтобы я его защищал, не спрашивая, что я думаю и кто, по моему мнению, прав, он или его противник. В келье, где он мучил меня попреками,

льющимися из его ядовитых клеветнических уст, моя кротость претворялась в слабость, моя благоразумность — в трусость, а моя открытость (как когда я сказал, что в его письме не хватает букв) претворялась в нескромность и дерзость. К тому же он нередко меня бивал, но об этом я никому не смел сказать, хотя часто спрашивал сам себя: как может быть, что один священник безбоязненно бьет другого? Воистину ли Бог все видит, даже черного муравья на черном мраморе? И не была ли та безбоязненность плодом некой странной, неясной, нераскрытой и неощутимой близости между нами двумя? И если это близость, то какова ее природа? Эти вопросы страшно меня мучили, но ответа на них я не находил.

— Философу следует знать, что на этот стулец, пресветлый властитель, до него садился лишь отец Стефан, — проговорил я, воображая, что тем самым удовлетворю страсть Стефана к похвалам и исполню свой долг быть всегда на его стороне, следовать путем, которым он идет, позади него, в его тени. Но я ошибся: лицо Буквоносца прояснилось лишь на миг, но ясность исчезла, когда он понял, что я сказал только одно речение, а душа его суетная алкала большего, но не получила, и тут же нахмурилось лицо его. Ибо

сказано ведь: когда почитаешь гордыню, она к тебе свирепа и сурова, а как только соберешься с силами презреть ее, она укротится. Но у меня силы противостоять ему не было. Сверкнуло его белое око молнией, в меня направленной. Знал я, что ждет меня потом в келье попреков, но было поздно что-либо говорить, ибо логофет уже раскрыл уста, а у него была привычка открыть рот на миг или два и лишь потом заговорить, будто размышлял он тяжело и мучительно над тем, что хотел сказать.

Лицо логофета сияло; это мое замечание ему понравилось, и он начал рассказывать Философу, что отец Стефан сумел измыслить письмо простое, которым вскоре будет писать все царство.

— Богоугодное дело совершил отец Стефан, — сказал логофет и посмотрел на него. — Господь Бог ниспослал нам Слово через видение отца Стефана.

Отец Стефан понемногу успокаивался; жилка на шее уже не билась как молния, и его потихоньку стало охватывать блаженство, ибо речь пошла о его заслугах. Философ совершенно спокойно посмотрел на отца Стефана и сказал:

— Един Господь, и всемогущ Господь Бог Вседержитель. Слава Господу, что ниспослал вам

письмо, коим вы пишете. А каково было то видение, отец Стефан?

Отец Стефан вышел на шаг вперед, посмотрел на Философа с нескрываемым довольством в очах, ибо падок был он на славу и похвалу, и промолвил:

— Ночью, после того как логофет огласил свое повеление и отошел ко сну, я направил стопы в храм и с собой взял калам, и книгу, и чернила, и до полуночи я тщился измыслить письмо новое, с буквами, угодными властителю нашему. Но писала только рука, но не сердце, ибо Бога не было во мне. В полночь подул в церкви ветер, все светильники погасли, а я в темноте увидел ангела, сошедшего с небес, с каламом в руке. «Не бойся, и пусть не трепещут колени твои; ты тот, кому возвещу я в откровении письмо новое для рода твоего, ибо Тот, Кто послал меня, сказал, что ты с Ним грядешь, ни перед Ним, ни позади Него» — так рек он. И потом в пышном сиянии, в музыке сфер он спустился и, паря над моей головой, взял меня за руку, отринул мой грубый калам из железа, вложил мне в руку калам из солнечных лучей, и се, калам сам стал писать в руке моей, и до исхода первого часа пополуночи, когда поет первый петух, письмо для господина

моего было готово, и я знал, какая буква какое понятие обозначает.

Философ совершенно спокойно смотрел на отца Стефана и повторил:

— Един Господь и велик, и Слово в Нем, и Он есть Слово.

Потом попросил дать ему Слово, записанное этими буквами, и сказал, что завтра утром прочитает его вслух пред всеми нами и изъяснит, о каком событии говорит это Слово.

Логофет внимательно посмотрел на него.

— Но эти буквы знаю только я и отец Стефан, — изрек он. — Приказания ознакомиться с буквами еще не дано.

— Для Господа нет ничего невозможного, кроме того, чего Он не хочет, — возразил Философ и встал. — Чего Господь хочет, то и возможно; но Он не хочет всего, что возможно. Господь может водой жечь, а огнем тушить. А тот, кто верит в себя, и в Бога верует; и может то, что Бог может. Это отец Стефан лучше всех знает и о том искусно нам рассказал: написанное ангелом Господним с помощью калама из лучей небесных человеческое око может прочесть и понять, если верует в Бога и в луч небесный. Ибо Господь, Слово ниспосылая, для людей его сотворил и сделал так,

чтобы оно людьми могло быть прочитано.

И с тем попросил дозволения уйти, взял Слово, записанное новыми буквами Буквоносца Стефана, поклонился логофету, перекрестился перед нами и вышел.

Мы в изумлении остались, а жилка на шее отца Стефана надулась так, что мы думали, что она лопнет с громоподобным треском. Логофет мановением руки отпустил нас, и мы, сокрушенные сердцем и душою, полные низкой злобы, отошли один за другим в наши кельи. И все думали одно и то же: вечером нас наверняка созовет Буквоносец на тайное совещание, чтобы учинить сговор и найти выход.

Я был безутешен более остальных, ибо в ту минуту, когда Философ выходил из палат, осознал, что больше не вижу того, чего другие не видят: облака света вокруг отца Кирилла Философа не было. Я потерял внутреннее ви́дение, не был более его достоин и окончательно встал на сторону униженных и нищих духом в борьбе с Ним, что закончилось, как закончилось: я теперь муравей на черном мраморе в самую черную ночь, а Бог не только меня видит, но и слышит звук шагов моих.

4

Теперь пришло время рассказать еще кое-что, о несчастные, которые приходят. Я уже поведал вам, что меня нарекли сперва Лествичником, а потом Сказителем и что вижу я, что другим невидимо. Меня нарекли, то есть нарек меня властитель, логофет, указом царским, с приложением печати, ибо в царстве нашем есть обычай называть человека так, как именуют его логофет и священники, между которыми первенство у Стефана Буквоносца. Указы об именах идут потом к царю для приложения печати, и царь не проверяет исправность имени, а только прилагает свой перстень к именному свидетельству в знак того, что он это свидетельство одобряет и что такой-то и такой-то отныне должен именоваться так-то и так-то. Я уже возвестил вам, что власть дает имена вещам, соотносит буквы с предметами. Но умолчал о том, что сам себя я нарек именем для меня самым подходящим: Мозаичник. И что об этом имени никто не знает, кроме Бога всеведущего. Я вам сейчас открою тайну, поведаю вам откровение о том, как впал в прегрешение против власти и сам себя нарек Мозаичником.

А было это так, ибо по-иному не было.

С тех пор как известно стало в царстве нашем о зловещей комнате (о которой глоток знания я вам уже передал, о алчущие) с иным и неведомым писанием в ней, с тех пор эту комнату и Слово начали связывать с проклятием, которое тяготеет над царством и лучшими коленами его, и болезнями, и другими несчастьями: саранчой на полях, язвами дурными на коже простого люда, землетрясениями небывалыми и наводнениями неслыханными, военными поражениями бесчисленными. В роду у царей и логофетов явились болезни неведомые и диковинные: за много поколений до нынешних царей (ибо никто не помнит то время, когда Слово появилось в комнате) родилась у царя дочь с телом настолько легким, что она парила над землей, над своей царской колыбелью и в конце концов превратилась в перышко и улетела на небеса; один царский сын родился с двумя головами, как теленок двуглавый; другой же родился со свиным рылом и хвостом свиным. И все время так: на одного, родившегося нормальным, уродятся двое или трое — наказания Божьи для родов и колен преславных. И все эти бедствия и страшные события связывались с неразгаданным Словом, старинной книгой, напи-

санной в незапамятные времена и хранившейся в комнате проклятия, в глубине глубин храма нашего. И прорицалось: пока не уразумеем, о чем говорится в Слове, какое поучение оно нам несет, не будет мира и спокойствия и проклятие будет висеть над градом и царством нашим. До трех раз можно было отворить эту комнату, гласило предание, и, если с трех раз не постигнут будет смысл писания, солнце померкнет, земля погибнет — разверзнется и поглотит всех лазающих, ползающих, плавающих и летающих по лицу ее.

Но про комнату позже, о блаженные, ибо время еще не приспело, а поспешить впереди него и обогнать его не может никто, даже само время. Другую историю хочу вам сегодня поведать: о старшей дочери царя. И она страдала от странной и неизвестной болезни, иссушившей ее прекрасное тело и светлозрачное личико. А когда она умирала и никто из нас не мог ей помочь, спасти ее от беды, царь позвал нас всех — советников, асикритов и грамматиков — в ее покои. Она лежала на смертном одре и стонала, а царь рвал на себе волосы. Мы крестились и молились Богу, а плач слуг и служанок поднимался из черного от скорби дворца до неба. И вдруг она привстала с постели, села на ней, посмотрелась в царское

зеркало, висевшее на стене напротив одра ее. Посмотрелась, улыбнулась и — умерла. Пала на постель с широко распахнутыми глазами, и отошла к Господу ангельская душа царской дочери.

И плач вознесся до небесных чертогов, до райских врат, и Господь услышал его. То ли поэтому, то ли согласно старому преданию, которое говорит, что зеркало обращается в камень, когда умирающий смотрит в него в последний раз, и навсегда сохраняет образ его, так что никто не может более смотреться в такое окаменевшее зеркало, так вот, право предание или нет, не знаю, но вдруг это зеркало само по себе выгнулось и в следующий момент треснуло. Брызнуло осколками, как душа человеческая, из стекла отлитая. Разбилось, раскололось на бесчисленные кусочки, разлетевшиеся по комнате. Наступила тишина страшная, и все мы знали, что это некий знак, который Господь посылает нам, и что связано это со смертью царской дочери. Но никто не промолвил ни слова. Царь приказал подготовить тело покойницы, позвать изографа, чтобы написал он последний портрет любимого чада, и смести стекла. Но я попросил не звать изографа, потому что даже лучший изограф хуже самого неказистого зеркала; сказал, чтобы не

выбрасывали осколки, а собрали в ковчежец и дали мне. Царь спросил, для какой нужды мне все это. Я ответствовал, что вижу в осколках то, что никто другой, похоже, не видит. А я различаю в них разбитый предсмертный портрет, последнюю улыбку его дочери, ушедшей и почившей в Бозе. Буквоносец посмотрел на меня, и будто молния ударила из его глаза, помутневшего от белой пелены, но царь велел:

— Дайте ему эти стеклышки. А если он со мной в такой час шутки шутить вздумал, то слетит голова его.

— Государь, — сказал я, — сам я вижу, но не понимаю, почему никто здесь этого не видит; но вот, на этом осколке запечатлелась прядь волос дочери твоей, что чернее эбенового дерева; вот часть уст, алее граната, здесь око ее голубиное. Я только выложу осколки по порядку и целым отдам тебе последний портрет дочери твоей; этот портрет украсит могилу ее на вечные времена.

Тогда впервые понял я, что вижу больше всех других, слепцов зрячих. Царь посмотрел на меня и сказал:

— До завтрашнего дня, когда будем хоронить ее, должна быть картина твоя готова. Если нет, голову с плеч сниму, и будет она лежать в мешке

перед престолом моим.

И так и было: ночь напролет составлял я из многого — единое. Большое искусство для этого потребно, о бедные, и никто из вас не сможет уразуметь, какое возбуждение исполнило душу мою, с какой радостью начал я выкладывать осколки зеркала в порядке истинном. Как успокаивает, о блаженные, когда правильное место находишь тому, что лежит неправильно, неестественно, когда приводишь в порядок нечто находящееся в беспорядке. И тогда я уяснил себе, что между искусством выкладывания мозаики и искусством преподавания сказаний нет разницы, что для обоих действуют одинаковые правила, тот же самый закон: нельзя увидеть, понять, охватить целое, пока все не встанет на свое место, пока не придет время для целого, пока из малого не сделаешь большого, а из многого — единое. И что наслаждение, как я вам уже говорил, состоит в отлагательстве, выжидании.

И вот составлял я из многого единое и из малого большое весь вечер и всю ночь и только к утру собрал разбитое изображение царской дочери. Я клеил кусочки стекла один к другому, начав с краев картины и двигаясь к середине, потому что так мне казалось легче; я начал с волос, с ло-

конов, и шел оттуда к середине, к глазам и носу, и в конце концов положил последний осколок, на котором были губы, в самый центр картины, в средоточие, середину из середин. И в тот миг понял, почему много лет меня преследовал образ паука и его паутины, почему бесчисленные часы провел я в размышлениях о смысле действий этого существа: сеть и создатель сети в ее середине. Мне всегда эта картина казалась подобной картине солнца и его лучей; как солнце рождает тепло, необходимое для растений и животных, из самого себя, так и паук из самого себя, из тела своего создает свою сеть, свою вселенную. Но эта сеть, ткань совершенная, есть только картина света Божьего; ведь и Бог создал небеса, походящие на сеть, а звезды на небе суть малые узелки сети той — сети, в которые уловляют нас с нашими судьбами, их же нам не избежать. И по этим причинам мне кажется, что презренного бога-паука наказали другие боги, уменьшили и сбросили на лицо земли, чтобы над ним вечно насмехаться, как над ничтожным творцом, создателем малых, ненужных и непостоянных вселенных, сотканных из паутинок, вселенных, которые не долговечнее мига. И в этих вселенных в рабстве обретаются мелкие маленькие твари,

мушки, которыми питается паук-солнце. Так же и человек, крупинка, пылинка, мушка ненужная, уловлен в сети этой вселенной. Да и преподавать сказания, события и истории — разве это не то же самое, что ткать сеть совершенную, в коей всякая нить, всякая паутинка должна найти свое место, когда придет время, когда завяжутся узлы, и разве и они, сказания, не суть ненужные и непостоянные вселенные?

Пришло время, о блаженные, открыть вам и еще одну маловажную вещь: с рождения у меня есть знак на спине, метка от Господа, — маленький черный крест. И когда я составил мозаику, когда все стало единым и когда появился портрет царевой дочери под коленями моими (ибо на коленях ползал, из невидимого видимое собирая), я понял, что я паук в середине своего оконченного произведения, что поймало меня целое, свершенное, что я сам — центр творения рук моих, что я сам себя заключил, заточил в сем чудном здании, храме паутинном. Я — паук с крестом на спине, и я создал целую маленькую вселенную; контуры, по которым я составлял и клеил кусочки, действительно походили на сеть, на солнечные лучи, расходящиеся во все стороны от середины.

Наутро царь послал за мной палача и судью (и

отец Стефан с ними был), ибо не веровал царь в чудеса, ибо слишком слаба была душа его властолюбивая, чтобы понять чудо и поверить, что и незримое существует, только его не видно, ибо не обязательно сущее должно быть видимым. Это ясно понимает каждый, кто прибегает к письму, буквами и словами пользуется, сочинения сочиняет. Потому что ты можешь видеть в мыслях своих слово «дверь», или слово «замóк», или слово «окно». Но можешь ли увидеть слово «любовь»? Нет, не можешь. Но любовь все-таки существует, хотя и незримо, и принадлежит она тому свету, невидимому. Умно сказал Философ: «Все, что мы видим, свидетельствует о невидимом; о Том, Кто сотворил все видимое, а Сам невидим, Кто скрылся от очей наших, чтобы нас видеть, нас слышать, нас стеречь; а нам оставил искать и созерцать Его». Как паук, творец сети своей, видимой. Вы замечали ли, о блаженные и нищие духом, что паук — самая плохо видимая часть его сети, что и он, как и Создатель, невидим, а видим мир, им созданный? Ибо паук чаще всего сидит в точке, серединой называемой и менее всего видимой, ибо середина сокрыта внутри, почему и называется серединой; сидит там создатель, мирный, смирный, кроткий, как Бог, для

которого время ничего не значит, и смотрит, и стережет, и слушает каждое трепетание струн своей вселенной, нитей сети своей, слушает их музыку вселенскую!

Вот опять я разговорился, а время настало рассказать о палаче и судье; они пришли, хлопнули дверью кельи и в ту же минуту застыли, будто молнией пораженные: перед их ногами, перед моей кроватью лежало склеенное зеркало с окаменевшим последним портретом на нем, с ликом прекрасной дочери царя, уже упокоившейся.

Забрали у меня картину, зато не забрали голову, и отнесли ее царю. А Буквоносец позеленел от злобы и желчи, появилась на устах его горькая пена, ибо царь много хвалебных и восторженных слов обо мне сказал, и портрет установил на двери в усыпальницу своей дочери, и приказал Буквоносцу и меня принять в высший совет царский, где умнейшие заседали во главе с Буквоносцем. А тот позвал меня вечером в келью попреков и сразу принялся избивать меня, без слов, без вопросов; он требовал открыть ему тайную науку видеть невидимое, ибо думал, что это наука, которой можно научиться, а я ее скрываю; и опять бил меня, а я говорил ему, что это благодать, дар Божий, который Бог дает смертным, а у горделивых

отбирает, что дару нельзя обучиться, как учатся письму и каллиграфии, что и сочинению сказаний нельзя обучиться и что дар этот или есть, или его нет, как и человек — или родится, или не родится, но никогда не бывает, что человек родится наполовину: с одним телом или с одной душой. Но он все равно бил меня смертным боем, так что у меня кровь хлынула носом, но он все бил и повторял: «Говори, сатана, к какой волшбе растленной и нечестивой ты прибегаешь, чтобы видеть», а я уже ничего не говорил и только думал: «О Боже, молюсь о душе отца Стефана Буквоносца, ибо злобен и завистлив он к видящим, а злоба и есть нехватка зрения, и злому не прозреть, пока завидует он зрячему, как и слепому не прозреть, если он придет к грамматику, ибо зрение не есть наука, и тогда он прозреет, когда придет к исцелителю Богочеловеку, ведь зрение — это исцеление, чудо, диво дивное. А благодать есть талант, дар Божий, которым Он награждает Своего слугу верного и прилежного, а у неверного и нерадивого отнимает и его отвергает! Ибо сказано и о суровости: кто к себе строг, тот к другим мягок, а тот, кто, как Буквоносец, к себе мягок и потачлив, тот к ближнему своему суров». И се, молился я о душе Буквоносца, а тот бил меня,

пока Бога во мне не убил, а потом сказал: «Руки тебе отрежу, если еще раз увижу, что из многого собираешь единое целое».

И с того дня я воистину ни одной мозаики не сделал, ни разу не ткал нитей своей собственной вселенной. Ни узла не связал до самой той ночи, когда согрешил.

Но многие распутал. Были у Буквоносца узлы многочисленные, которые распутать надо было! А явным это стало тем вечером, когда мы учинили совещание тайное, заговор гнусный, как разбойники с большой дороги!

5

Той же ночью, точно в полночь, отец Стефан Буквоносец постучал в дверь моей кельи так, как никогда до того не стучал: сначала три удара, потом пауза, потом еще один удар. Этот *еще один удар,* после трех предыдущих (Отец, Сын и Святой Дух), знаменовал некоторую срочность. Это означало: человеческая надобность, земная необходимость, в отличие от трех ударов во славу Божью.

Мы собрались в келье отца Пелазгия Асикрита, общим числом двенадцать душ, все члены царского совета. Я перечислю здесь их всех по порядку, о бедные, дабы не забылись их имена, и в летопись их вставлю, дабы не стерлись из памяти: Стефан Буквоносец, Пелазгий Асикрит, Марк Постник, Маргарит Духовник, Филарет Херсонесец, Юлиан Грамматик, Матфей Богослов, Феофилакт Златоуст, Августин Блаженный, Кирилл Богомолец, Григорий Богумил и я, Илларион Сказитель, или Мозаичник. Умные и благочестивые мужи все двенадцать, все управители скриптория и учителя семинарии, в которой переписывались все Слова, важные для Империи.

Двенадцать нас было, но душ только одиннадцать, ибо душа моя скукожилась и стала как маковое зерно, вся в себе скрылась, ибо предчувствовала заговор тайный, событие грозное, дело бесчестное, грех.

И так и было: клевета — вот зачем собрались мы тут. Клевета была нашей тайной вечерей, трапезой бесчестной.

О, клеветники! О, гордые и самолюбивые! Как ограничен ум человеческий своей расчетливостью и тем лукавством страсти, которое зовется самолюбием! О, собрание печальное суетных и слабых духом! Одиннадцать душ, одиннадцать кораблей в бурном море греха и самолюбия, корабли без кормчего, бесцельно плывущие под управлением греха! О, беда блестящих умов, не верующих в Бога! Вера для разума — это то же самое, что и увеличительное стекло в скриптории для слабых глаз Пелазгия Асикрита: с помощью увеличительного стекла отец Пелазгий разбирал даже мелко написанные слова, которые без стекла были бы ему совсем невидимы, из незримого тем самым оно делало зримое, несуществующему давало форму и значение, но он так никогда и не понял, что такое увеличительное стекло нужно не только для глаз, но и для души необходимо

и что такое стекло зовется верой в Бога! И ведь говорят о злословии, что это самый страшный грех, потому что злопыхатель и клеветник превращаются в мух, которые летят на чужие раны, а смирные духом — пчелы, на цветы летящие.

И началось жужжание мушиного роя: когда все собрались, отец Стефан Буквоносец и отец Пелазгий Асикрит кратко изложили, что произошло с Философом у логофета. Их устами говорила суета: страшились они за свое первенство перед логофетом и царем, а в Философе видели незваного гостя, который хочет воспользоваться этим первенством. И как только рассказали они все, что было и чего не было, все присутствующие впали в какое-то странное полуночное размышление, больше походившее на сон. А душа моя тряслась от страха, потому как вспомнил я прочитанное где-то: у клевещущего и наговаривающего и у слушающего его, у обоих по дьяволу: у первого — на языке, у второго — в ухе.

Тишину нарушил Григорий Богумил.

— Если так, — промолвил отец Григорий, — значит, мы столкнулись с нечестивым. Ибо только он не верует в видения и откровения, — сказал он, подразумевая видение Буквоносца, и перекрестился.

И все остальные перекрестились. Стефан Буквоносец вперил в меня свое око, внимательно наблюдая, перекрещусь я или нет. Я перекрестился.

О, это око! Сколько бессонных ночей из-за этого ока, сколько страшных снов, в которых это око, совершенно белое, затянутое белой пеленой, сетью белой, превращалось в паучью сеть, а в ее центре — черный паук, грозное его подобие! Чернота, сокрытая в сети белой, в пленке, чернота зрачка, зеница, превращающаяся в паука!

— Кто он такой, чтобы наши заслуги мерить и перемеривать и хулу бесчестную изрыгать о видении и буквах отца Стефана? — спросил отец Маргарит Духовник.

— Кто вручил ему весы, на которых он нас взвешивает? — добавил отец Марк.

— В чужой дом придя, спишь и ешь в светлице, что укажет хозяин, — сказал кто-то третий.

И так далее: черный клубок мух разъяренных, ищущих рану и гной и алчущих напиться крови, а раны не находящих в непорочной душе Философа. И, не найдя раны, и гноя, и крови в душе его, решили — рану отверзнуть. Решили оклеветать его перед логофетом, преступление небывшее и грех несуществующий измыслить в первый

же подходящий час и все свои силы, всю душу впрягли, будто волов в упряжку, для этой цели.

Я же не знал, что сказать. Выслушал всех и понял, что чужой я здесь, но некая магическая сила, сила слабости, связала меня с ними. Я хотел рассказать им про облако света, про музыку, про цвета, но боялся, что меня засмеют. И положа руку на сердце, боялся, что побьют, рукой не одного, но одиннадцати. Меня и так поднимали на смех, говоря, что написанное в книгах у меня мешается с действительностью и что я сам не знаю, правда в моих сочинениях или нет. И это на самом деле так: я был убежден, что сочинения, историями называемые, истинные и что все так и было, только давным-давно; но когда я писал эти свои сочинения (выдумывая разные подвиги неизвестных страстотерпцев и занося их в книги, которые никто не читал), все надо мной издевались и говорили, что это неправда, ибо в стародавние времена ничего такого не происходило. А я им отвечал: но, может быть, такие события произойдут в будущем, когда мы уже не будем живы, и, может быть, тогда их кто-то прочитает и примет написанное за события и истории верные, а не за выдумки и сказания. Мне гораздо больше по душе сочинять Слова о том,

чего не было, о незримом, чем о том, что, как всем известно, было воистину, о зримом и описанном: например, об Иоаве, обнявшем Амессая, чтобы убить его, или о дьяволе, который испытывал Иова, или об Иуде, поцелуем предавшем Спасителя. Эти истории мне уже наскучили. А что, если и эти события некто некогда измыслил, а потом все так и произошло и стало действительностью?! Может быть, и Священное Писание было сначала выдумано и лишь потом стало явью, исполнилось? И ждем же мы видений и откровений, описанных в Евангелии, которые только должны случиться? Но Буквоносец смеялся надо мной и грозил кулаком своим, если я говорил ему такое. И я молчал, в себе тая эту диковинную мысль.

И тут я углубился в некоторое свое размышление и больше их не слушал. Но внезапно от грез о новом сказании, в котором я вывел бы их всех в виде мушиного роя, меня оторвал, как кнутом меня ударив, голос Буквоносца.

— А ты, — произнес он, — тебе что, нечего сказать?

О Буквоносец! Подающие соблазн дважды грешат: ибо грешат сами и других вводят в грех — так говорит Евангелие. А ты, захлебывающийся в своем грехе, в своей суете, ты хотел, чтобы и я в

нем утонул, с тобой в нем захлебнулся, с тобой вместе водил бы дружбу с дьяволом, разделил бы с тобой твой грех. Но скудоумен тот, кто считает, что не совершил греха, убив, если с ним убивал еще один, или еще двое, или даже двенадцать! Перед всеми живыми двенадцатью душами, бывшими там, он требовал этого от меня, и Господь это видел, и знал я, что когда-нибудь Он тебе отплатит: прострет руку Свою к тебе и истребит тебя рукой Своей, как и ты истреблял Бога во мне рукой своей и оком своим, белым и мрачным.

Я подумал немного и сказал под его угрожающим взглядом, стегавшим меня словно бичом:

— Отец Стефан, я думаю так же, как и вы.

Но лицо у меня при этом скривилось, как будто я съел целую горсть кислого кизила, в животе у меня забурчало; но я не мог им и слова поперек вымолвить, ужас охватывал меня при одной мысли об этом; страшно было мне на том полуночном сборище, страшно было оттого, что все думали одинаково, и в какой-то миг мне пришло в голову: се тайное сборище, тайная вечеря разбойников с большой дороги, а они все до одного честные отцы, и ты здесь и не можешь сделать ничего другого, кроме как вкушать от того, что питает суету и самолюбие; не можешь от друго-

го пить, кроме пития богохульства и гордыни, которое только усиливает жажду заблуждения. Ибо и в письме, придуманном отцом Стефаном, не было для любви слова, а ведь сказано же, о благочестивые, блаженные и вы, нищие духом: только любовь есть вернейшее различие между дьяволом и Богом; потому что и дьявол постится, ибо ничего не ест; и дьявол свершает бдения, подобно священнику, ибо никогда не спит; и только любви и смирению священника он не подражает.

Но я остался там с ними и не противостоял им, хотя и знал, что кто зло созерцает с равнодушием, тот скоро начнет созерцать его с удовольствием. Остался потому, что безбожие от своих приверженцев требует твердой веры, только не спасительной, а убивающей. И разящей, как кулаки Буквоносца.

Вид Буквоносца был ужасен. Он был бледен, будто узрел нечистого, жилка на шее надулась, как у больного, которому нужны пиявки; Григорий Богумил, этот послушный крестьянин, впрягшийся в затею, смысла которой он не понимал; все здесь были несчастные глупцы, но я, тот, кто был умнее их всех, я был *перепуган.* Я уже не видел облака света, меня вычеркнули; а

эти, они не были моего рода, не были моего племени, потому что не были допущены Богом на ту ступеньку, где *видят;* им нечего было терять, а я уже потерял; им Господь никогда не давал знака, не метил их, но тем не менее они рассуждали о Философе как о чем-то, что необходимо устранить, да так, чтобы о том не прознали; они были грешны, но я, понимавший больше их всех, я остался на распутье. Надо было выбирать между ним, недостижимым, и этими, бывшими здесь, совершенно реальными, собравшимися в келье отца Пелазгия; надо было выбирать между этими, требовавшими от меня быть с ними, и им, не требовавшим от меня (как будущее и показало) совершенно ничего. И я выбрал их только потому, что их было *большинство.* Выбрал легчайшее: падение, ибо легче идти вниз, чем вверх. И знал я, что согрешил.

Но на лице отца Стефана, хоть я и присоединился к греховным, не было удовлетворения. Я знал, да и остальные знали, что его мучит. Его терзала мысль о восточной комнате, как называлась комната со зловещей и таинственной надписью. Он страшился, что Философ отнимет у него первенство в толковании надписи.

И вот, блаженные, пришло время поведать вам

еще один отрывок истории о восточной комнате. В самой потаенной комнате пречестного храма с неведомых времен, как вы уже знаете, хранится, скрытая от чужих глаз, одна надпись. О проклятии вы знаете, как и о несчастьях, которые нас преследовали, знаете и о предании, говорившем, что до трех раз можно открыть комнату, чтобы растолковать надпись. Знаете и о страшных бедствиях, которые ожидали нас, если с трех раз не будет понято незнаемое. Но не знаете, что двери до этого, до прихода Философа, уже открывались дважды, и что оставался лишь один шанс, еще лишь один раз можно было повернуть ключ в заржавевшей замочной скважине, и что Буквоносец страшился, что не он, а Философ мог бы стать стяжателем невиданной в мире славы и несметных богатств, обещанных царем и логофетом тому, кто прочитает надпись. Не знаете вы, что много лет назад Грамматик вошел в комнату с тайной надписью, чтобы растолковать ее и освободиться от проклятия, снять с нас печать судьбы. Три дня и три ночи не выходил Грамматик из комнаты. Когда за три дня он не попросил ни еды, ни питья и когда начал разноситься невыносимый смрад, стражники вошли вовнутрь и увидели его, опершегося на свой посох и неот-

рывно смотрящего ясными глазами на надпись в чудесной книге. Один из стражников заметил, что плоть Грамматика совершенно разложилась, а глаза были ясными и исполненными светозарных лучей, будто увидел он откровение Божье, но не сумел о нем поведать. Отъяли его посох, и в тот же миг плоть и кости его рассыпались в прах. Только тогда поняли, что Грамматик умер еще при первом взгляде на буквы надписи и что, вероятно, буквы эти обладают смертоносной и ядовитой силой, действующей на всякого входящего в комнату.

И все стражники, видевшие книгу, в ту же ночь умерли, и в смертный час глаза их были открыты.

Я рассказываю вам эту историю, чтобы поняли вы, о бедные, к каким подвигам готовился отец Стефан после того, как сочинил он буквы простые, понятные и логофету. Мнилось ему, что когда-нибудь оказаны ему будут почести высочайшие, что логофет именно ему, как Буквоносцу, доверит задачу разгадки тайной надписи, про которую все умнейшие говорили, что человек, к восприятию знания не подготовленный и духом слабый, в восточную комнату войти не смеет, ниже надпись лицезреть. Предполагалось, что в надписи

говорится о тайнах, которые человек заурядный постичь не способен. Надпись, очевидно, была тлетворна, а буквы — погибельны.

Второй раз заколдованную комнату открывали ровно тридцать четыре года назад, за год до моего рождения. Первенством и честью царской войти в нее был удостоен отец Стефана Буквоносца, пречестной и благоутробный отец Мида, сына своего превосходивший не только наукой и знанием, но и сердцем. А родил он Стефана от одной женщины из Каппадокии, перед тем как постричься в монахи и предаться Богу. Он получил благословение от логофета растолковать эту надпись из книги и, получив от царя таковое указание, сказал царю: «Твое благословение означает для меня смерть земную. Но не отказываюсь: тревожусь только, чтобы Господь допустил меня до тайн комнаты сей, ибо Он вложил Слово Свое в книгу. Я готов с каламом и книгой войти в комнату, но не для того, чтобы перетолковать, а только чтобы переписать Слово иное и неведомое. Может быть, потом, в другую книгу войдя, отражением, а не первоисточником будучи, письмена потеряют смертоносное свое действие, и некто, меня умнее и смышленее, сумеет его изъяснить». Так изрек благоутробный, скромный и смиренный отец

Мида и с каламом в руке вошел в комнату. А когда вышел с пергаменом в руке, улыбнулся и сказал: «Вот. Ничего пагубного не произошло со мной, ибо я лишь переписал Слово смертоносное, но не толмачил его, посему яд не вошел в меня и меня не погубил». И закрыл восточную комнату на ключ, а ключ взял с собой и перенес сделанный им список, никому его не показав, в западную комнату. И отошел в свою келью, и что-то творил целый вечер в некоторой книге. Ночью, в двунадесятый час, при смене дня, громогласный крик всех подъял из постелей. Кричал отец Стефан, в полубезумии стоя на пороге кельи своего отца, благоверного Миды. Когда мы вбежали в келью, в его кровати не было ничего, кроме букв. Все его тело, плоть и кости отца Миды превратились в слова, в буквы: кости превратились в твердые буквы, а плоть его — в мягкие буквы. Честные отцы собрали буквы из-под покрывала, положили их в гроб и потом похоронили останки в церковном дворе.

А отца Стефана не было на похоронах странного, обратившегося в буквы тела отца своего. Он пришел только на шестидесятый день, весь в пыли, как будто проделал долгий путь. Когда спросили его, где он был, сказал: «Печаль по отцу

моему гнала меня шестьдесят дней и шестьдесят ночей по тропам знакомым и незнакомым; прошел я много дорог и везде искал отца моего, но тщетны были мои поиски». Все думали, что он повредился умом от тоски безмерной по отцу, и никто более не спрашивал о том, где он был.

Так это было, чужими глазами виденное, моей рукой писанное.

И потом приняло сборище бесчестное такое решение: пока подождать, дабы не учинить чего-нибудь неразумного; с отцом Кириллом обходиться тихо и притворно, дабы не навести его на мысль о злом умысле или деянии двенадцати; все чтобы его с доброй улыбкой приветствовали и честь высокую ему оказывали, с тем чтобы дождаться удобного времени и при первой возможности, угодной дьяволу, оклеветать его перед логофетом или царем так, чтобы его изгнали из дворца как можно дальше от надписи в восточной комнате и списка в комнате западной. Так порешило это злополучное и скорбное сборище, но никто, ниже Буквоносец, не сказал ничего определенного о надписи и списке, никто не обмолвился о том, чтобы сменить замки на дверях комнат, или убрать записи, или что-то этому подобное. И понял я, что здесь дело нечисто и

что Буквоносец недоволен решением тайного заседания. И что он потребует от меня новых мытарств и лукавств для славы своей вящей и почестей земных, но которые грехами в моей книге Господь запишет.

Затем разошлись мы каждый по своей келье. Как сейчас вижу: идем каждый своей дорогой. И в то же время вместе, ибо одной дорогой идем. Без правды в сердцах своих. А сказано же одним мудрецом: что общество, не знающее праведности, как не большая шайка разбойников с большой дороги?

И только я переступил порог своей кельи и хотел помолиться, как дверь отворилась и вошел Буквоносец.

— Готовься завтра отправиться в путь, — сказал он мне.

Он отсчитал мне пятьсот золотых и велел ехать на базар в Дамаск и найти такого-то и такого-то человека, аморейца, торговавшего всяческими диковинами. И приказал мне купить у него паука ядовитого, величайшего в роде своем, с крестом на спине. И через шестьдесят дней и ночей вернуться!

6

Ранним утром, не успел я еще собраться в дорогу, логофет призвал к себе Философа. Мы стояли позади властителя, будто войско царское, а Философ перед ним словно гость незваный. Я хотел спросить: «От кого мы защищаем властителя?» — но не сказал ничего, ибо все молчали.

Ибо все молчали. Но можно ли этим оправдать самого себя? Однажды мы, все двенадцать, вместе были на богослужении в местечке под Хисарликом. По дороге нам встретилась женщина. С мужем, который ее бил. Палкой. Потом собралась целая толпа, сборище желающих учинить над ней расправу, сборище неправедное, ибо гневное. Все они ее били. Муж говорил, что она блудница. Что совершила грех с быком. Что в постели нечестивой он нашел бычий уд. Что, по древнему преданию, у быка отпадает уд, если он познал женщину, и потому муж понял, что жена спозналась с быком в своей постели, пока муж в поле работал. А у быка вырастает новый уд, и он может блудить дальше, ночью или днем. И тогда все мы двенадцать промолчали.

Все мы знали, что бык не может познать жен-

щину. Все мы знали, что у быка уд не отпадает. Все знали, что муж лжет. Но никто из нас не проронил ни слова.

И только один юноша вышел тогда из толпы, хотя и его могли побить палками или камнями; он вышел вперед и сказал, что все происходящее — грех, ибо он знает девушку и род ее, что в роду том всегда дорожили честью. И что он знает и род мужчины, а в нем нередко случалось подобное: мужья били жен своих, обвиняя их в измене, потому что сами мужчины перестали быть мужчинами и это их члены, а не бычьи упадали, а новые у них не вырастали. И что срам от бессилия своего мужского они скрывали, жен бия и клевеща на них, обвиняя в блуде прилюдно, при всем честном народе. И опять никто из нас рта не открыл. Только вечером отец Маргарит Духовник сказал: «Помолимся за девицу, не было греха на ней».

Господь уберег нас, и не бросили мы в нее камень.

И се: мы были тут, те же, что тогда равнодушно взирали на злодеяние, мы пришли, чтобы судить о добре и зле перед логофетом и дать ответ, лживы или истинны слова, которые изрекут уста Философа. Философ же стоял перед логофетом и

по-прежнему спокойно смотрел на него.

— Так что? Преуспел ли ты в чтении Слова того? — спросил логофет.

— Пречестный властитель, — ответил Философ. — Слово я прочитал, и мне внятно его чтение.

— Как! — воскликнул логофет, склонившись к нему с трона.

— Слово, написанное новыми буквами, гласит следующее: *Я, логофет Византийский, вам повелеваю: с сего дня такими буквами Слова сочинять, ибо правдивее они и точнее, чем прежние.* Именно это написано в Слове, о пречестный властитель.

Логофет сидел на троне и, открыв рот от изумления, смотрел на Философа. Отцу Стефану стало плохо, и он попросил разрешения сесть. Логофет его не слышал, он по-прежнему не отрываясь глядел на Философа.

— Но как это возможно? — вопрошал логофет.

— Просто, о пречестный властитель, — отвечал Философ.

— Как это «просто»? Ведь ты этих букв никогда раньше не видел!

— Пречестный властитель, буквы эти родом из Южной Каппадокии, откуда по утробе ма-

тери своей происходит и отец Стефан. У меня есть одна дощечка из кедрового дерева, на ней имеется надпись, сделанная такими буквами старинными. Мне передал ее в дар прокаженный из Каппадокии, который отправился в наши края искать спасения, и я излечил его от язв ужасных, рассыпавшихся по всему телу его. Тот человек и сам едва знал значение этих древних букв и с трудом припоминал, что за каким знаком скрывается. Вот эта дощечка, господин, — сказал он и подал ее логофету.

Тот смотрел на нее как на чудо Божье.

— Каппадокийцы называют кедр *говорящим древом,* — продолжал Философ, — ибо верят они, что кедр — древо истины и знания и что в нем пребывает Слово Божье. Таким письмом сейчас пользуется очень мало людей, едва ли десяток человек наберется, это оставшиеся от рода того, кто эту письменность сочинил. А придумал его и породил один мудрец, чтобы обучить грамоте царя, слабого духом и малоспособного к учению. Поэтому эта письменность такая легкая и простая.

Мы смотрели на дощечку из дерева, говорящего истину, между тем никакого голоса от нее не исходило, да ведь часто истина именно в молчании и открывается. Дерево сказало все, все нам

стало понятно: на дощечке были искусно вырезаны буквы, которые Стефан Буквоносец объявил своими — видением, порождением и творением своим. О отец Стефан! Ты, который возгордился гроздью буквенной, сорванной с чужой лозы из виноградника чужого! И еще несколько других букв показало дерево истины. Которые Буквоносец по неведомой мне причине не включил в письменность, которую как свою преподнес.

О ангелы небесные! Как изменился в лице Буквоносец! Отцу Стефану стало плохо, жилка на шее у него надулась, и он упал. Мы бросились к нему, побрызгали на него водой, и только логофет остался сидеть на своем троне, не замечая или не желая замечать, что творится вокруг. Он продолжал разговор с Философом, с ним, который превзошел всех нас и посрамил как сотворивших дело неправое и порочное в сердцах наших лживых. Совсем тихо он спросил его:

— Но ведь иноплеменник, подаривший тебе дощечку, не знал наверняка, что на ней написано. Откуда тогда ты знаешь точно, что изрек я в Слове?

— Пречестный властитель, — ответил Философ, — от него я узнал лишь две или три буквы. Но я подумал, что когда логофет, человек, пер-

венствующий во власти, составляет Слово своей рукой, оно, вернее всего, начинается с «я». «Я» — начало любого такого Слова, сердце его, как сердце — это начало жизни, а солнце — начало света дневного, исток и источник его. Можем ли мы, когда пишем Слово своей рукой, говорить от чужого имени? Так я разгадал букву, которая дальше встретилась мне еще в нескольких местах. Потом я предположил, что следующее слово в писании — имя твое, за ним — должность твоя, пречестный логофет. Таким образом я узнал еще две буквы. Далее, рассудил я, должно следовать название царства, иначе что проку в должности высочайшей, если неизвестно, в каком царстве она занимаема. Одно за другим я расшифровывал все новые и новые знаки. В конце вместе с буквами, которые мне открыл прокаженный из Каппадокии, общее число символов, ставших мне известными, составило двадцать. А так как ни один алфавит в мире не имеет менее тридцати и более сорока знаков, мне не составило труда прочитать целиком Слово твое премудрое, праведное и честное.

Логофет сидел, будто пораженный молнией. Потом снял перстень с руки своей и протянул его Философу. Философ склонился до земли, упал на

колени, перекрестился и произнес:

— Не даруй меня, Боже, тем, что не мне принадлежит!

Логофет посмотрел на него вопрошающе и вдруг встал. Сказал:

— Каков Бог твой, который может позволить тебе знать столько? — Потом опять сел и продолжил: — На перстне есть надпись, сделанная совсем иными буквами, что используются далеко, там, где конец земли. Перстень этот — военный трофей прадеда моего прадеда. Ни один мудрец до сей поры не сумел прочитать, что на нем написано, а призывал я к себе много мужей ученых и богатые дары им преподносил, чтобы только узнать это. Перстень носили все мои предки, и я ношу. Но нам неизвестно, какое пророчество на нем имеется, хорошее или плохое суждено тому, кто его носит. Перстень ведь у кого-то силой отнят был, а за дело злое всегда расплата следует. Я хочу, чтобы ты сказал мне, что написано на перстне. Завтра я жду тебя с ключом для разгадки тайны!

Философ взял перстень и попросил, чтобы ему в придачу дали какое-нибудь сочинение, написанное теми же буквами, какими сделана надпись на перстне. Тогда ему принесли глиняную табличку, что привезли вместе с перстнем из дальних

земель, с края света, где живут люди неведомого рода и племени.

Философ взял перстень и табличку, поклонился, перекрестился и вышел. А мы с помощью стражников вынесли из комнаты отца Стефана, чье тело оказалось тяжелым, как земля сырая.

Отец Стефан отправился в постель белую, а я — в дорогу черную. Пустился в путь в тот же день. Шестьдесят дней и шестьдесят ночей тянулся тот путь от начала до конца. Ослаб я сильно, исхудал — кожа да кости, стопы мои растрескались и кровоточили, как гранат спелый, когда наконец добрался я до Дамаска. На базаре я отыскал аморейца, поведал ему, кто меня послал и что я ищу здесь. Он дал мне маленькую деревянную шкатулку размером с ладонь человеческую. Крышка шкатулки была вся в мелких дырочках, как решето. А внутри находилась тварь ужасная. Амореец сказал мне: «Не открывай шкатулку ни днем ни ночью, пока не вернешься домой, к Буквоносцу. Одно прикосновение к твари сей умертвит тебя, лишит тебя этой жизни и всех последующих, будущих жизней». Я поглядел на него с изумлением, так как впервые услышал, чтобы кто-то еще, кроме меня, верил в сказки и выдумки о жизнях прошлых и будущих здесь, на земле, до

упокоения навсегда в Царствии Его вечном, в Доме Небесном. Тогда я узнал, что существуют племена и народы целые, которые верят в это, как мы в Спасителя и Вседержителя. И мне стало легче оттого, что не один я, грешный, верил в то, что Господь Бог, милостивый и добрый, сначала дает нам шанс несколько жизней прожить здесь, в юдоли плача, а потом призывает нас к Себе на Небеса для суда и правды Божией. Ибо человек плотью немощен и душою слаб, и если суждено ему жить лишь однажды, то как ему безгрешным остаться и к Господу приблизиться, Христу уподобиться? И Философ (подумал я тогда, на базаре в Дамаске) наверняка прожил несколько жизней до нынешней, сколько даровал ему Господь Бог милостивый, прежде чем стал он таким, какой сейчас есть: умеренный во всем, кроткий, мудрый и богоугодный.

А человек тот, на базаре, был торговцем, продавал два вида товара, во всяком случае, на его прилавке я заметил только пауков самой разной величины и разного вида: страшных и ядовитых, не страшных, но ядовитых, страшных, но не ядовитых, нестрашных и неядовитых; и ключи, у него было много-много ключей, золотых, к самым диковинным замкам.

Заплатив пятьсот золотых за черного ядовитого паука с крестом на спине, взял я необычный товар, покупку, которая, не ведаю, по какой причине, для Буквоносца была ценнее богатств несметных (не зря сказал он мне, что, если не вернусь назад за шестьдесят дней, забьет меня до смерти), и пустился в обратный путь.

7

От удара, который Бог решил нанести отцу Стефану руками Философа, тот уже не мог оправиться и более не поднимал головы. Логофет запретил ему появляться перед очами, ибо зол был, лжи не любя, а ложь Буквоносца была огромна: не было никакого видения и никакого ангела, а вместо того только хула на всех ангелов, и буквы были не новые, а старые, переписанные, буквы украденные, а не рожденные, сладкая гроздь, в чужом винограднике срезанная. А когда я вернулся назад из Дамаска, узнал о новых несчастьях: в день моего отъезда логофет царским указом с печатью царской сменил имя Стефану, и он больше не был Буквоносцем, а стал Лествичником! Но малым показалось ему наказание такое по гневу его, и отнял логофет у отца Стефана первенство в совете двенадцати и назначил его простым ключником в семинарию к Юлиану Грамматику. На великое осмеяние был выставлен отец Стефан Буквоносец (отныне и присно Лествичник), и я, хоть и не мог любить его (ибо лукав он был, и такая наука, как потом видно станет, подобала не только уму, но и сердцу его), все же пожалел его, ибо с высот

высочайших пал он, как ангел черный с небес, и в пепел обратился. Ибо не равно падение высокого падению низкого; с вершины мира падающему может кончина прийти, а с низкого падающему лишь боль малая и минучая приключится. Даже голос поменялся у Лествичника, стал будто из-под земли идущим, и второй глаз у него, как кажется, помрачился; сгорбился Лествичник, воздалось ему по делам его. Всегда белый глаз отца Стефана казался мне луной, светилом ночным, ибо белым был и пеленой белой был затянут; другой же походил на светило дневное, желтое, им же он видел. Теперь и этот глаз замутился, стал солнцем черным, могильным.

А Философ на следующий день опять был у логофета. Здесь же, за логофетом, стояли и мы: я, отец Пелазгий Асикрит и, вместо Стефана Лествичника, Марк Постник, принявший первенство в совете. Мы там были, чтобы слышать, чтобы видеть, чтобы узнать и чтобы иным временам свидетельствовать.

Философ выступил перед логофетом, поклонился, пал на колени и сказал:

— Добротворная надпись на кольце твоем и на добро тебе вырезана.

— А что там написано? — спросил логофет.

— Написано: *ну ниндаан езатени вадар ма екутени.*

— А на каком языке написано сие, Философ? — спросил логофет.

— Жил некогда род людской, который звался хеттским, господин. Писал он этим письмом. Род этот вымер, но все еще живы люди, понимающие язык его и читающие слова его.

— Что это означает, Философ? — спросил логофет.

— Ты сам сможешь узнать это, господин, и сам сможешь превзойти науку чтения иных надписей и оком и духом. Все, что нужно знать, — слово одно или букву одну, и после того чтение неведомого не будет для тебя невозможным.

— Чем поможет тебе один знакомец среди тысячи незнакомцев, если все, кроме него, к тебе не расположены? — спросил логофет уместной притчей, ибо воистину: чем поможет слово известное единое между сотен неизвестных, как и воин твой единый против тысячи неприятельских?

Но и Философ ответил подобно, чудной притчей.

— И Господь наш, Иисус человеколюбивый, един был, но, пришед, спас нас всех, — сказал Фи-

лософ, и продолжил мед течь устами его. — Если один желудь имеешь, а леса не имеешь и если посадишь его, не вырастет ли из него дуб? А от дуба единого не получишь ли опять желудей множество? А от них разве не взойдет роща целая? Если зерно имеешь, не произрастет ли из него колос, а от зерен колоса первородного не произрастет ли нива целая, а от нее другая? И потому, когда умирает некоторый язык и письменность некоторая угасает, не обязательно сохранять все; если горит храм и книги в нем, только одну надо спасти, да хоть и страницу единую, даже строки одной довольно. И тогда потом все книги можно будет заново воссоздать от той, что спасена, от зерна письма и слова. И Бог из Слова единого мир создал, а теперь слов несметно есть и языков несметно по родам человеческим на лице земли. Да и Ной, спасая мир, не по одному ли, мужскому и женскому, от всех тварей живых в ковчег свой взял, дабы потом умножилась жизнь на земле после потопа? Посему погляди хорошенько на надпись, тебе чуждой кажущуюся, и скажи: если слово, читающееся «нинда», означает «хлеб», можешь ли догадаться, о чем тут говорится?

Логофет смотрел на странное письмо на перстне и чесал в затылке. А Философ продолжал:

— Подумай, если в надписи говорится о хлебе, то следующее за ним слово, кое наибольшую сродность с этим словом имеет в твоем языке, да и во всех языках всех родов человеческих на лице земли, — какое это слово могло быть? Что с хлебом делают? — спрашивал Философ.

— Хлеб едят, им насыщаются? — неуверенно отвечал логофет, как дитя пред взрослым, как христианин, слуга пред господином своим, Господом Вседержителем, умоляюще и просительно глядя в ясные очи Философа.

— Именно так, пресветлый. Следующее слово означает «есть». А слово «ну» на что похоже, если мы знаем, что на всех языках этого света сначала говорится *кто* сделал, а потом *что* сделал?

— Слово «ну» похоже на слово «нас, нам», то есть «мы», о Философ-златоуст, — сказал логофет, и его объяла радость понимающего, с которой не сравнится ниже радость властителей, завоевывающих и грабящих.

— И это верно, — сказал Философ. — Но если так, что означают первые три слова? Разве не означают они «мы хлебом насытимся»? И посмотри теперь, пресветлый: значения трех слов мы знаем, а для написания этих трех слов употреблены семь знаков, так что, разгадав три слова,

семь букв мы разгадали. Ибо письмо это таково, как и все от Господа в этом мире: все большее из малого строится, и, познавая большее, мы незаметно для себя многое из меньшего познаем. Господь премудрый такую науку нам оставил, дабы не впадали мы в отчаяние оттого, что ничего не знаем; и потому, неведомое встретив, не следует отчаиваться, ибо эта сущность из других, более мелких сущностей составлена, и обычно они оказываются известными. Есть ли, господин, некоторые из тех, тебе уже известных семи знаков, во второй, неразгаданной части надписи?

Логофет посмотрел на вторую часть надписи, прочитал вслух:

— «Вадар ма екутени», — и сказал: — Есть. В слове «екутени» есть два слога, два знака, таких же как в «езатени».

— А что значит «езатени»? — спросил Философ.

— «Езатени» значит «насытимся», — ответил логофет.

— А разве тело этого слова, состоящего из звуков, не напоминает тело первого слова? — вопрошал далее Философ. — Разве два этих слова, «езатени» и «екутени», не находятся в согласии, сродстве и подобии телесном? Разве не похожи эти два слова одно на другое, как если бы близне-

цами были? — спрашивал Философ.

— Подобны почти полностью, — отвечал логофет.

— А если у двух людей тела подобны, разве не будут души их также подобны? — спрашивал Философ.

— Верно, — сказал логофет. — Эти два слова похожи, как родственники, ибо тела их подобны, а раз тела их подобны, одного рода и души их.

— Значит, — продолжал Философ, — какое слово братом могло быть слову «насытимся»?

Логофет взволнованно посмотрел на Философа, облизал сухие от возбуждения губы и сказал:

— «Напьемся».

— Именно, — сказал Философ. — Посмотрим, что у нас получилось: «Мы хлебом насытимся и… напьемся». Осталось всего одно слово, в котором все знаки нам неведомы, ибо не встречались доселе. Но взгляни на это слово, логофет. И скажи мне: какие слова имеют сильное сродство со словом «пить»?

Логофет казался все бодрее и воодушевленнее от чудесной науки Философа, и было заметно, что он все сильнее углублялся в надпись.

— Слова вроде «вино», «молоко» или «вода», — сказал он и прибавил: — Эти слова любовь

показывают к слову «пить».

— Прекрасно, — сказал Философ. — А какое из этих трех наибольшее сродство имеет со словом «пить», если сравнить тело слова «вадар» с телом некоего слова твоего языка?

Логофет совершенно углубился в надпись, и вдруг будто тень сошла с нахмуренного лба и озарение разлилось по всему лицу.

— «Вадар» значит «вода», — выпалил он, сам не сознавая, что сказал. — Слово незнакомое показалось мне в один миг знакомым, — добавил он в волнении, будто вдруг устав от долгого пути.

— Это потому, что всякое незнакомое содержит следы знакомого, — сказал Философ. — Господь Вседержитель, создавая мир, думал о нас и в непознанном оставлял зерна познанного, чтобы мы смогли это непознанное поименовать, — сказал он, и мед продолжал изливаться из уст его. — Разве, когда повстречаем незнакомца, не кажется нам, что он напоминает нам походкой, частью тела своего или голосом кого-то, кого мы раньше знали? И разве, кроме всего прочего, разве человек не похож на всякого другого человека? И разве всякий род не содержит части, известные по всем предыдущим, хотя и кажется полностью другим и неведомым? Разве человек не стоит в

середине между ангелами и животными; разве не отличается он от ангелов страстью, коей походит на животных, и разве не походит на ангелов разумом, духом и Словом, коими отличается от животных?

— Верно, о премудрый и златоустый Философ, — сказал логофет, еще полностью не понимая, что произошло.

Затем Философ возвратил ему кольцо и сказал:

— Прочитай теперь, пречестный, что говорится в Слове на перстне твоем.

И логофет посмотрел на кольцо и сказал:

— «Хлебом мы насытимся и водой напьемся».

— Истинно так, логофет, — сказал Философ.

Логофет взволнованно посмотрел на Философа, встал и проговорил:

— Сие есть пророчество доброе для всякого, чей перст кольцом сим украшен, ибо царство его и подданные его в состоянии благом будут жить с правителем этим, и хлеба и воды в изобильстве иметь будут, пока тот, кто носит перстень сей, будет управлять ими. И теперь я знаю, что не кольцо, а только надпись неведомая в комнате восточной есть причина поражений и несчастий царства нашего!

Философ поклонился, пал на колени с рука-

ми, молитвенно сложенными, и обратился к Господу:

— Благодарю Тебя, Отец мой Небесный, что логофету мудрости и силы душевной дал прочитать надпись; отныне он ближе к Тебе, Господи, чем душа его к телу его!

А логофет затем пал на колени перед Философом и со слезами радостными начал молить его научить и другим мудростям подобным и богоугодным, всем наукам и тайным откровениям, которые в себе хранят буквы и слова разных родов человеческих, мертвых или иных. Посадил его навсегда справа от себя, на место отца Стефана Буквоносца, и я понял, что беда и грех у нас у двенадцати на шее, как камень тяжкий на шее утопленника-самоубийцы; понял, что тот, Философ, в глазах логофетовых стал похож на *Сидящего одесную Отца,* как Богочеловек Боголюбивый возле Отца Своего, Вседержителя. Как и следует быть: мудрый рядом с сильным, грамматик рядом с властителем да стоят во главе царства.

Но что оставило тлеть в душе моей слабую искру надежды, что все еще не прервалась связь с Ним, было то, что, пока слушал я, как Философ с логофетом переводят надпись, я заметил, что

умение сие совершенно подобно моему умению создавать целое из множества частей, будь то выкладывать камушки, составляя мозаику, или плести словеса, подобно тому, как плетет сеть паук: все На своем месте, все в свое время, ибо у всего есть свое место и свое время на лице земли.

Но об этом когда время придет, о блаженные и нищие духом!

8

Слово, на воде писанное. Вот жизнь моя. От него ни памяти, ни воспоминания не останется, ибо на воде письма никто не может учинить, кроме Господа Бога Вседержителя и тех, кого Он возлюбил и чьи дела благоугодны Ему, как дела отца Константина-Кирилла Философа. Даже если достигнешь небесных высот, человеку недостижимыми кажущихся, как отец Стефан Буквоносец, то все равно жизнь твоя будет словом, на песке начертанным, словом земляным, из глины сырой сделанным. Ветер дунет, дождь пройдет — и исчезнет слово, вся жизнь твоя и все дела твои, на песке начертанные, в прах претворятся. Разве знает кто-нибудь имена горлиц упокоившихся, голубей с тихим полетом крыльев, да даже и орлов безыменных, кои восхищают нас, дерзостно в небо устремляясь? Жизнь правителей, властолюбцев, логофетов и мудрецов, их подвиги и деяния — нечто другое, как Слово на дощечке из кедрового дерева. Возгорится огонь — и нет его, как и не было никогда. Даже жизнь великих царей, на камне высеченная, ничего не значит. Отец Константин-Кирилл Философ

впоследствии, когда я стал асикритом его, мне рассказывал о некоем древнем царе, восхотевшем оставить о себе знак навечно и приказавшем из камня изваять статую, подобную телу его, и на статуе буквами каменными высечь надпись с именем его. Истукан сей поставить у моря на веки вечные. И много веков после того, как от тела царского уже и праха не осталось, статуя с именем царским все стояла. И много веков после стояла. Но ветер и волны ударяли в нее дольше, чем длится время, веками меряемое, и годами, и днями, и часами. Ибо только миг, а не великое время несет перемены, хоть и неощутимые для наших чувств слабых. И вот теперь никто уже не помнит ничего о роде того царя, камень истерся, и памятник превратился в наказание Божье: малый карлик без глаз, с короткими руками и ногами. Вот что осталось от великого и славного царя. И наказание — безымянное. Да и лучше, что безымянное, ибо Бог милосерд и к властолюбцам и стирает имена их, когда идолы их в наказания превращает. Самих себя карающих Бог не карает.

Время — наш главный враг: как главное качество воды — мягкость, а камня — твердость, так и суета наша тверда как камень, а время Божье

и Слово Его мягко, как вода, и все равно ударяет Слово Божье и время Божье о камень, пока не разрушит его. И так, пока не разобьет суету твердокаменную силой мягкой. Тем самым Бог учит нас: мягкое тверже твердого и слабое сильнее сильного, если есть вера в Него, Спасителя, и в Отца Его, Вседержителя.

Зачем пишу я это, я, все это знающий, но душой слишком слабый, чтобы уверовать?

Затем, что страшный грех на душе моей, и не знаю, сколько времени должно пройти (ибо и оно имеет начало, середину и конец), чтобы искупился мой грех; сколько времени воде мягкой, молитве скорбной нужно, чтобы разрушить камень греха моего, который давит мне душу, мелет ее, словно зерно пшеничное, вниз ее влечет, в пространства подземные и мрачные?!

В недобром деле я участвовал. Я могу сказать, что я *только* помогал в недобром деле, которое отец Стефан измыслил и учинил. Но грех мой этого греха больше: знающий Святое Евангелие, но не поступающий по нему, согрешил сильнее, чем не знающий и поэтому не поступающий по нему. А я участвовал. В сожжении на костре Слова. Слова — Сына Божьего!

У отца Стефана после унижений, которые нанес

ему Философ (по правде сказать, их ему нанесли его лживая душа, алчность к почестям и первостарейшинству, грозное властолюбие, которому безразлично, по праву или не по праву его славят!), в голове оставалась только одна мысль: раздавить, уничтожить, сжечь, превратить в прах и пепел говорящую дощечку, древо, глаголящее истину, которое предъявил Философ как печать Божью, как главное доказательство того, что видение отца Стефана, в котором явились ему новые буквы, было ложным, измышлением его грешной и к обману склонной души — души, ведомой грехом, славолюбием и властолюбием.

И все произошло той ночью, когда луна была полной, как и душа Буквоносца, теперь уже Лествичника, была полна злобы и суеты. Как только я принес паука в ковчежце с крышкой в отверстиях, как небо в звездах, я посетил отца Стефана в его келье. Он был болен, немощен, бледен, как моль, пожравшая ясли свои, ткань, в которой родился (паук никогда, как бы ни был голоден, не ест от сетей своих, от дела утробы своей); в ту ночь, когда показал я ему паука грозного в ковчежце, силу неведомую, силу дьявольскую, он поднялся на ноги и пошел со мной к своему греху, из-за которого я записан теперь в книге

должников Божьих. Ибо я купил паука (пусть и расплатившись чужими золотыми), я принес его с базара Дамаска, ввез и внес в Византию, в царство, о котором царь говорил, что это рай на земле, а все мы знали, что рай только на небесах; и вот, он пошел со мной, бледный, безутешный, со смертной синевой под глазами и под ногтями; пошел и спустился Лествичник, который должен был по лествицам небесным подниматься. Пошел и шел со мной, пока не достигли мы места, где оканчиваются пути грешных, в могильном подземелье, перед комнатой западной, зловещей. А когда мы подошли туда, с трясущимися от страха коленями, с дрожащими руками, то перед замочной скважиной комнаты со списком злотворной надписи он сказал: «Открой ковчежец и пусти тварь ядовитую в комнату ядовитую». И я только тогда понял, увидел, узнал: паук будет сторожем. Ибо сказал Лествичник: «Пусть войдет сюда это отродье дьявольское, пусть прочитает то, что свело в могилу отца моего». И я поднес ковчежец к замочной скважине, широкой, черной, зияющей, и впустил туда тварь грозную, и паук, будто договорились с ним, пополз прямо на свет, вырывавшийся из замочной скважины, втиснулся в нее и влез. Вовнутрь, в тайну.

Никогда, о блаженные и нищие духом, не слышал я такого страшного хохота. Кто смеялся — тварь ли волосатая, грозная, влезшая в комнату через замочную скважину, или смеялся Буквоносец, до Лествичника падший в милости царской, я и до сего дня не знаю. Но знаю, что Буквоносец был впервые в жизни счастлив и что меня не бил. Его исхудавшее лицо озарилось странным светом, и он даже поцеловал меня в щеку. И я понял: его поцелуй — это тот же кулак, меня до того бивший; ибо в страсти властвовать над другими побои легко переходят в любовь, как будто цель одна у избивающего и у избиваемого; знал, что между ним и мной существует некоторая неразгаданная связь — связь потаенной близости. Ибо избивающий любит, только когда избиваемый к той же цели стремится.

Так и было.

В ту ночь, после того как пустили мы тварь грозную сквозь замочную скважину в комнату тайн, я, по повелению и желанию отца Стефана, украл говорящую дощечку из кельи пречестного Философа, бывшего в то время на святой молитве. Все двенадцать, имена их перечислю, дабы не потерялись, дабы время не забыло их в себе, сохранило их в утробе своей: Стефан Буквоносец, Пелазгий

Асикрит, Марк Постник, Маргарит Духовник, Филарет Херсонесец, Юлиан Грамматик, Матфей Богослов, Феофилакт Златоуст, Августин Блаженный, Кирилл Богомолец, Григорий Богумил и я, Илларион Сказитель, или Мозаичник, — мы все пошли тайно, как тати ночные, в лес, и мы, бедные, были убеждены, что избегнем очей Того, Кто все видит и все слышит. И зажгли мы огонь невиданный, костер огромный, до неба, и когда увидел отец Стефан Лествичник, что огонь хорош, то сказал: «Огонь хорош, и время пришло бросить в него нечестивого». И так и было.

О небеса, о святые, о ангелы и архангелы, серафимы и херувимы, какое чудо пред нами сотворилось! Вместо того чтобы огонь поглотил дерево, дерево поглотило огонь и осталось посреди костра, будто водой, а не огнем его одарили. И вмиг в лесу настала черная темнота, и только буквы Слова неведомого на дощечке засияли светом во сто раз, во много раз ярче огня нашего. Сияли, как звезды на дощечке, и все это видели, и доказательство чуда — это то, что все видели одно и то же, все двенадцать душ. И когда свет разлился как от звезд сияющих, с неба сошел глас сильный и рек: «О бедные! Демон, дух зла вошел в вас, но разве огнем уничтожить вам

Сына Божьего? Разве вы веры своей не помните? До начала времен Слово было в Боге; в начале времен Слово создало мир, посреди времен Слово воплотилось ради спасения вашего, а в конце времен воплощенное Слово, Богочеловек Иисус Христос, судить вас будет по делам и поступкам вашим и сущим будет, как до Сотворения мира — вечность. Потому сжечь Слово — значит сжечь на костре Господа, Отца своего; сжечь Слово — значит сжечь время, век Его; сжечь Слово — значит сжечь себя самого, ибо плод ты Отца и времени, ибо никто не жив вне Его, как никто не жив вне времени, ибо тогда он ничто».

И потом голос пропал, а мы, трясясь от сильного страха, павши наземь, видели, как опять вспыхнул огонь, как поглотил дощечку, как она затрещала; но в то же время слышали и голоса многочисленные, вопли и завывания, как будто людей живых, человеков малых жгли на костре. Это каждая буква чудесного сочинения, Философом принесенного, плакала, стенала и кричала, будто живой человек; и сильный запах горелого мяса начал разноситься в лесном воздухе и запах костей обгоревших; чад и смрад невыносимый, хула ужасная, запах мяса человеческого горелого поднимался до небес; и вдруг все мы двенадцать

увидели зрелище ужасающее и страшное: твердые буквы собрались в одном месте в огне и стали скелетом человеческим, а мягкие буквы в плоть обратились, и в огне показался горящий человек; тело его горело, волосы его горели, кости и плоть его горели, и он стонал и плакал и пытался выбраться из огненной стихии. И в следующий миг это пламенем объятое чудище понеслось к нам, понеслось чудище несчастное, корчась от боли, прямо к Стефану Буквоносцу, которого теперь зовут Лествичником, и прокричало: «Сын, сын мой, зачем огню меня предал?!» — а мы все в огнем объятом теле узнали отца Миду, покойного с той ночи, когда он превратился в буквы и письмена, мир и покой его душе, когда тело его после сотворения списка превратилось в слова: кости — в твердые буквы, а плоть — в мягкие и звучные. Огненное тело промчалось около нас, прошло сквозь тело отца Стефана, как сквозь пустоту, и отлетело к небесам, над лесом, над горою.

Так было, ибо по-иному не было, о смиренные и бедные.

А отец Стефан слег, и охватила его лихорадка сильная, и разболелся он, так что было у меня время понять: Лествичник той ночью в злобе своей отца своего сжег, ибо Отец всегда в разных обли-

чьях является, но отец твой один, как один и брат твой, и их надо беречь, как икону пречистую.

9

В тот вечер я не мог заснуть: возносил молитву столь усердную и чистую, Бога молил отвратить меня от неправедного пути, взять меня с Собой, не оставить меня в руках разбойников с большой дороги, одиннадцати, а со мной двенадцати, асикритов, грамматиков, священников, богословов и богомилов, и людей ученых, святых отцов, а и злодеев. Молитва — это чаша, рука, подъятая к Богу за малой толикой благодати; моя чаша и в тот вечер осталась пустой, ибо Господь не наполнил ее ничем, кроме желчи, и пития небесного, что благодатью зовется, не дал мне; углем перегоревшим погасла молитва моя, душа моя остыла, вместо того чтобы согреться, и я решил: пойду расскажу все Философу, покаюсь пред ним и у него прощения попрошу, раз Господь не дает мне его.

Я пробирался по коридору в чернейшем мраке, я, муравей черный, черной ночью, на мраморе черном, прошел по двору к скрипторию, где отец Кирилл Философ оставался до поздней ночи, записывая некие сочинения, в которых он прославлял чудеса и подвиги Божьих людей. Я

добрался до скриптория, вошел внутрь и чуть не лишился чувств, когда увидел: на столе для переписывания, рядом с ним, по левую руку, лежала целехонькая, даже ничуть не закоптившаяся, говорящая дощечка, которую только что сожгли мы, безумные братья и ближние его. Он стоял над ней, смотрел на меня и улыбался, и я заметил, что в руке он держал калам из солнечного луча, калам, какого я до того никогда не видел; улыбался тихо, благоутробно, самоуничижительно, умоляюще, благодарно, с чистой любовью ко мне, и я смотрел в его лицо, походившее теперь на ясное солнце, смотрел в его глаза, лучившиеся тихим, благородным теплом — теплом, которое нежно и терпеливо греет души ближних, теплом безвредным, животворным, как солнце, дарящее свет как мудрость благую, а не как пламя суеты, солому горящую, ибо солнце дает жизнь потому, что не жжет и испепеляет, а светит и греет. Он посмотрел на меня и изрек:

— Какая нужда привела тебя сюда, сын мой, в такой час, что не дает тебе спать сном мирным?

Я пал перед ним на колени и сказал:

— Блаженный отец мой, Философ-златоуст; колени мои ослабли не от поста, а от греха, причиной которого были властолюбие и гордыня

отца Стефана Буквоносца; я оказался в обществе одиннадцати, со мной двенадцати, татей ночных, разбойников с большой дороги, скрывающихся под святыми ризами, не по своей воле, а потому, что душе моей не под силу подвиги небесные, а под силу лишь падения; потому лишь, что легче вниз катиться, нежели вверх карабкаться к высотам Его, я пал; пал в бездну…

Он смотрел на меня, будто ничего не понимая из того, что я говорю, а я начал плакать, стенать у его ног. Не смог я сдержать слезы: ни во время молитвы, в часы бестелесные, бесчувственные, когда я призывал Бога, моя душа не пылала так, как в тот миг; в тот миг, когда я плакал у его ног, я был способен преодолеть любые искушения, и мне казалось, что ни один демон не может мне ничего сделать; душа моя воспылала огнем пламенным от любви к этому человеку передо мной (была ли то, о бедные, и любовь к Богу?), и этот очистительный огонь был залогом того, что ни единый порок в тот момент не мог коснуться меня. Эта молитва для меня была густым облаком, которое то защищает от злых и жестоких мыслей, то орошает и освежает потоками слез подвизающихся в молитвенном стоянии.

Он встал на колени, взял мою голову в свои

руки (всю жизнь, до Судного дня буду я помнить тепло его слабых бледных рук; тихий жар, тепло, какого не чувствовал я исходящим ни от одного существа земного; тепло медленное, можно сказать неизменное, и потому вечное, как у птицы), взял лицо мое между ладоней и сказал:

— О чем говоришь ты, дитя мое? Отец Стефан Буквоносец примерный христианин, пречестный отец, как и все двенадцать, находящиеся во дворце; и ничего другого, кроме ложного видения в момент слабости, мы не можем поставить ему в вину; но это со всеми нами может случиться. Потому не зря говорится: никогда, ни на один миг не разрешай душе своей отдыхать и лениться, ибо нечестивый не спит ни днем ни ночью. В любой миг праведник может стать грешником. Адам пал и согрешил; Соломон забыл Бога; святой апостол Петр отказался от Христа. Когда от легкого ветра, дитя мое, падают такие кедры гор ливанских, могут ли устоять такие слабые тростинки, как мы?

Я, онемев, смотрел на него и не мог понять: неужели он не знает, что мы хотим сделать? И как может дощечка невредимой лежать на столе для переписывания? Он уловил мой взгляд и спросил:

— Хочешь посмотреть? — Потом подал мне

чудесную говорящую досочку.

Я взял ее дрожащими руками и увидел, что это была та самая дощечка, которую мы сожгли перед закатом в лесу, мы, несчастные двенадцать. Я отдал ее, ибо тоскливо было у меня на душе, и он взял ее; я посмотрел на свои руки и увидел, что они все в угле и саже; меня охватил безмерный стыд, и я, улучив момент, когда он не видел, незаметно вытер руки о свою черную одежду, пока он любовно вертел досочку в руках и рассматривал непонятные ряды значков неизвестного письма. Когда он положил ее обратно на стол, я заметил, что на его руках нет ни сажи, ни следов угля.

— Я, сынок, испугался за дощечку, — сказал он внезапно. — Каждый вечер я переписываю Слово, записанное на ней, и каждый раз Слово, которое я переписываю, выглядит по-другому, в нем появляются новые значения, проявляется новый смысл. Нет конца этой работе, и длится она уже десять Божьих лет, с тех пор как дал мне ее тот, кого я вылечил; а когда сегодня вечером я стал искать ее у себя в комнате, ее не было. В ужасе и испуге я побежал в скрипторий и увидел, что она лежит на столе; я, верно, забыл ее вчера, ибо заработался допоздна.

А потом сел и сказал:

— Есть у тебя некая нужда, приведшая тебя ко мне, дабы передо мной исповедоваться, но я не знаю причины ее; может быть, ты слишком строг к себе, как говорится в поучении о трех сердцах: нам нужны три сердца — одно для Бога, сердце чистое; для ближних, сердце милостивое, и для себя, сердце острое и строгое. Я смотрю, ты неукоснительно следуешь этому поучению, ибо пред Богом ты чист, ко мне милостив, а к себе строг, раз каешься в молитве чистой и горячей. Но не будь слишком строг к себе: душа наша изменчива и походит на железо тем, что, если остается без заботы, на нее нападает ржа и точит ее; но если накалится в огне, то очищается от ржавчины и, в огне находясь, становится огню подобна, так что никто не смеет ее коснуться, ибо огнем пылает железо души. Такой была душа твоя миг или два назад, когда ты встал передо мной на колени и исповедовался в злодеянии, которого ты не совершал и которое не ты задумал. Демон ввел тебя в искушение, а ты с ним справился, ибо ржа спала с души твоей, как проказа с больного, излеченного от Бога.

Так сказал он и опять занялся переписыванием Слова. Я смотрел на его светлозрачный калам и не знал, что сказать. Он потом заметил, что я не

ухожу, отложил калам и сказал:

— Я расскажу тебе историю дощечки, говорящей истории верные.

О святые! Какой мед потек из уст его, когда он начал рассказывать; я Слова такого не то что сочинить, а и пересказать не могу, тем более повторить, хотя уши мои его слушали, а душа моя наслаждалась изреченным.

Он говорил мне, что когда исцелил больного из Каппадокии и когда тот ему за это подарил досочку, то впервые узнал, что существует письмо на дереве. Знал, что есть говорящий камень, говорящая кожа ягненка (нерожденного, извлеченного из материнской утробы), говорящая глина, но не знал, что существует и глаголящее дерево (как сейчас помню, что меня уязвило, о бедные: он сказал, что только вода не говорит и что жизнь бедных, гордых, славолюбивых и честолюбивых — это книга, написанная на воде). Род того человека жил счастливо, но попал в рабство к некоторому другому роду; покоривший его царь первым делом повелел собрать все говорящие дощечки и сжечь их на костре. На тех досочках его род записывал свою родословную, свои песни, сказки и Слова о событиях, правдивые и чудесные, истории о выдающихся мужах, о по-

движниках, о великих происшествиях на земле и на небе: появлении хвостатых звезд, великих потопах и движениях земли, урожаях и засухах и других самых важных событиях в жизни этого рода. «От днесь для вашего рода нет прошедшего времени; а поскольку время прошедшее находится в словах и буквах, как все родившиеся, а потом умершие находятся в своих могилах и в них пребывают до конца мира, все слова должны быть сожжены на костре!» — сказал царь порабощенному роду и сжег дощечки. Тайно сохранили только около двадцати таких досочек, из коих одна была в доме странного приезжего из Каппадокии. Философа заинтересовало то, что было записано на дощечке, и он попросил каппадокийца ее прочитать; он же, совершенно слепой из-за болезни, перстом водил от знака к знаку и рассказал невероятную повесть о некотором боге, сошедшем с неба на лицо земли и сотворившем все сущее. Но Философ решил проверить, правду ли говорит старец: на другой дощечке он совсем другими буквами записал ту же историю, как слышал ее от каппадокийца. Когда утром он подал ему новую дощечку, исписанную нашими, а не его буквами, он так же перстом водил по ней и слово в слово повторил ту же историю,

как и прошлым вечером: бог сошел с небес на землю и сотворил все, что теперь существует на лице земли. Отец Кирилл подумал, что слепец из Каппадокии — лжец и знает только одну лишь историю, которую и рассказывает всегда, и ему не важно, какое Слово и каким письмом написано на дощечке. Когда Философ спросил слепого, откуда тот знает, что именно написано на досочке, ведь написано это буквами ему неизвестными и непонятными, тот отвечал: «Даже когда я касаюсь письма, мне непонятного, я чувствую, что там написано; так, когда ты дал мне дощечку с твоими буквами, я ощутил, что эти знаки мне неизвестны; но я все равно понял, о каком событии идет речь. Я понял, что там написано о том же самом, о чем ты вчера услышал от меня, хоть ты и записал это буквами, мне чуждыми». — «Но как удалось тебе это понять?» — спрашивал Философ. Слепой старик из Каппадокии отвечал ему: «Трудно тому, кто умеет читать только потому, что предварительно выучил все буквы и знаки языка, на котором он читает; легко тому, кто умеет читать и не зная заранее значения знаков; только тот и читает по-настоящему. Ибо у всякой буквы, даже неведомой, есть свое тепло, отличное от тепла других букв, как у всякой вещи на

земле есть свое тепло и свой цвет. У воды разве нет своего тепла и разве не холоднее она огня, который горяч? А воздух разве не посередине между этими двумя? Так и я, когда провожу перстом по буквам неведомым, чувствую их теплоту и свет их вижу, ибо у каждого тепла есть свой цвет, и знаю, говорится ли в написанном о холодном или теплом, о темном или светлом, о хорошем или плохом. Так я и прочитал в первый раз историю о боге, сошедшем с небес и сотворившем все на земле, хоть никогда не знал ни единой буквы того письма, которым написана говорящая дощечка. Дай мне надпись, повествующую о злодеяниях, и я тут же сумею ощутить под ладонью темные буквы, темные звуки, крики и слова холодные, от которых кожа покрывается мурашками; дай мне Слово божественное и богоугодное, говорящее о великих подвигах, и я тут же под рукой почувствую звуки светлые, буквы теплокровные, огонь в письме почувствую, как когда любящий пишет возлюбленной. А когда утром ты дал мне свою дощечку с буквами на языке твоем, я ощутил, что от буквы к букве тепло и свет каждого знака совпадает с написанным на моей досочке; одно и то же событие было записано и там, и там».

Еще о многих чудесных событиях рассказывал

Философ, и я слушал его с раскрытым ртом, с вытаращенными глазами, с душой, стремящейся к поучению; он говорил, что от старого каппадокийца узнал, что у букв есть свое тепло, что они вдохновенны Духом Святым и что буквы так же живы, как живы и мы, животные или растения; говорил, что тепло это он и сам чувствует, но не так ясно, как слепец из Каппадокии; говорил, что огонь — первоисточник письма, как солнце — источник дня, его исток, ибо каждое письмо претворяется в огонь; книги горят потому, что в них есть буквы и тепло в них великое; ибо нельзя поджечь то, в чем нет тепла, как в камне или воде; и потому труднее поджечь камень, чем дерево и бумагу; но и камень, сказал он, можно поджечь, если на него нанести письмена теплые, и доказательство тому — звезды хвостатые; говорил, что все на целом свете — письмо, что весь свет — это книга и каждый человек — это Слово, даже и женщина; говорил чудные вещи, а я его слушал и так увлекся, что не заметил, как дверь открылась и вошел отец Стефан Буквоносец, которого теперь звали Лествичником, ключник семинарии и скриптория. Он остановился за спиной Философа и слушал, что он говорит. В какой-то момент Философ уловил мой взгляд и понял, что кто-то

стоит позади него. Но он продолжил говорить как ни в чем не бывало.

Как теперь помню я все это, будто сейчас звучит его голос. А говорил он в тот миг самое странное поучение, какое я когда-либо слышал из уст человеческих; будто Бог говорил через него, будто Правда Божья открылась мне и Стефану Лествичнику. А говорил он так, ибо не говорил по-другому, слово в слово, буква в букву:

— Языки всех родов человеческих различны и разными словами обозначают одно и то же. Слово для воды во всех языках разное; также и для хлеба; так и все остальные слова, для всех сущностей, они состоят из разных звуков в разных языках. Но все языки состоят из одинаковых звуков, и нет языка, отличающегося от другого больше чем дюжиной звуков, но нет языка, который от других отличался бы только дюжиной слов. И значит, что в языке важнее: слово или звук?

— Звук, — промолвил я, и устами моими говорили и соглашались с Философом как будто бы двое: я и отец Стефан.

— Вот видишь, чадо мое, почему пречестный отец Стефан не мог прочитать надпись на кольце логофета, хоть он в науке сведущ и одарен: потому что для него надписи состоят из слов, а для меня

— из звуков. Слово больше звука, ибо из звуков состоит; а чтобы понять что-то, нужно разбить это на мельчайшие части. Разве сможешь ты сказать, что такое гроздь, если не знаешь, что такое ягода? Так устроен этот мир: меньшее входит в большее и большее всегда состоит из меньшего, дробного; если знаешь меньшее, познаешь и большее. Нельзя узнать значения слова, если не знаешь звуков и букв, из которых оно состоит.

— Но, — сказал я, и опять моими устами будто говорил Стефан Лествичник, — у звуков нет значения. И если предложение можно понять, только если знаешь значения слов, из которых оно состоит, для слова это не так; ибо каково значение каждого звука отдельно в слове?

Философ посмотрел на меня и сказал:

— Потому я и рассказал тебе о случае со слепцом из Каппадокии; каждый звук имеет свое значение, только эти значения мы забыли. В стародавние времена не говорили словами, а только звуками, и все понимали друг друга лучше, чем теперь, когда уста полны словами различнейшими и многочисленнейшими; потому и все роды человеческие были вместе как один род, ибо из всех ртов человеческих во всем свете исходят одинаковые звуки, числом сорок, сколько и му-

чеников было; но когда Господь Бог разгневался и разрушил башню грешного города Вавилона, люди начали из этих звуков составлять слова различные и перестали друг друга понимать. Из единогласия сделалось многословие, и тогда начались злодейства и несчастья на лице земли. Лесть, оскорбления, лицемерие и лукавство — все это чада слов, а не звуков, отец Илларион.

Тут душа самолюбивого Стефана Лествичника, сменившего свое имя из-за ложного видения, не выдержала, и он появился из темноты со свечой в руке.

— Если все так, как ты глаголешь, Философ, тогда скажи, каково значение звука «м», например? Или «т», или «к», или «а»?

Философ повернулся к Стефану Лествичнику, который, восходя по лестнице властолюбия и гордыни, мнил, что восходит по лестнице знания и истины, перекрестился, приветствовал его, говоря «мир тебе, отец Стефан», и сказал:

— Завтра, перед логофетом, открою вам тайну значения каждого звука отдельно.

И с тем повернулся, взял дощечку со стола для переписывания и оставил меня при свете свечи, которую держал в руке отец Стефан. А мне показалось, что в темноте оставил меня, муравья

черного, на черном мраморе, в чернейшую ночь, ибо свеча отца Стефана светила светом холодным, как светило ночное на небе: светила только настолько, чтобы показать нам, что мы не слепы, как око отца Стефана, затянутое белой пеленой.

10

Тем же самым вечером Лествичник ругал и бил меня в келье своей за то, что застал меня за дружеским разговором с Философом. Он был убежден, что с помощью какой-то черной магии, с помощью дьявола я вернул досочку на место, на стол в скриптории, на котором Слова составлял Философ.

— Говори, — кричал, — говори, в какой тайной связи вы двое с нечистым!

Я отвечал ему, что не знаю, какими путями неведомыми дощечка вернулась в скрипторий; но он не хотел слушать и еще бил меня. И в какое-то мгновение, когда он склонился надо мною (а я лежал, скорчившись, на полу, как паук в паутине), чтобы ударить меня кулаком по спине, из-под рясы его выпал ключ золотой и упал прямо перед моим носом на пол. И на ключе золотом я увидел такие же буквы, инициалы, как и на ключах на прилавке странного торговца-аморейца на базаре в Дамаске!

Я видел; но и он видел, что я видел. Он наклонился, взял ключ и в первый раз в жизни произнес то, чего никогда раньше не произносил:

оправдание. Он сказал:

— Я теперь ключник семинарии, и нет странности в том никакой, что у ключника ключи есть.

А мне было совершенно ясно: такого ключа от семинарии я до того не видел. Но о том, блаженные и нищие духом, после, ибо время еще не пришло.

На другой день в покоях логофета собрали весь совет старейшин. Нас позвали, потому что Стефан Лествичник, который в глазах логофета после того ложного видения должен был сначала подняться по ступеням славы и почестей, рассказал управителю, что отец Кирилл осыпает слова хулой бесчестной и относится к звукам как к идолам; а в Священном Писании сказано, что идолы и их истуканы суть пустота и гниль, обман бесовский. Рассказал ему, что Философ осквернял старую истину из святых книг: Слово, которое было у Бога и которым Вседержитель создал свет. Всё и вся ему наговорил, стоя на коленях перед его престолом, проливая слезы лицемерные, телесные, слезы из глаз, а не из души, притворяясь, что возмущен бесчестием, с которым дается преимущество звукам перед словами. Я знаю, как он плакал, и знаю, что́ он сказал логофету, и знаю, что логофет нахмурился и раскраснелся,

ибо умом он был скуден и легко его было убедить, разубедить и переубедить, стоило лишь только положить в рот, откуда текут слова, немного сладкого яда из лукавства, лицемерия и лести; я знаю, каким отравленным медом поил он логофета, какими словами восхвалял его и как лживо он ужасался тем, что проповедовал Философ в скриптории. Знаю, ибо видел, а видел, ибо был там, скрытый за дверями покоев логофета. Вот что сказал логофету бедный Лествичник:

— Пресветлый правитель, когда ты наказал меня за видение обманное и когда унизил меня, отняв имя мое почетное, в душе моей я не испытал гнева, ибо правитель всегда лучше знает, что хорошо для его слуги; как Господь Бог, посылая нам несчастья, делает это потому, что знает, что хорошо нам, и никогда не дает нам впасть в душевную лень и самодовольство, так и ты, пресветлый, наказал меня и лучшего для меня не мог сделать. Как отец, который знает, что чаду его лучше не играть с огнем и тому подобными вещами, не подходящими его возрасту, хотя чадо его и думает, что родитель плохо к нему относится, что не позволяет играть с этими вещами; но правильность этих запретов, пусть и позже, душа слабая детская поймет и одобрит. Как семенам

потребен дождь, их орошающий, так и нам нужны наши слезы. Как необходимо пахать и копать землю, так и душе вместо плуга необходимы искушения и сожаления, чтобы травы недобрые не вырастали на ней. И благодарен я тебе бескрайне за то, что ты меня наказал и сделал меня лучше, чем я был. Я не буду, пречестный, убеждать тебя, что видение мое было на самом деле, ибо ты не поверишь мне, но душа моя все более укрепляется в вере, что нечистый послал мне ангела ложного, черного, в белого оборотившегося, и что сделал он это как знак напоминания и тебе, и царству нашему; все чаще думаю я, что тот ангел нечестивый был предупреждением, пророчеством, что во дворец твой придет сначала такой ангел с буквами ложными и наукой неверной. И пришел он, но очи твои не распознали в нем ангела черного, только видом белого, как мои очи не созерцали нечистого при видении, которое отняло у меня честь, имя и славу. Но только будто бы; ибо если отнять имена вещей, тем самым не уничтожить качество их основное: скажи, что с сегодняшнего дня огонь не огнем зовется, а камнем, он все равно не перестанет греть. Нет у меня намерения убедить тебя в том; ты сам в этом уверишься, когда услышишь, что изрек

Философ вчера в скриптории, как бесчестно хулил он Господа Бога Вседержителя, а хулой этой уста его переполнены, как у всякого, кто лукав, лицемерен и притворен!

Вот такую приманку, наживку бросал Стефан Лествичник перед логофетом, а тот, кто бросает приманку, тот охотник, ибо ему нужна добыча; сначала высоко он забрался, а потом пал, а тот, кто хоть раз высоко забирался, а потом падал, никаких слов и дел не чурается, чтобы вернуться в положение прошлое. Как роса, упавшая с неба, должна испариться, если хочет опять подняться на небеса, в облака, так и ему пришлось сделать: из воды претвориться в иное качество, в пар; переменить себя, стать чем-то другим и кем-то другим, дабы повторно возвыситься. И так он и сделал: стал паром, духом невидимым и ядовитым стала душа его; он говорил и ждал, пока не проглотят его приманку, попадутся на его наживку. Не пришлось ему долго ждать, ибо логофет не привык, чтобы ему расставляли силки, всегда он, властитель, расставлял их другим. И сказал он:

— Говори, Стефан Лествичник. Не желаю я, чтобы хулу бесчестную глаголали у моего престола.

— Из Слова создал Господь мир, разве не так? И Слово было в Боге, и Бог был в Слове, разве нет?

— Верно, — сказал логофет.

— Философ вчера сказал, что звуки важнее слова и что Господь из звуков, а не из слов целых сотворил небо, землю, светила небесные, людей, растения и животных. А если это так, если звуки важнее слов, почему ты отобрал у меня имя, а не один только звук из имени моего, пречестный господин? Я думаю, что Философ шутит и с тобой, и со мной, и с наказанием твоим. И если это так, если меньшее, из которого состоит большее, важнее этого большего, тогда не важнее ли одна перекладина целого Креста Господня? Не важнее ли один кирпич целого храма Божьего, ибо храм из кирпичей состроен? И не важнее ли кольцо твое самого тебя или престол, на коем ты восседаешь, чем твоя благородная, строгая, но справедливая душа, которую ты выказал, справедливо меня наказав, для моего же блага, чтобы открылись глаза мои и чтобы я узнавал нечистого, когда он подбрасывает мне видения ложные?

Логофет совсем нахмурился; пала его душа, дух его слабый перед атакой слов Лествичника, ядовитых, но медовых; немощен был властитель, как муравей перед прибывающим потоком, как соломинка на ветру. Сдался он перед словами Лествичника, топнул ногой перед престолом и

воскликнул:

— Созвать немедля совет! И привести дерзновенного перед мои очи! А ты садись одесную от меня и вступай с ним в словесный бой!

Так было, благоутробные и бедные, ибо по-иному не было.

И стояли мы все вокруг логофета, двенадцать мудрецов, святых разбойников; посредине на своем троне сидел властитель, а перед нами стоял Философ. Первым справа, рядом с логофетом, сидел Лествичник.

— Мир тебе, пречестный, — сказал Философ и склонился перед логофетом.

— Какое слово слышу о тебе, Философ? — сказал логофет. — Что хулил ты слова бесчестно и что для тебя звуки важнее слов? И что Господь ошибкою свет из Слова создал, ибо должен был из звуков его сотворить?

— Пречестный, — ответил Философ, — неведомо мне, как дошла до тебя такая весть, что хулил я Бога. Но знаю, что отец Стефан там был и со мной спорил; знаю, что или язык, или уши отца Стефана несообразны душе его, чистой и благородной, и что это недоразумение — плод этого несообразия. Если уши его хорошо слышат, значит, язык его согрешил; если язык согрешил,

согрешила и душа его, когда он на меня клеветал. Но я верую, что язык его чист, а уши плохо слышали; когда уши плохо слышат, душа невиновна. Ибо только язык наш есть видимая часть души; он ее телесная часть, а уши — нет. Ибо ушами берется, а языком дается, как и душой дается; и жаль мне, что отец Стефан восхотел языком брать, вместо того чтобы дать ближнему своему.

Наступила гробовая тишина, в которой слышно было только, как отец Стефан Лествичник причмокивал губами от неприятности положения, в каком оказался. Логофет кашлянул, сел на престол и посмотрел на Лествичника. Он подал ему знак рукой и сказал:

— Вы двое, объяснитесь.

Лествичник, как животное перед борьбой, напрягшись и душой и телом, как жила натянутая, перед тем как отправить стрелу в цель, проговорил:

— Разве ты, Философ, не говорил, что раньше, в незапамятные времена, люди не словами, а звуками обходились и лучше понимали друг друга, чем теперь, когда словами пользуются?

— Говорил, — отвечал Философ.

— Но разве не создал Господь мир из Слова, а не из звуков? — сказал Стефан Лествичник.

— Совершенно верно.

— Но если звуки важнее слов и если Господь, создавая мир из слов, в сущности, создал свет из менее важных вещей, разве не ошибся Он еще в начале? И разве мы не живем тогда в ошибочно сотворенном мире, ибо мог быть создан мир лучший, а Господь не знал, что лучший мир может быть? И разве сказанное тобою в скриптории не то же самое, что: Господь есть первый грешник?

Тут все лицемерно перекрестились, чтобы изгнать нечестивого, стоящего перед престолом.

Глаза Лествичника загорелись жаром самолюбия и славы (засверкал даже слепой глаз, светило ночное, белое), ибо казалось, что эта парабола, как стрела, попала в цель, в немощное тело Философа, и что она в любой момент может поразить его душу и разбить ее, как стекло. Мы все видели, что Философ поражен, что ему больше нечего сказать. Но мы ошиблись: стрела отскочила от него, как простая соломинка, брошенная в камень утвержденный, ибо он промолвил:

— Ты говоришь верно и рассуждаешь правильно. Но ум и знания без веры в Бога суть просто несчастья; ибо что плохого в том, что Господь, зная, что звуки более совершенны, нежели слова, решил мир земной сотворить из слов? Ведь мир

земной не совершеннее мира небесного, и потому разве не должен был он из менее совершенного быть сотворен? Из совершенного создается совершенный мир, Чертог Небесный, и звуки Господь хранил для него. Не зря говорится, что из Чертогов Небесных слышится райская музыка; а музыка из звуков, не из слов состоит. Потому Господь Вседержитель мудро поступил, создав несовершенный мир из несовершенного. Как иначе бы Он принудил нас подниматься к совершенному, если бы уже дал нам это совершенное? Сможешь ли ты подняться выше, если тебя кто-то поместил уже на вершину горы? Потому и стремимся мы вверх, от низкого к высокому, а не от высокого к низкому. Если Господь создал бы мир из звуков, род человеческий спускался бы все ниже и ниже, а не шел бы к Спасителю.

Лествичник опять зачмокал губами в наступившей грозной тишине, ибо парабола Философа пленила всех, особенно логофета. Но Лествичник быстро овладел собой и, как охотник, желающий добить загнанного зверя, немедля снова пошел в атаку:

— Ну хорошо, если это так и если ты сам говоришь, что для этого мира нам даны только слова, тогда почему ты веришь, что одно и то же Слово

может читаться двояко: один раз как состоящее из слов, а другой раз как состоящее из звуков? И разве не означает это, что в каждом Слове два значения кроются: одно то, которое глаголют слова, а другое то, которое глаголют звуки? И значит ли это, что все мы здесь, грамотными будучи, а особенно логофет, самый из нас грамотный, умеем читать только глаголанье слов, но не глаголанье звуков? Ибо письмо, мною созданное для логофета, словесное, а не звучное. Разве ты не говоришь тем самым: «О грамотные, не знаете вы, насколько вы неграмотны, ибо только одно значение всякого Слова понимаете, а другое, тайное, более важное, более совершенное, — нет?»

Казалось, что Философа опять загнали в угол, откуда нет выхода. Но было не так, ибо сказал он:

— Чтение, отец Стефан и пресвятые отцы, прекрасное дело: при каждом чтении одного и того же Слова всегда открываешь нечто новое. И потому не должно удивлять то, что отец Стефан, коего душа ленива на новые подвиги и который всегда думает, что с положением, которое он в настоящий миг имеет, он дошел до края, хочет все понять из чтения только. Это нас умиротворяет, ибо это догма; а человек хочет жить в умиро-

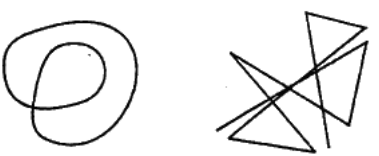
творении. Хочет все объяснить для себя через одно чтение и душой успокоиться, ибо говорит себе: «Се, я прочитал Слово это в десятый раз и не нашел ни слова единого нового, ни буквы единой новой и знаю все, ибо Слово это и в десятый раз одно и то же». Но это не так. Хоть Слово и то же самое и при каждом прочтении состоит из тех же букв и слов, оно каждый раз разное глаголет, потому что значения слов переменчивы. Всегда в этом великолепном и прекрасном мире больше сущностей, чем есть слов для этих сущностей; потому иногда одно и то же слово мы употребляем для двух, а то и для трех сущностей, ибо невозможно создать и запомнить столько слов, сколько есть сущностей на свете Божьем. Разве нужно нам придумывать три разных слова для красного, желтого и зеленого яблока? Мы все три, не так ли, называем яблоками, а другими словами, другими способами указываем на цвет их. Все это значит, что слова не укреплены в значениях своих, не совершенны. Они походят на тела, населенные двумя душами. А такое тело, с двумя или более душами, грешно и несовершенно. Вот потому я, пречестный, больше верю звукам слова и стараюсь их читать, ибо нет звука с двумя или более душами; у тела звука есть только одна душа.

Лествичнику больше нечего было сказать; это видно было по его открытому рту. (Что интересно: Лествичник стал зевать, как логофет, едва только пал с Буквоносца до Лествичника; хотел ли он тем самым подольститься к логофету, стать ему подобным, о блаженные и нищие духом?)

— Но можешь ли ты нам объяснить значение звуков, каждого звука отдельно? — сказал тут заинтересованно логофет, который уже предчувствовал чудо, диво Божье.

И оно случилось. Диво.

Отец Кирилл вынул из-под риз своих тринадцать малых листочков, и на каждом было начертано одно и то же: две вещи, которые впервые видели глаза наши, ибо не существует таких на свете, созданном Вседержителем; будто из другого мира пришли они, чистый вымысел. Вот так выглядели они, о коих не знали, что они — живое или неживое, растение, животное или камень:



Подал нам чудные творения, все тринадцать

одинаковых, будто разом начертанные все, и сказал нам:

— Видите ли вы, что начертано на листках?

— Видим, — ответствовали.

— Все ли вы одно и то же видите?

— Одно и то же, — ответствовали.

— А что вы видите, братия? — спросил Философ.

— Видим нечто, чего доселе не видели: одно острое и ломаное, а другое мягкое и приглаженное.

— Если спрошу вас, какое из двух сладкое, а какое горькое, что ответите? — спросил Философ.

— Что первое сладкое, а второе горькое.

— Если спрошу вас, какое из двух доброе, а какое злое и опасное, что ответите? — упорно продолжал Философ.

Мы все тринадцать в один голос, даже и Стефан Лествичник, отвечали:

— Первое кажется не опасным, а второе есть зло.

— Хорошо, — сказал Философ. — А теперь представьте, что обе эти сущности есть на свете Божьем. И представьте, что нет у них имени и что нужно дать им имя. Я, братия, придумал два имени, два слова измыслил, которых нет ни в

одном языке, ни у какого рода человеческого. Одно слово — «малума», а другое — «такете». И поскольку этих слов нет ни в одном языке, ни у какого рода человеческого и поскольку нет у них значения, они просто ряд звуков, гроздь, колос из букв. Но если нужно этими двумя именами окрестить эти две сущности, какое имя какой сущности вы дадите?

Наступила мрачная тишина, мы все размышляли, глядя на творения перед собой. Внезапно логофет сказал:

— Это просто.

Все подняли головы, у всех на лицах была чудесная улыбка — улыбка, которая появляется, когда доказано то, что долго и неправедно оспаривалось.

— Разве не следует доброе, мягкое, округлое назвать словом «малума», а острое, ломаное, горькое словом «такете»?

И все мы двенадцать подтвердили это, подняв руки. Только отец Лествичник все еще глядел на начертанное, будто самую черную судьбину свою там увидел, будто в чаше Соломоновой, полной звезд, увидел пророчество о судьбине своей грозной. Наконец и он поднял голову, посмотрел на логофета и, увидев, что тот каламом на своем

листке написал под первой сущностью «малума», а под второй «такете», сказал:

— И я думаю так же, как логофет.

— Мы все думаем так, как логофет, — сказал Юлиан Грамматик.

И только я сказал:

— Мы все думаем, как Философ.

И в тот же миг как молнией меня ударил белый глаз Стефана Лествичника, до вчерашнего дня Буквоносца.

— А если так и если мы, как одна душа, так рассудили, разве не значит это, что звуки «т» и «к» больше подходят для обозначения острого, резаного, ломаного и горького, а «м» и «л» — для мягкого и округлого? Разве звуки первого слова, «м» и «л», не напоминают о материнской ласке, словах «мама» или «молоко», а «т» и «к» — о строгом отце? И разве не сказали мы тем самым: звуки способны передавать неосознанные значения?

Мы все потрясенно смотрели на Философа. Глаза Лествичника засветились злобой, и он сказал:

— В слове «логофет» есть звук «т»; значит ли это, что господин наш суров и плох?

Но Философ, будто только того и ждал, ответил:

— У тебя, отче Стефан, душа только к этому

миру готовится, будто вечно здесь пребывать собирается. Эта наука о значениях звуков относится лишь к сущностям, которых на *этом свете не существует,* а существуют они только на том свете. Потому и эти две сущности я начертал так, что они ни на что на этом свете не походят; логофет существует на этом, земном свете, и звуки, из которых состоят имена того, что существует и что мы видим, — не имеют значения. Но имеют значение на том свете, нам невидимом. Все существующее свидетельствует о невидимом, о Господе Боге, Коего мы не видим. А душа твоя, вместо того чтобы алкать знания видимого, пусть заглянет в невидимое. И пусть в Словах читает не то, что видимо, а то, что между строчками и буквами, не то, что все видят.

Потом он собрал тринадцать листков, поклонился, попросил разрешения уйти помолиться в свою келью и нас оставил.

11

С того дня отец Стефан Лествичник совершенно обезумел. Днями и ночами не выходил из скриптория и что-то записывал. Пытался опровергнуть чудесное поучение Философа, находя различнейшие слова, в которых «к» и «т» означали бы благоутробие.

— «Милость», — говорил он, содержит «т»; и «благость» содержит «т»; разве это не доказательство того, что учение Философа ошибочно?

Но отец Юлиан Грамматик всегда говорил ему:

— Но и милость и благость суть явления этого, а не надземного мира.

Так Лествичнику после трех месяцев самомучительства пришлось заключить, что слова ложны и не соответствуют сущностям, которые они означают в этом мире, и что все слова из неправильных звуков состоят.

— Слова не подобны сущностям, которые они обозначают, — говорил он. И тем самым, понятно, принял сторону Философа, ибо признал, что звуки точнее именуют сущности, но это именование не действует в этом несовершенном мире, этой юдоли суеты, слез и плача, а действует

только в вечном Царстве Небесном, в Чертогах Господних.

И внезапно он полностью изменился. Начал подольщаться к Философу, хотя тот и не любил лести, ибо сказано же: для праведника нет тяжелее бремени, чем искательная похвала. Лествичник не жалел добрых слов для Философа ни в скриптории, ни в совете мудрых, ни перед логофетом. Дня не проходило, чтобы он не осыпал Философа перед кем-нибудь словами умильными, хвалебными и восторженными. Мы с Юлианом Грамматиком с недоверием смотрели на это и подозревали, что за этими похвалами кроются притворность, гнев некий, яд телесный и духовный, черная желчь, которую он набрал в рот, чтобы она сочилась как мед. И в один день, когда логофет созвал совет по вопросу военному, он в конце, после того как совещание закончилось, попросил слова и сказал:

— Пресветлый и премудрый логофет, долгое время я уже думаю и размышляю, что навлечем мы на себя гнев Божий, если не поступим мудро: Бог, ниспослав нам Философа, подал нам знак, и чудеса, которые Филосов явил нам здесь, говорят, что на то Божья воля — принять его тринадцатым мудрецом в совет наш, чтобы с тобой всего нас

четырнадцать стало.

Все были потрясены предложением Лествичника, и тогда кто-то прошептал:

— Хвала и слава Богу, что вернул Стефана на путь истины и что опять он делами своими заслужил, чтобы имя его не обманывало, а подходило ему, ибо восходит он по ступеням лествицы подвига! Ибо хоть первое имя не подходит ему по делам его и хоть он и не Буквоносец, но уж Лествичник точно!

Логофет принял это с воодушевлением и радостью и потребовал от всех нас, чтобы мы высказались. Все сказали, что предложение Лествичника хорошее. И сказали так, ибо не иначе: Стефан Буквоносец: «Хорошо предложение мое». Пелазгий Асикрит: «Хорошо предложение Лествичника». Марк Постник: «Согласен с предложением». Маргарит Духовник: «Да, согласен». Филарет Херсонесец: «Богоугодно предложение Лествичника». Юлиан Грамматик: «Да, верно». Матфей Богослов: «Воистину так». Феофилакт Златоуст: «Благословенно предложение от Бога». Августин Блаженный: «Воистину благословенно». Кирилл Богомолец: «Лествичник хорошее предложение дал». Григорий Богумил: «Душа моя с вами». И я, Илларион Сказитель, или Мозаич-

ник: «Единодушен я с вами».

А логофет приказал тогда принести тринадцать книг и тринадцать каламов, чтобы письменно узаконилась воля Божья, высказанная устами Стефана Лествичника и устами всех нас, числом двенадцать, и логофета, тринадцатого. Принесли и ларец решений, в который каждый из нас должен был опустить лист, на котором предварительно нужно было каламом начертить крест в знак согласия с приемом. Все отвернулись, написали на листках то, что написали, и затем опустили в ларец решений.

Меня и Юлиана Грамматика определили открыть ларец и пересчитать голоса.

О Боже, о ангелы на небесах, и херувимы, и серафимы, и архангелы, сколь притворство ядовито, сколь уста лицемерны, сколь злоба неизмерима! Результат был таков: из двенадцати только два голоса получил Философ, только два креста, начертанные на листках, и одиннадцать черт, которые означали анафему предложению.

После пересчета мы вышли перед очи логофета и совета и сказали:

— Отказано, ибо только двое согласны, а одиннадцать — нет.

Логофет побледнел и схватился за сердце. И все,

кроме Лествичника, потупили взоры. Логофет не мог от удивления глотнуть воздуха, казалось, что его хватит удар. Ему пришлось выпить воды, прежде чем он смог прийти в себя.

О бедные и лицемерные! Сказано ведь: нет страшнее врага, чем лицемерный друг, а таких было одиннадцать среди нас тринадцати; и только двое были искренними друзьями Философа. И мне хотелось закричать, возмутиться, впервые в жизни восстать против зла, злобы, лицемерия, низости человеческой! Мне хотелось сказать: «Берегись, логофет, этих разбойников с большой дороги, ложных святых, и ты, Философ, берегись, ибо враг — это тот, кто завидует явно, а друг лицемерный — тот, кто завидует тайно, и честнее враг друга такого! Ибо уста одиннадцати из нас сказали одно, а руки написали другое. И как потом верить святым отцам, если руки их не говорят то же, что и уста, а уста не говорят то же, что и душа!»

(И я потом согрешил и против Философа стал, как асикрит его; но мой грех был не от злобы и суеты, а от боли и любви неразделенной, о бедные! Но об этом, когда время придет, ибо еще не пришло!)

Потом логофет овладел собой и начал словами

жесточайшими бросаться во всех нас, кроме Лествичника, сказал, что распустит совет, прогонит нас из царства, отберет у нас имена, сотрет нас в пыль и прах, привяжет к хвостам одиннадцати коней и те будут нас волочить, пока станет в конях жизни, наденет головы наши на колья и выставит на стенах города как пример стыда и лицемерия, неверности перед самими собой, как пример того, что есть уста, говорящие то, что не говорит душа, и это перед троном властителя, перед царским троном!

А я думал: как могу я доверять рукам отцов, которыми они составляют Слова? Как верить сочинениям их, даже если и правду они говорили бы? Не так ли они писали и доселе, а я им верил? Так ведь сказания мои, которые они считают вымыслом и над которыми смеются (особенно Лествичник), правдивее, чем их слова, ибо хотя бы честны, даже если они и говорят о событиях вымышленных, неслучившихся, и хотя бы написаны в полном согласии руки и души. О чем думали разбойники, когда голосовали? Что думал каждый из них, когда голос свой отдавал? Думал ли каждый из них, что все остальные утвердительно проголосуют, что его анафема Философу останется одна, в меньшинстве, неузнанная ло-

гофетом, что сокроется, что уста его говорят сладкоречивую ложь, а рука пишет злобную правду? Думал ли Постник, что Грамматик проголосует за Философа, и если так, то может выплеснуть он гнев свой и злобу свою, удовлетворить суетную страсть, голосуя против; думал ли Грамматик, что Маргарит Духовник проголосует «за» и потому допустимо ему быть против Философа по злобе своей, и думал ли каждый из них про другого, что тот скроет зависть его, и так одиннадцать раз? И получается, что все одиннадцать одинаково думали и все одиннадцать — одиннадцать раз ошиблись?

Логофет неистовствовал, на губах у него появилась пена, как у пса бешеного; а я смотрел на Лествичника, единственного, кого слова логофета пощадили и которого даже выставили примером души честной и сильной; он смотрел блаженно, притворно невинно, полный доблести ложной! И все думали, что логофет и Лествичник голосовали за Философа, что душу свою только эти двое ему отдали, милость благоутробную свою; все так думали, ибо Лествичник сам это предложение сделал, и грехом, хулой бесчестной было даже помыслить, что он не голосовал «за», или логофет не голосовал «за», но только я

знал, что Лествичник — пес поганый и лживый, с оком белым, ибо знал я, что и я голосовал за Философа, а моего голоса, третьего, не было; а не было его, потому что несчастный Лествичник голосовал против Философа, так же как и другие, и самым лицемерным из них оказался, ибо уста его высказали предложение, отринутое душой его, и потому что истиной было, что только я и логофет были настоящими друзьями Философа. И сидел он на месте почетном незаслуженно, на моем месте, мой голос он забрал, отнял у меня душу мою и своей провозгласил перед властью, перед троном; без стыда, без капли совести сидел и гордился. Я стал рабом Лествичника, он украл мой голос, а сам только притворно мирен был, а я знал, что в душе он бесится, ибо знал и он, что не голосовал утвердительно и что я — тот второй, кто, кроме логофета, отдал голос за Философа, и еще знал я, что ожидает меня ад серный в келье Лествичника, в чистилище души от всех доблестей: укоры жестокие, бой смертный.

Но логофет успокоился и решил сам: хрисовулом, царским указом против воли одиннадцати бедных и лицемерных из совета царского повелел рядом с ним сидеть и Философу и Лествичнику. Логофет спросил Лествичника:

— Могу ли я, о пречестный и благоутробный, спросить тебя: ты хочешь слева или справа от меня сидеть? Тебе отдаю первенство избрать себе место.

А тот притворно ответствовал:

— Пусть справа сидит мудрый Философ; пусть каждый займет подобающее ему место, а для меня, после наказания, время еще не подошло для почестей.

И тем самым убедил, пленил логофета своей ложной скромностью и смирением, мир наступил в нашем семействе, но предчувствия черные терзали мне душу, ибо никогда до того не видел такого: рука, правой бывшая, сама себя переместила на левую сторону тела. Ибо правая рука на левой стороне хуже, чем левая на своем месте: наоборот держит и наизнанку деяния учиняет.

12

А скоро случилось вот что: отец Стефан заболел некой странной болезнью и все Слова в семинарии и скриптории начал переписывать и сочинять наоборот! Писал справа налево и переворачивал слова: вместо «Бог» писал «Гоб» (а иногда писал и «Гроб», о бедные и блаженные!), вместо «сатана» писал «анатас» (а временами хулу бесчестную учинял и писал «Св. Анатас»!), вместо «Отец» — «Цето» (а иногда и дальше перевертывал: «Оцет», то есть «уксус»!). И душа его полна была уксусом едким — уксусом, которым угощали Спасителя на Кресте; а он угощал им Философа, но этого никто не видел, кроме меня; а когда к Лествичнику приближались, то дыхание его пахло кислым!

А когда сказали логофету о странной болезни Стефана Лествичника, тот думал три дня и три ночи и сказал:

— Слишком суров я был в решении отнять у него имя Буквоносца. И потому я дам ему случай отличиться: кто из них двоих разрешит загадку надписи из восточной комнаты, тот заслужит имя пресветлое — Буквоносец.

Тут начался мой конец, смерть моя духовная.

И вот как это было.

Когда логофет решил, о блаженные и нищие духом, с помощью благочестивого и мудрого Философа и на славу, честь и почести жадного Лествичника решить загадку таинственной и старинной надписи, он сначала позвал Философа и рассказал ему все, что нужно было знать, чтобы приступить к решению загадки. Ибо верил, что в миг, когда надпись прочтут, заклятие снимется и царство расцветет так, что не будет ему равных на лице земном.

Вы знаете кое-что, о бедные, ибо я вам уже рассказывал историю о чудной восточной комнате, но всего вы не знаете, ибо нет знания, в котором вместится весь Бог, ни письмо, ни Слово полностью нам Его не откроет. Тот, кто все знает, не человек, а Бог; и потому от неумеренной жажды дознаться до всего Лествичник потерял Бога, и я с ним, ибо не воспротивился ему; и потому ноги наши споткнулись на ступеньках, ведущих к Нему, ибо до прихода Философа мы думали, что знаем все, а это было не так, ибо блажен тот, кто знает, что он ничего не знает, и тот, кто, преуспев в познании, понимает, что чем более он познает, тем больше непознанного его окружает.

И вот еще что было известно наверняка, настолько верно, насколько верным может быть слово, моими устами сказанное, мною рожденное.

В восточной комнате нашего храма, как я уже рассказывал, имелась надпись, которая, как считалось, содержала пророчество о царстве на тысячу лет вперед во времени, и считалось также, что надпись открывает причину проклятия, наложенного на царство и достославнейшие колена его, и что именно из-за этого проклятия осаждали нас недуги и горести. Но я не сказал вам, что никто, даже и книги с историями древнейшими из библиотеки Юлиана Грамматика, не знал и не помнил, кто и когда устроил ту комнату так, как она была устроена; и вы увидите эту комнату и устройство ее потом, когда наступит для того время. Неизвестно было ни кто, ни когда, ни зачем принес Слово тайное, в книге записанное, и оставил там, и какой смысл таится в буквах, и какой смысл таится в этом деянии — принести Слово именно в наше царство, в нашу пречестную церковь, и именно в эту подземную комнату, повернутую к источнику света, и оставить посередине комнаты, и именно так, что ее сразу видно.

Говорили, но это были только слухи, которым ни в одной книге нельзя было найти ни достоверного подтверждения, ни заслуживающего доверия свидетельства, — так вот, говорили, что эта надпись имеет некоторое отношение к поэту и царю мудрому иудейскому Соломону, о котором даже Священное Писание говорит с уважением и почетом. Поэтому некоторые это Слово называли Книгой Соломоновой, но и это не имело верного подтверждения. Некоторые даже говорили, что надпись сделана рукой самого Соломона и что книгу эту нашел кто-то из предков наших царей и привез сюда из уважения к царю Соломону.

Другие же говорили, что, вероятнее всего, надпись не оригинальная, сделана она не рукой Соломона, что это просто копия некоторой надписи, сделанная неким славным предком нашим, искусным в науке переписывания. И тогда возникали и другие вопросы, например: если это просто список, копия с оригинала, насколько верна эта копия? Это хорошо сформулировал Юлиан Грамматик: если зажжешь огонь, сказал он, и если нарисуешь картину этого огня, а потом нарисуешь копию с картины того огня, то будет ли и если да, то насколько будет дважды скопированная картина похожа на огонь, горящий в очаге?

И разве краски огня постепенно не будут угасать и картина огня не будет и далее остывать, чем более будет умножаться число копий с копии?

Вот так говорили и пересказывали, но никто ничего не знал наверняка.

Третьи же, ласкатели пред царем и логофетом, люди, ползающие, как ящерицы, вокруг трона пресветлого, говорили, что Слово было привезено только потому, что в нем было написано следующее: если кому желателен мир на лице земли, он должен привезти это Слово и положить точно в центре земли, в центре всей Вселенной. Говорящие так утверждали, что центр мира — точка середины середин всего неба, звезд и созвездий, а точку эту еще славный и пречестный Архимед искал, но не нашел — находился именно в комнате восточной церкви нашей. И угодны были такие утверждения власти нашей, ибо уста ласкателей милозвучны, а уши властителей всегда к ним милослышащи, но правды в этом точно не было, скорее наоборот: все слабее умом становились поколения царские, все слабоумнее рождались наследники, и род угасал от колена к колену. Последнее такое событие произошло с дочерью логофета (о дочери царя и о странной смерти ее я вам все правдиво рассказал), которая родилась

совершенно слабоумной, и логофет только Буквоносцу доверил воспитание и обучение ее, а тот воспринял это как большую честь.

Другие же говорили, что надпись, сделанная письмом неведомым, рода и народа неизвестного, сама всего лишь список с другой надписи, которая первоначально была частью Слова, «Пуп земли» именуемого, и что ее там сделали и из того пупа земли сюда привезли, и что он — причина всех наших злосчастий. Никто при всем при том не знал, что такое этот «Пуп земли», существует ли он, и если существует, то где находится, но все утверждали, что проклятое Слово первоначально, перед появлением в проклятой комнате, было написано в пупе земли премудрым царем иудейским Соломоном, от которого пошли все народы, ныне живущие на лице земли. Некоторые верили, что пуп земли есть то же самое, что и центр мира, но не знали, где его искать. Кроме того, если пуп земли есть то же, что и центр, середина мира, то находится ли истинная середина в том пупе земли или в храме нашем церковном? Ибо лишь одна середина является истинной, и нет ничего в этом мире с двумя серединами, но лишь с единой.

О благочестивые, блаженные, слабые духом!

Что знаем мы о предках наших и как относимся к их делам? Да и сама надпись, сделанная неведомым письмом, даже если и хранила в себе тайну предков, и с тем их заповеди и пророчества, была мертвым Словом, ибо мы его не понимали. Это как иметь и не иметь, смотреть и не видеть, вспахать и не посеять. Или, мудрее и точнее сказать: надпись та была поле, вспаханное и засеянное нашими предками, а нами не сжатое и в запустении пребывающее. И сказал однажды Философ поучение чудесное и правдивое про событие поучительное об одном мудреце, звавшемся Хорополоном. Существовал когда-то, в начале времен и в самом начале поколений, род человеческий, живший на берегу огромной и плавной реки. И род тот возвысился и дал из себя царей великих и тем самым в вечности остался; из той земли вывел Моисей племя Израиля. Было у тех людей письмо картинное, и картинками представляли они события, и письмо это возвещало о славе их неизмеримой на лице земли: бесчисленны были войска царей их, и благодать изливалась на колена народа того. Но потом Господь повернулся к народу тому спиной и оставил его без призору небесного, ибо развратился народ тот и отвратился от письма своего, которое Бог дал им: картинки

письма своего писали все хуже и на скорую руку, переписывали и списки неподобные учиняли выгоды ради торговой, и буквы потеряли свой облик ради быстроты писания и уже не походили на то, что писалось ими. И видел Господь, что письмо, Им сотворенное, разрушается, и знал почему, ибо письмо разрушается, когда разрушаются души людей; ибо только о быстрой славе и богатствах, быстро наживаемых, думают, быстро мыслят, быстро и пишут и не находят сладости в составлении Слов и сочинений; ибо скорость есть признак ненасытности, а не умеренности! И только один человек из рода того остался в милости Божией, которого звали Хораполон, он так же, как и предки его, слова и буквы выписывал: медленно, мудро, с усладой духовной при писании. И сказал Господь ему: оставь всех остальных, бедных и ненасытных; Я истреблю их от лица земли, и не войдут они в сияние Мое, а другие роды благословлю и умножу; но тебе, за то, что ты не забыл учение прадедов твоих, дам долгие годы, чтобы дальше передал ты значение письма Моего, подаренного Мною, а ими презренного и осквернённого. Так изрек Господь, а Хораполон каждый знак записывал и переписывал стократ, ежедневно, чтобы помнили его

еще тысячу лет; а в письме том были тысячи знаков, чтобы всякую сущность можно было бы выразить и чтобы богатым казался свет и душа человеческая; и жил тот человек, Хораполон что звался, еще тысячи лет и умолял приходящие поколения выучивать значение каждого знака из письменности, данной Богом, науку им передавал, чтобы не унести ее с собой в могилу, ибо Союз имел с Богом, а те над ним издевались, били старца и его высмеивали, ибо писали письмом быстрым и непоучительным, легким в учении, но зато и малосозерцательным, со слабой силой выражения души человеческой, письмом, что как зерцало мутное, потемневшее и нечистое, не могущее отобразить и познать Бога в себе. И когда прошло много лет, Господь взял Хораполона к Себе, на родину небесную, а род продолжил свою богохульную жизнь и был полностью истреблен с лица земли. Но всю их науку, все знание, которое было стократ больше нашего, все сочинения их, истории и книги, мы теперь не понимаем, ибо никто не хотел выслушать старого Хораполона. Ибо не поняли. И смотрим мы теперь на эти картинки и ничего не понимаем; смотрим как в замочные скважины, от которых ключа нет, а Хораполон просил нас взять у него ключи; мы

смотрим и теперь сначала должны открыть то, что по Божьей милости не было закрыто, незапертую дверь должны отпереть. И ломаем мы задвижки и замки, от которых ключа у нас нет, и открываем, и находим значения ошибочные, и ничего не знаем! А если и знаем, некому подтвердить наше знание, поставить печать истинности Божьей на наши открытия. И находим лекарства, уже найденные; пишем законы праведные, уже написанные; ищем панацею от смерти, которую уже, может быть, нашли, но мы, по своей ненасытности и торопливости, не захотели ее взять.

Ибо основу всего, начало начал, источник света и жизни, пуп Вселенной — Бога — не узнали мы, потеряли, презрели.

Так и с надписью в комнате восточной.

Те же, кто верил, что Слово связано с царем иудейским Соломоном, разделились на две армии: некоторые эту надпись связывали с богоугодной, а некоторые — с развратной частью жизни пресветлого Соломона, ибо сказано о нем в Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Соломон царствовал в мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех сторон, дабы он построил дом во имя Его и приготовил святилище навеки. Как мудр был ты в юности твоей и, подобно реке,

полон разума! Душа твоя покрыла землю, и ты наполнил ее загадочными притчами; имя твое пронеслось до отдаленных островов, и ты был любим за мир твой; за песни и изречения, за притчи и изъяснения тебе удивлялись страны. Во имя Господа Бога, наименованного Богом Израиля, ты собрал золото, как медь, и умножил серебро, как свинец. Но ты наклонил чресла твои к женщинам и поработился им телом твоим; ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, — и они горько оплакивали твое безумие, — что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство. Но Господь не оставит Своей милости и не разрушит ни одного из дел Своих, не истребит потомков избранного Своего и не искоренит семени возлюбившего Его. И Он дал Иакову остаток, и Давиду — корень от него. И почил Соломон с отцами своими, и оставил по себе от семени своего безумие народу, скудного разумом Ровоама, который отвратил от себя народ, и Иеровоама, сына Наватова. И весьма умножились грехи их, так что они изгнаны были из земли своей; и посягали они на всякое зло, доколе не пришло на них мщение».

Вот что было известно, и все это как тайну вели-

чайшую, святейшую поведал логофет Философу. И сказал ему также, что страшится он только этого мщения в виде слабоумия, которое острым мечом висит над нашим родом, над царством нашим и обществом нашим, потому логофет и хотел знать, что кроется в таинственной надписи. И мучась, с трудом подбирая слова, в стыде и унижении рассказал логофет Философу о своей малоумной дочери, о своем стыде за грех, который не он совершил, но некий дальний предок его, а он за это расплачивается как за чужой долг, что в Божьей книге должников записан.

Те, кто видел эту надпись (а это были отец Грамматик и отец Мида, о котором я рассказывал ранее), уже были мертвы, а уста их были немы, запечатаны для этого мира. И не могли они рассказать, как выглядит и как устроена восточная комната. Но была соломинка надежды: пречестный отец Мида, оставивший список Слова, за малое время от выхода из комнаты до своего чудесного полночного превращения в буквы написал краткую и неясную записку о том, что видел. В этом сочинении его, которое мы называли «Предсмертные листки отца Миды» — всего-навсего два листочка, — говорилось, что текст Слова имеет странную форму и что вся

комната, в сущности, устроена весьма странно. Посреди комнаты ее неизвестный строитель или, может быть, тот, кто принес надпись, на полу изобразил огромного черного паука, сидящего точно посередине своей паутины; на спине же паука был белый крестик. Таким образом, искусный строитель комнаты начертал три вещи, одна в другой, три середины, находящиеся друг в друге: посередине комнаты была паучья сеть вроде солнца; посередине сети был паук, а посередине паука был крестик. Люди верили, что третья середина из трех середин означала центр света, то есть центр Вселенной, и говорили, что в этой комнате и находится идеальная середина всей Вселенной, точка, в которой пересекаются все миры Божьи, все стороны света.

По свидетельству отца Миды, записанному на его предсмертных листках, которые по приказанию логофета берегли как чистое золото в библиотеке семинарии, у отца Юлиана Грамматика, вместе с другими книгами, в этой точке, то есть в самом центре Вселенной, на золотой подставке, завершавшейся ровной золотой пластиной, лежала книга со странным текстом внутри нее. Выглядело это так, будто книга на спине несла огромного паука. Текст Слова, по по-

следнему свидетельству отца Миды, был написан в виде клубка, так что нельзя было определить ни где его начало, ни где его конец; откуда ни начни его переписывать, с разным расположением букв получались и разные слова. А в середине этих нескольких строчек, которые нам оставил несчастный Мида, в центре текста-клубка царила огромная красная буква, напоминающая нашу букву «Ж», нарисованная в виде паучихи с растопыренными лапами, тем и похожая на эту букву. Многие предполагали, что именно эта буква-женщина обозначает начало текста и что от нее следует начинать расшифровывать надпись. Эта буква-женщина выглядела, если верить рисунку в предсмертных листках Миды, вот так:



Еще одну мелочь важно сказать об этой таинственной книге-комнате. А именно: пред-

смертное слово отца Миды, его предсмертные листки, перед тем как ему самому стать письмом, в язык претвориться, говорят, что потолок комнаты с правой стороны от книги завершался сферическим куполом, малой апсидой; в этом сферическом куполе, как маленькое небо, находилось нечто самое чудесное во всем мире: овальная фреска, на которой был изображен нечистый. Он был страшен, волосат, рогат, с глазами, горящими серным огнем ада, как раскаленный текучий песок, с остроконечным хвостом и жутким оскалом рта. И поскольку фреска написана была на сферической поверхности, то, где ни встанешь в той комнате, отовсюду одинаково на тебя смотрели его маленькие глазки со зрачками как у кошачьего племени. В предсмертных листках отца Миды было написано, слово в слово: «Куда бы я ни встал, он смотрел на меня, ибо был на полукруглом куполе, будто на небе, откуда все видно; смотрел на меня и будто хотел сказать: не скроешься, не убежишь, не спасешься от меня. Я чувствовал себя муравьем под небосводом, над которым стоит некто и смотрит, а этот некто не Он, не Господь Бог Вседержитель».

Никто из умных, мудрых и ученых не знал, какой смысл в этой фреске и имеет ли она отно-

шение к книге и странному тексту в ней. Думали, что и фреска с дьяволом — дело рук славного переписчика ли, изографа ли, мозаичиста ли, неведомого, неизвестного, безымянного, и что он по только ему понятным причинам решил нарисовать эту картину соблазнительную справа от таинственной надписи, расположенной в центре света. Так вся комната походила на некое устройство, в котором у каждой части есть свои тайны, и все они связаны между собой неведомыми связями.

И вот это все, что было известно, ибо второй листок предсмертных сочинений отца Миды был почти не заполнен, а последнее предложение было не завершено. Оно гласило: «Когда этот дьявол смотрит на человека, у того кости трясутся, и хочется спрятаться от него в место невидимое, настолько невидимое, чтобы…» И на этом предсмертные листки обрываются, потому что сердце отца Миды перестало биться, упокоилась его храбрая душа, и его тело начало превращаться в Слово Божье. То самое, которое похоронили мы в гробу за храмом нашим.

Пока всё об этой комнате, о благоутробные, бедные и блаженные духом, ибо это все, что я сам знаю. А про ту, западную, ничего не было

известно, ибо двери ее не отворялись с той ночи, когда отец Мида, за несколько часов до своего упокоения, перенес туда список этой надписи и запер ее на замок.

И вот логофет рассказал все это Философу, передал, как выглядит странная и заколдованная комната, и сказал, что более всего ему хотелось бы, чтобы Философ или Лествичник сумели прочитать тайную надпись. И также сказал, что, страха зловещего ради, сперва хотел бы отворить западную комнату со списком, сделанным отцом Мидой, хранящимся там уже тридцать четыре лета Господних.

Философ согласился и затем попросил позвать и Лествичника. Тот явился, вошел в покои, и Философ сказал ему:

— Отец Лествичник, мне нужна помощь твоя, ибо умнее ты всех нас двенадцати и ученее. Мое желание — вместе с тобой растолковать Слово удивительное, если на то есть Божья воля.

А Лествичник, готовый ко всему, как животное к схватке, сразу промолвил:

— Я еще не отслужил наказание свое от логофета, и душа моя не готова к подвигам, коих достойны только смиренные и великие, как ты. Один священник и мудрец сказал: «Хочешь ли

воспользоваться первенством? Передай его тогда другому».

И было ясно, что рука, поданная Философом Лествичнику, останется пустой, а Лествичник ускользнул с притворством и двуличием: будто он великодушно уступает славу Философу и будто он ничего, кроме подвижничества, не знает и не хочет даже и слышать о славе земной, которой оделяют власть имущие. И добавил криводушно:

— Помощью моей можешь располагать, но слава и честь первопроходца пусть будет твоей; потому что ты первым войдешь в западную комнату. А если подвиг твой тебе не удастся, я войду и помогу тебе.

А я знал, что Лествичник одноглазый говорит такие угодные слова перед логофетом, чтобы одним ударом убить двух зайцев: первое, чтобы логофет смилостивился, увидев покорность и смирение души Лествичника, и благорасположен стал к нему в событиях наступающих, и второе, Лествичник хорошо знал, какое животное грозное в комнате находится, моей рукой туда впущенное через замочную скважину.

И затем логофет передал Философу ключ и сказал:

— Иди с Богом.

Философ же повернулся ко мне, посмотрел на меня, и я понял взгляд его; он хотел знать, с ним ли я, и я знал, что меня выберет он в спутники на подвиг, к которому он готовился. И так и вышло, ибо в следующую минуту он сказал:

— Нужен мне асикрит для этой работы и свидетель. Я хочу, чтобы им стал пречестный отец Илларион Сказитель.

Логофет наклонил голову в знак одобрения, и я знал, что легко вплестись в клубок с буквами, да нелегко выплестись. За одну руку держали меня одиннадцать святых разбойников с Лествичником во главе и хотели, чтобы я их был, а над другим плечом парил ангел — благая душа Философа, не пускающая меня идти по кривой дорожке, не дающая мне поставить на нее ногу.

13

Философ, Философ! Человек плотью, ангел душой!

Ты, Философ, как древо благородное, куст розовый, шипами обнесенный, двенадцатью шипами ядовитыми, ибо доблесть всегда окружена бедами и страданиями, ибо к ней пылают завистью и устранить и убить желают те, кто духом низок. Но я тебя обманул не по недостатку любви или от зависти, а, наоборот, от любви превеликой. От любви и из-за любви я предал тебя, Философ, ангел душой, человек телом, а вы, бедные и блаженные духом, о том узнаете, увидите, услышите, когда придет время, ибо время еще не пришло.

Философ был как древо, древо, которое чем дольше растет, тем глубже пускает корни свои в землю, ибо, вырастая в высоту, смиряется, вниз стремится, а смиряясь все ниже — возвышается. Без глубоких корней смирения человек никогда не застрахован от опасности падения. Тот, кто мал, тот велик, и смирение его — высота его; чем больше смиряется, тем выше возносится. Путь смирения и послушания низок, но ведет он к высокому Отечеству; и каждый желающий до него

дойти должен идти по этому пути, как Философ, слава ему вечная в вышних!

У меня корня не было, ибо Лествичник, крот полуслепой, одноглазый, корень мой вырвал, изъял из души моей все доблести ее. Но я умолчал кое о чем пред слухом вашим, о вы, грядущие, читающие и меня судящие, и теперь приспело время рассказать вам, о чем я умолчал, чтобы узнали вы, чтобы прозрели.

В тот день, когда сведали мы, что приедет Философ, отец Стефан Буквоносец, предощущая разоблачение лжи его, потребовал от меня совершить деяние бесчестное: украсть ключ у Юлиана Грамматика, войти к нему в библиотеку и забрать и принести Буквоносцу предсмертные листки отца его, Миды. Он хотел, чтобы я стал вором, грабителем, разбойником, потому что боялся, что Философа призвали к нам, чтобы растолковал он надпись из комнаты, и не хотел, чтобы листки отца его, от чьей плоти и от чьего семени он рожден был, попали в чужие руки и принесли другому славу. Лествичник считал, что сияющую славу отцов великих сыновья без заслуг должны наследовать, как наследуется золото и имущество. А это самое губительное для всех царств, ибо так царства пропадают, но не возвышаются.

Я спросил его, что мы потом будем делать, после того как листки украдем, и разве не боится он, что логофет и царь могут их у нас найти и головы нам отрубить. Но он стал мне проповедовать странное учение, науку о том, как скрывать и утаивать нечто украденное, и я увидел, что сердце его совсем в пороках погрязло, заросло, как нива, забытая от Господа и руки человеческой. Ибо если и отцово, значит, у отца украдено, раз сын крадет! Он сказал, что есть у него план, как сохранить листки в тайном месте — месте настолько тайном, настолько и видимом, ибо люди, совершающие такое, воры и убийцы, знают, что закон украденное всегда ищет подальше от глаз людских и от места, откуда его украли; потому лучше всего спрятать украденное на самом видном месте, ибо там никто не будет искать награбленное! И потом рассказал один случай: мол, давным-давно некоторый бедняк, укравший драгоценности из царских палат, скрыл их не в своей бедной хижине, а под царским троном. Когда стражники обыскали его бедную хижину, то ничего не нашли и освободили бедняка. Но когда он, желая заполучить свою добычу, захотел ее забрать, дабы продать, то залез ночью в покои царские и начал копать под царским престолом,

и тут стражники его и схватили. Бедняк, будучи и беден, и лукав бескрайне (ибо имя должно соответствовать тому, что оно означает), сказал: «Где нашли украденное, в моей хижине или под троном царским?» Стражники и судии ответствовали: «Под троном». — «Так почему же вы меня считаете вором?» Страже пришлось тогда его освободить, и судьи наказали его только за то, что он залез во дворец. Царь же оказался в трудном положении: как это объяснить, ведь бессмысленно красть у самого себя? Но у бедняка даже волос с головы не упал, потому что кража не состоялась.

Понятно, что я не сделал того, что от меня требовалось, потому что рассказ Буквоносца о том, как укрывать украденное, ужаснул сердце мое и душу мою замарал тем самым только, что я его слушал. И страх невиданный перед Буквоносцем объял душу мою, ибо видел я, что он способен ум свой недюжинный в сторону недобрую и низкую повернуть, способен и украсть, и убить ближнего своего. Я пошел к келье отца Юлиана Грамматика, постоял перед ней несколько минут и воротился в келью Буквоносца. Я лгал, но обмана в том не было, ибо лгал я по принуждению, под нажимом, чтобы спастись от него, от нечестивого: я сказал,

что Грамматик не спит, а учиняет бдение и молитву усердную перед Богом и что ключ украсть невозможно. И я думал, что теперь свободен, но от него не избавился, а получил от Буквоносца приказ завтра, когда библиотеку в семинарии отопрут, войти туда и, когда Грамматик выйдет, черной краской, черной, как злоба его, залить листки предсмертные отца Миды.

На все был готов пойти Лествичник, тогда еще Буквоносец ложный, только чтобы отцова слава не уплыла в чужие руки. Ибо душа такая, злобная и себялюбивая, у него была: если он не мог насладиться чем-то, то и другому не давал! Была бы у него власть над солнцем, непременно он загасил бы его в день, когда пришлось бы ему упокоиться, чтобы и остальных забрать с собою. Утопленником был Лествичник, и нужно ему было, чтобы с ним кто-нибудь утонул, с ним вместе на дно пошел. И потому я его трусил — и вдвойне боялся, потому что и другого не сделал; чернила выкинул за семинарией, а ему сказал, что все сделал, как он приказал. И дня только ждал, когда обман мой откроется, когда увидит он листки Миды, не погибшие, в семинарии и когда удары его посыплются на мою спину.

На крест на спине моей. О котором я расскажу

вам вскорости, когда время придет.

14

На следующий день Философ разбудил меня еще до рассвета, постучав в дверь моей кельи. Через несколько минут мы уже спускались в западную комнату в подземелье храма. Он впереди, со свечой в руке, путеводным огоньком, за которым я шел, больше ничего не видя. Меня душил страх, душа моя дрожала, ибо спуск сюда напоминал мне страшную историю с отцом Мидой, который превратился в язык, в письмена. И когда мы остановились перед тяжелой деревянной, окованной железными полосами дверью, Философ заметил, что я трушу, и сказал:

— У тебя колени подгибаются. Но не бойся; мы спускаемся и одновременно поднимаемся. В знании. Часто человеку кажется, что он сходит вниз, а на самом деле он восходит наверх, поднимается. Так и мы сейчас.

Я хотел сказать ему о животном грозном, о деле рук моих, Лествичника и торговца из Дамаска; хотел предупредить его, но голос не шел из уст моих. Ибо как я мог признаться в деле злом, когда оно по чужой воле, по принуждению, а не от сердца моего сделано было? И есть ли прощение

тому, кто зло творит только от мучительного страха, только потому, что за жизнь свою боится? Но: что стоит твоя жизнь, если нет в ней правды? Я стыдился признаться, исповедаться, ибо Философ показывал до сих пор безграничное ко мне доверие, и все, о чем я мог думать, было: «Боже, Вседержитель, Отец мой Небесный, спаси и сохрани Философа от твари грозной и ядовитой, как хранил Ты его у сарацин, когда их высокомудрые, но низкие душой и нищие духом грамматики дали ему выпить яду, а Ты, Господь, в утробе Философа превратил его в мед словесный, так что отрава не убила Философа, а утром следующего дня мед из уст его страшно поразил сарацин!»

И пока я молился за него, он осенил себя троекратно крестным знамением, помолился Богу перед дверьми и потом повернул ключ в заржавленном замке.

— И письмо — это замок, — сказал он. — Надо только найти истинный ключ. Как любовь, которая есть ключ к каждой душе. У самого плохого человека в душе есть замок, надо только найти к нему ключ.

Я хотел спросить его, как выглядит ключ к душе Стефана Лествичника, и есть ли вообще там замок, и не может ли быть так, что ключ к душе его,

тайна тайн, есть тот самый ключ гнева, который выпал у него из-под риз его, пока он бил меня, снедаемый пламенем суеты и самолюбия своего; и какая связь, хотел я спросить, между этим ключом и теми, в лавке торговца из Дамаска, и знает ли он про того торговца ядами ядовитейшими в облике пауков и ключами, но тот продолжал, будто прочитав мои мысли:

— Люди, в сущности, не злы; они просто слабы. Все зло происходит оттого, что душа человеческая без Бога слаба, не способна к сильным делам.

И с тем отпер замок и вошел. За ним вошел и я, идя за светом его. Глаза у меня вращались в орбитах, колени тряслись, сердце колотилось где-то в горле, и я ждал каждый момент, что грозный паук оплетет нас сетью своей, удушит нас, проглотит живьем, жалом ядовитым ударит в сердце, в душу.

Но ничего не произошло.

Внутри, на маленьком столике для переписывания, лежала старая книга, в которой пречестный отец Мида составил десять лет назад список тайного Слова из страшной комнаты пророчеств. Книга была открыта на середине, а ее страницы были исписаны мелкой вязью рукой пречестного отца Миды, человека, превратившегося в

Слово. Но над книгой с надписью растянулась огромная паутина, прикрепившаяся ко всем четырем углам комнаты, между всеми четырьмя сторонами света, всеми сторонами Вселенной, которые мы называем восток, запад, север и юг. Такой огромной паутины я в жизни не видел; она была тяжела, и в ней висело нечто, но в пламени свечи не было видно, что именно находилось в ее середине; но это нечто ясно угадывалось по натянутым нитям паутины, отходившим от всех четырех углов комнаты; паутина была двенадцатиугольной, почти круглой, стремилась к совершенству круга, ибо нет ничего совершеннее круга, чему доказательство — солнце, ибо нет у него углов и вечно оно в движении и свете; центр этого почти совершенного круга находился точно на середине книги, над двумя открытыми страницами, исписанными почерком отца Миды. И точно в центре паутины, в том месте, где в одной точке сходятся все нити, сидел огромный, величиной с две ладони, черный паук с широко расставленными лапами, с белым крестом на спине. Это была та самая грозная тварь, которую я купил на золотые нечестивца, которого я собственноручно поднес к замку и выпустил из ковчежца, его местопребывания. Когда Философ

осветил его, то отступил на шаг назад, схватил меня за руку и сказал:

— Осторожно, не дотронься до паутины, чтобы не попасть в нее.

И в тот миг у меня в голове зароились необычные мысли. Зачем он мне это сказал? Неужели и он подумал то же, о чем думал и я в часы бестелесные, бесчувственные, когда я размышлял о картине, проследовавшей меня годами, о пауке в своей паутине, что, может быть, мы просто мухи, попавшиеся в сеть Вселенной, и что вся Вселенная — это просто сеть, творение огромного раскаленного паука, которого мы зовем солнце, светило дневное? Мы пленники той сети, мухи, нас ест это черное солнце, когда захочет; говорю «черное», потому что солнце, хоть и светит, — черное, ибо из угля и потому что только уголь черный может так раскалиться лицом своим, что переменить темное на светлое. И мы шевелимся, трепыхаемся и все сильнее запутываемся в сети этой черной твари, дьявола многоногого, не понимая, что мы попали в нечто легко рвущееся, легче всего в мире, в ткань, которую можно распустить, ухватив за один конец, но конец истинный. Смерть ли тот конец, спасение вечное, освобождение от сетей? Но пока мы живем, не

знаем мы, какой конец истинный, ибо много их, ибо и кудель — нити, а ткань — те же нити, но с умом расположенные. И только если ухватишь за правильный конец, то сможешь размотать клубок и освободить пленника. И что тот конец — любовь ли или вера в Господа?

Как будто читая мои мысли, Философ посмотрел на меня и сказал:

— Если хочешь вникнуть в науку толкования письмен и записей тайных, следует изучить искусство паука и его паутину. Над каждой книгой, над каждым Словом висит такой (невидимый бедным и низким духом) ядовитый паук, расставивший сети свои; не каждый может дознаться до того, что глаголет Слово, ибо не всякого дух готов принять слово. Слова для душ, не подготовленных к их чтению, — отрава. Тот, кто не знает, что нужно сперва отстранить паука, висящего над Словом, тот, кто не умеет расплетать сеть над Словом, тот издалека читает и не понимает; только тот, кто отведет паутину от глаз своих, увидит Слово как видение, откровение и поймет его, ибо прочитает не только слова, но и звуки, краски их, сможет читать между слов и между строк. Только тот сумеет не запутаться в клубке письмен, только тот сумеет ухватиться за свой,

благодатный конец из кудели значений; только тот Христу подобен, ибо он увидит.

Я, потрясенный, стоял и смотрел на него, ибо и я так думал, но не осмеливался сказать это ни перед Лествичником, ни перед Грамматиком, ни перед Пелазгием Асикритом, дабы не быть осмеянным. Ибо я всегда говорил: слово одна рука написала, но многие глаза читают, и все эти глаза по-разному читают один и тот же рукой написанный клубок, сеть паучью, кудель густую, ибо по разным нитям пробираются читатели к середине, к началу начал текста, к тому, кто его сочинил и кто их проглотит, — к пауку ядовитому, солнцу, черно светящемуся, создателю и господину вселенной малой. Но каждая нить, которую ты выберешь, ведет к середине, к смерти читающего, а это означает, что не нужно бояться, что идешь не по истинному пути в клубке слов, ибо все нити начинаются и заканчиваются в середине, ибо блаженство смерти при чтении наступает, когда закрываешь обложку прочитанной книги, ибо здесь, в этой точке, в середине, глаза в глаза с раскаленным пауком, с источником Слова, и ты заканчиваешься, и ты свободен, как никогда, как будто ты мертв, как будто почил в Бозе.

Но кулак отца Стефана Буквоносца бил неми-

лосердно, если я читал другими глазами, не так, как он; однажды я спросил, что, может быть, Иов грешен тем, что безгрешен, и что, может быть, Бог в этой книге слишком суров, ибо, хоть Он и вернул ему имущество, и скот, и детей, которых забрал перед тем по наущению дьявола, — это все же не то самое имущество, не тот самый скот и, что, может быть, самое скорбное и для меня самое неприемлемое, — не те же самые дети, которых у него забрали; спросил и получил кулаком не по крестцу, а по носу. Буквоносец сказал, что такого в тексте нет, не написано, а я понял, что эта нить паутины для него незрима, и что видит он только самую толстую, и что не позволит он кому-то другому видеть то, к чему он сам слеп.

А Философ, будто читал мысли мои как открытую книгу, посмотрел на меня и продолжил:

— Ибо слова суть ткань, кудель густая, и кто не подготовленным, а горделивым и самоуверенным в них внедряется, выбирая только нити самые толстые, тропинки самые протоптанные и убитые стопами тех, кто прошел по ним раньше, тот кончину духовную находит в тексте. Пример тех, кто становится добычей охотника, научил меня, что опасно недооценивать мелочи, неприметные особенности слов. Не обязательно самые

толстые нити суть самые важные; за ними следуют только те, кто обуян слепотой и гордыней; в кудели той важнее тонкие нити, самые легкие и деликатные, ибо только тонкая кудель — это кудель, а грубая — это клубок веревок; в тонких, едва видимых нитях — суть слова, ибо только они свидетельствуют о невидимом. Величие — в малом, главное — в мелочах, важное — в неважном: нельзя забывать об этом! Ибо случается, что птица, попав в силки, запутывается в них одним коготком, но и тогда не помогают ей ни могучие крылья, ни то, что вся она, исключая этот коготок, находится вне сети, все равно она станет добычей птицелова. Так и мухи, когда попадают они в сеть к пауку.

Притча эта придала мне храбрости, укрепила колени, утвердила душу, ибо понял я, что не согрешил я мыслью и раньше и что, может быть, если бы узнал Философа до Лествичника, и моя душа была бы способна на подвиги сильные и крепкие и не была бы столь порочна и слаба. Я понял, что чтение — работа опасная, можно сказать подвиг, что это борьба с дьяволом-пауком, борьба не на живот, а на смерть, и что часто самый самоуверенный запутывается в словах, как муха в паутине. Паук неразрывной пуповиной связан

со своей сетью, творением своим великолепным, почти совершенным и округлым; а читатель, устремившись к слову-паутине, стремится к пупу малой паучьей вселенной. Но если читатель претворится в паука, если и он вплетет паутинки в сеть, если смешает нити создателя паутины, тогда паук из середины не сможет его сожрать, ибо заблудится, не сможет отличить своих нитей от чужих и умрет с голоду, а читатель останется в живых.

Философ тогда сказал:

— Начнем. Время пришло.

И потом мы, будто уговорившись, будто читая мысли друг друга, разошлись по углам комнаты, я в левый, а он в правый. Осторожно взялись за нити в двух углах, а потом потихоньку, без единого лишнего движения или дрожи в пальцах, которые могли бы обеспокоить это грозное волосатое создание в центре частой ткани, двинулись к двум другим углам и оба, один с левой, другой с правой стороны, отвели паутину от чудесной книги отца Миды. Мы отнесли нетронутую паутину к дверям, и тут Философ промолвил:

— Теперь по моему знаку мы потянем за нити, ты за две свои, я за две мои.

Потом он дал знак, и каждый потянул паутинки,

бывшие в его руках. А паутинки эти составляли крест, ибо каждая из них была устремлена к одной стороне света.

О, чудо небесное! В тот же миг вся вселенная паука свернулась, превратилась в клубок и заключила в себя, в свою утробу, тварь грозную и мохнатую. С помощью святого креста внутри создания своего пленен был создатель, а не муха, собравшаяся читать! Перед дверью остался только моток паутины, а в нем, как в утробе перед рождением, метался паук с крестом на спине. Поймали его и заключили в его собственную вселенную, в его собственную сеть, того, кто грозил отравить своим ядом, проглотить малых и ничтожных мух.

— Вот, — сказал Философ, — книга наконец-то по-настоящему открыта. Давай войдем и посмотрим, что за Слово в ней написано, сотворено.

И мы вошли внутрь. Философ держал свечу и вглядывался в странный, мелкий почерк отца Миды. Я вынул калам и книгу и подал ему. Он посмотрел на меня удивленно и спросил:

— Какая нужда нам теперь в каламе и книге?

Я ответил:

— Чтобы сделать список и отнести его наверх. Там его расшифруем.

Он посмотрел на меня с еще большим удивлением и сказал:

— Если ты действительно хочешь пойти по дороге толкования и чтения, тебе следует понять, что всякий список отходит от предыдущего, письмо разрушается, становится неверным, окрашенным взглядом, духом и рукой переписчика; после многих копий письмо не походит на самое себя, на первоисточник. Многие мелочи опущены, ибо каждый последующий переписчик думает, что нечто не важно или менее важно, и не переписывает верно; меняется и величина слова, его тепло, свет и цвет, место в строке, положение на странице. Каждый копиист вдыхает свой дух в каждый последующий список, дает ему свое тепло. Таким образом, это уже не то Слово, которое нужно прочитать и истолковать. Кроме того, каждую надпись надо читать на том месте, где она сделана. Важен даже и свет, при котором написано изначальное Слово; Слово, сочиненное под ночным светилом, не то же, если читать его под светом светила дневного. Другой свет его наполняет и придает другой цвет и смысл буквам и словам.

Но, благоутробные: крест, крест, который отстранил паука злобного, перед тем как открыть

книгу! Это нужно помнить! Ибо каждый грамотный читать умеет, но истинно читает только тот, кто в крест верит! А Философ, будто хотел, чтобы поучение его и далее было в душе моей, в сердце моем, в голове моей, продолжил преподавать мне свою чудную науку, продолжил наставлять меня в преображении моем, которое случилось в час единый в той комнате. Продолжил, ибо сказал:

— Знание схоже со светом, а сердечная вера схожа с теплом. Как в мире наружном для жизни растений нужны и свет и тепло, так и для чтения слов нужна, кроме знания, еще и вера. В свете знания нет тепла; тот, кто только знает, а в Бога не верует, чтение совершает, всего лишь скользя по буквам и словам, как свет лунный скользит по скалам, не проникая в их сердцевину и не согревая ее, потому что свет тот холоден, никогда он не сможет согреть души слов, оживить их и понять их истинно, сердцем, а не разумом.

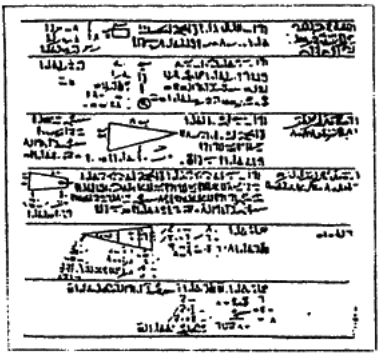
Я думал, что я сплю. Все, что я обдумывал годами, тайно, из-за страха перед Лествичником, теперь лилось из уст Философа, будто моя душа говорила его устами, как будто я говорил языком его. «Как будто у меня самого нет языка», — подумал я. Буквоносец раз и навсегда голос мой в рабство взял, язык и душу мои присвоил (когда

голосовали мы за прием Философа в совет царский); но тогда язык мой дурные дела творил в устах Буквоносца, а теперь с него тек мед вселенский! Вот что творит дружба с одиннадцатью, со мной с двенадцатью разбойниками: язык у тебя она забирает. И вот что творит дружба с одним только праведником: язык тебе она возвращает. Ибо легче предаться пороку, чем доблести, как легче заразить кого-нибудь болезнью, чем передать кому-нибудь свое здоровье, и дружба с одним праведным сильнее союза с двенадцатью неправедными. Наука без доброты, без того облака света, которое видел я в первый день вокруг Философа, есть наука дьявольская.

Так и вышло: когда Философ вгляделся в чудное сочинение на столе, он улыбнулся; впервые с тех пор, как я узнал его, улыбнулся и сказал:

— Сделай список с этого. Здесь нечему потеряться при копировании.

— Что это? — спросил я и посмотрел на чудное творение. Вот как оно выглядело, о блаженные, если вы мне верите, то есть если верите глазам моим, моими глазами виденному, моей рукой переписанному:



Он сказал:

— Это простой расчет. Для того чтобы это прочитать, вера не нужна, нужно только знание. И потому мы отдадим это отцу Лествичнику, ибо он помощь обещал. Неизвестно, что и как видел и прочитал отец Мида в проклятой комнате.

И потом, когда я сделал копию с написанного, он взял клубок с пойманным пауком, вернул его на книгу, запер дверь и пошел вверх по лестнице.

— Сейчас мы вверх поднимаемся, а, в сущности, падаем, — сказал он. — Логофет не будет доволен, когда поймет, что ключа к страшному пророчеству нет и в помине. Кто-то должен все же войти в восточную комнату и посмотреть, что

там написано.

Ноги у меня подкосились, потому что нас постигла неудача. Я поднимался по лестнице, держась его света. Но все еще не видел того облака вокруг его тела: я все еще был в немилости у Бога, хотя и был в милости у Философа. Я, асикрит его, как Лествичнику асикритом был ключ его.

15

Вечером в келье пречестного отца Кирилла Философа мы разглядывали надпись. Он сразу понял, что речь идет о расчете содержимого некоторого сосуда.

— В документе говорится о том, сколько жидкости может вместить некоторый сосуд. Но нигде нет ни одной буквы; мы не знаем, о каком сосуде здесь говорится. Ни о том, что это за жидкость. Ни о том, кто мерил глубину внутренности сосуда, ни зачем.

И пока он расхаживал взад-вперед по келье, я спросил:

— Может быть, отец Мида неправильно сделал список? Может ли быть, что он не снял пелену с глаз своих?

Философ, углубленный в свои мысли, посмотрел на меня, как будто глядя сквозь меня, и сказал:

— Возможно. Но возможно также, что он прочитал что-то маловажное в той надписи и это и переписал, ибо ему это казалось важным. Книги суть бездны; когда их читаешь, каждый читает на той глубине или высоте, до которой поднялся

его дух. Может быть, отец Мида прочитал только то, что его дух увидел; ибо если читал без любви, а только со знанием, из букв получились цифры. Может быть, только это он увидел; может быть, смотрел неправильно; может быть, что копию сделал буквами, но, когда ее перенесли в другую комнату, под другой свет, переместили с востока на запад, под свет иной, чем под которым она была рождена, буквы преобразились в цифры. — Потом помолчал и добавил: — А может быть, вовсе не отец Мида написал это; может быть, это чужая рука.

Эта мысль меня очень взволновала. О чем думал тогда Философ? Разве такое возможно: некое сочинение, одной рукой написанное, приписать незаслуженно другому? Нет греха больше, чем украсть чужое слово, чужими буквами украсить себя перед светом. Дух чужой тем самым украсть, душу чужую, Дух Святой, вложенный в чужое тело. Тогда две души у тебя будут, а тело одно: видел я таких людей, страдающих несчастьем великим, ибо две души тогда владеют телом, говорят двумя голосами, сами себя не понимают, в одно время говорят одним голосом, а в другое — другим. Видел я таких людей и знал, что запирают их в одиночные камеры в монастырях, тюрьмах и кре-

постях и не выпускают на свободу, ибо человека могут смерти предать, а когда предстанут перед судьей, то скажут: «Не я убил, а другой во мне, его и судите». И поскольку ни один судья не может осудить одну душу в теле, в котором две души живут, потому что тогда вторая душа пострадает безвинно, их освободили от смертной казни и заключили в темницы. И меня будто молнией ударило, когда я подумал, что и Лествичник на такого притворного человека похож; то сладкого, то ядовитого, как пчела: на устах мед, а в горле жало.

И пока я так размышлял, в келью Философа, не постучав, вошел логофет. Он был бледен, весь в поту, глаза провалились. И сказал:

— Моя дочь умирает. Умирает грозной, ужасной смертью: тело ее все покрылось роговыми бляшками, как у змеи холодной, как у ящерицы, а теперь ноги и руки у нее становятся как у огромного мохнатого паука! Это началось утром, как только вы вошли в комнату! Не хочу боле, чтобы кто-нибудь даже помыслил о том, чтобы спуститься туда, в эти проклятые комнаты. Тому, кто подумает о том, голову сниму с плеч!

Философ в тот же миг пал перед логофетом на колени и такие слова изрек:

— Пречестный! Со словами и сочинениями так: как только их переписываешь, то губишь им душу и другую душу они получают. Возьми и зажги огонь и позови десять изографов его срисовать: разве не разным цветом они нарисуют пламя, не разную форму ему дадут и разную величину? А все тебя будут убеждать, что это тот же самый огонь. Но ведь и правы они: огонь первоначальный каждый последующий миг по-другому выглядит! А подумай теперь, что будет, если другие десять изографов сделают копии изображений огня первых десяти. А потом подумай, что будет, если третьи десять изографов сделают копии копий изображений огня. Можешь представить себе, что случится?

Логофет заколебался, но у Философа не было сладких уст Лествичника, чтобы его переубедить, заставить принять окончательное решение.

— А если это так, — вмешался и я, — то с каждым новым словом, вместо того чтобы приблизиться, мы удаляемся от истины.

Наступила устрашающая тишина, ибо и логофет и Философ поняли, что я хочу сказать. То, чего не сказал я, прошептал Философ:

— С каждой копией мы удаляемся от Бога. От начала начал, от первопричины, от всего Им

созданного, видимого и невидимого.

Философ все стоял перед ним на коленях и говорил:

— Умоляю тебя, заклинаю, стопы твои целую: допусти меня в зловещую комнату, и я увижу: прочитаю, растолкую написанное, и мир воцарится в тебе и в царстве твоем.

На логофета было страшно глядеть. Мудрые слова Философа представляли для него искушение великое, но он боялся. Знал, что, по преданию, двери той комнаты можно было открыть лишь трижды. Дважды их уже отворяли; оставалось открыть их один, последний раз. А потом, если Слово не будет прочитано правильно, страшный мор и глад нападет на землю, на царство наше: дракон с неба семь дней и семь ночей жечь будет своим огненным дыханием, и земля сотрясется, реки исполнятся кровью, скот падет, а живые позавидуют мертвым.

— Прошу тебя, дай мне ключ от той комнаты, — сказал Философ совершенно спокойно, глядя на логофета своими теплыми, ясными глазами.

— Нет, — отвечал логофет, — не могу. Не смею. — И, сказав так, он вышел.

Философ встал, перекрестился и промолвил:

— Если так, завтра я ухожу.

— Куда? — спросил я пораженно.

— Искать пуп земли, — ответил он. — Нужен первоисточник: все остальное, всякая копия — обман.

И я знал, что лишь теперь начинаются волнения в моей жизни и в жизни Лествичника.

И как это обычно бывает, так и сейчас было: мы вдали искали то, что было перед нами, ибо, в отличие от Лествичника, Философ не знал, как скрывать украденное!

16

Следующим утром Философ попросил у логофета дать вьючных животных в дорогу, чтобы перевезти самое необходимое, одного караванщика и одного помощника, и мы, всего четыре души, двинулись в долгий путь. Я спросил Философа, куда мы идем и где находится пуп земли, а он сказал: в середине земли, ибо пупок находится посередине тела. Когда мы отошли на целый день пути, он спросил меня:

— Как ты думаешь, что это такое — пуп земли?

Я не нашелся, что ему ответить.

— Есть на лице земли одна гора, которая зовется Пуп. Пойдем поищем ее, — сказал он.

Тридцать три дня шли мы к этой горе, в чудесной и неведомой стране, пока не добрались до города, именуемого Керманшах. По пути мы видели удивительные страны и удивительные народы, людей на верблюдах; Философ с ними разговаривал на языках, доселе неслыханных, звук которых не достигал еще уха человеческого. И все нам предлагали дары, кров и пищу, а Философ чаще всего от них отказывался, принимая только самое необходимое: хлеб и воду. И вот

когда мы добрались, когда осилили дорогу и она превратилась в мельчайшую пыль под ногами нашими и исчезла, то перед нами расстелилась равнина, вся усыпанная мелким песком, называемая пустыней, и посреди той равнины мы увидели пуп земли: гору голую, безлесную, высотой до неба, как пупок, поднимающийся из чаши живота красивой белокожей женщины.

— Вот Пуп Земли, — сказал Философ, сидевший на верблюде, подаренном нам одним многодетным и благородным человеком из одного тамошнего рода. Он приложил руку к глазам, сиявшим радостью.

Над Пупом Земли опускалась ночь, солнце умирало за Пупом, и Философ приказал распрячь караван и приготовиться к ночлегу.

На следующий день еще до рассвета мы отправились в дальнейший путь. По причинам, известным только Философу, нам нужно было обойти Пуп Земли вокруг. Никто из нас не знал, чего на самом деле искал Философ, ибо он был молчалив, неразговорчив и упорен: что замыслит, то осуществит. Когда мы обогнули Пуп Земли, а это заняло весь день почти до заката, на самом краю Пупа Земли мы увидели чудо Божье, картину невиданную.

На одной скале высотой в тысячу локтей, которая на местном наречии зовется Бехистун, была на камне огромными буквами высечена надпись, которую никто не мог прочесть. Даже люди из рода тамошнего не знали, что она значит, и неохотно говорили о ней. Они верили, что знаки надписи, выбитой на головокружительной высоте, обладают волшебной силой и что тот, кто поймет их значение, станет собственником неисчислимых богатств. Надпись эту некоторые называли каменной книгой, а некоторые — Кадж-наме, что на их языке означало «Книга богатств». Считалось, что эта надпись на скале всегда была там, на древнем пути, а Философ рассказывал, что со времен незапамятных здесь проходили караваны, груженные разными товарами, армии, над которыми развевались страшные знамена, скакали царские курьеры, разносившие по всем краям тогдашней славной державы указы ее царя, чье имя я узнал много позже, о блаженные, ибо тогда еще не пришло время. Но я запомнил, что именно под этой скалой царь того сильного, пышного царства земного поразил другого царя, а потом заповедал вырезать на скале надпись, которая вечно бы возвещала всему миру о его мудрости и о его силе безмерной.

А цари бились за пуп земли, равно как и за пупок какой-то женщины, ставшей причиной страшной войны.

Мы стояли под надписью, бедные, маленькие, ничтожные, и смотрели на чудесные и непонятные знаки над нами, и я думал в сердце своем, что буквы и слова больше человека, ибо каждый знак на скале был как десяток тел человеческих.

— Как же это сделали? — спросил я Философа.

Философ улыбнулся, спокойно, загадочно. Потом посмотрел на надпись на скале и сказал:

— Письмо — сладко, но смертоносно, как и мед, и вино, и другие неядовитые сладости, если принимать их в неумеренных количествах. Сколько душ погибло, творя это невероятное дело, этот подвиг, при написании этих письмен неумеренных, сколько искусных камнерезов и умелых каллиграфов трудились с утра до вечера, чтобы вырезать надпись на горе, Пуп именуемой? Но известно и сказано: сочиняющий за свое сочинение всегда платит жизнью, — сказал Философ. — Письмо на камне — самое трудное, но не менее трудно и письмо в книге, — сказал. — А именно это ждет нас сегодня, — добавил он, и мы все поняли, что нас ожидает работа трудная и опасная для жизни: надо было сделать список чу-

десной надписи, копию с нее в книге! Ибо сказал Философ, а от сказанного не убежишь: «Я не могу чуждые буквы прочитать и распознать на скале; сперва нужно их на папирус или на пергамен нанести, чтобы вернуть им тепло, камнем у них отнятое, высосанное, а потом по теплоте букв я определю свет их, цвет их и, наконец, значение их».

О блаженные, уста мои отказываются рассказывать, рука писать, что ждало нас потом. Через какие муки и искушения прошли мы за следующие три месяца, которые длился весь подвиг Философа. Он заметил тесную расселину на скале и, цепляясь за неровности, поднялся на гору и начал переписывать надпись с нижних строк. И сначала скопировал подпись, и сразу ее распознал, и расшифровал, и сказал, что сочинитель того письма — некий царь персидский по имени Дарий. И потом полез вверх по скале, по тексту, по надписи, ибо понимание сочинения есть подъем в гору, покорение вершины высокой, высочайшей. Целые дни Философ проводил на скале, на Пупе Земли, переписывая чудесное сочинение каламом в книгу; несколько раз солнце ударяло ему в голову, и он терял равновесие, качался, и все думали, что он упадет и разобьется, но он не раз-

решал никому другому делать копию странной надписи. Дважды его трясла ночная лихорадка, но с первыми лучами солнца мы опять находили его на говорящей скале. Когда нижняя часть надписи была переписана, Философу нужно было подняться к верхним, первым строкам.

— Начало каждого сочинения — труднее всего, — сказал он мне ночью, перед тем как забраться вверх, на самую вершину, к тексту, перед тем как он, человек-Слово, исчез между неведомыми буквами, в лесу каменных знаков. — Обычно платят жизнью. Первое предложение всякого сочинения — самое опасное, а первое слово — самое ядовитое, — говорил он и добавлял: — Если со мной что-нибудь случится, если погибну, карабкаясь к слову, ты заменишь меня!

И я уже не знал, понимаю ли я его чудесную науку о письмах, словах и сочинениях. Он твердил, что первая строка любого сочинения содержит в себе все, о чем говорится в нем, как зерно пшеничное содержит в себе весь колос целиком, с зернами многочисленными, всю ниву. И потому, говорил он, первая строка — самая опасная и конец жизни в ней: целый свет в ней содержится и населен он теплом непомерным. Если ты грамматик или сказитель, если ты писатель и

если ты точно напишешь первое предложение, тогда ты поступил как искусный охотник, который хорошо прицелился, прежде чем спустить натянутую тетиву и направить стрелу в цель; если нет — в сочинении воцарится беспорядок и все после этого рожденные слова, звуки и буквы вотще написаны будут. Первая строчка, если ее правильно сочинить, сама тебе подскажет, чему нужно после нее родиться, как зерно само по себе, Святым Духом пробуждается точно во время обрезки лозы весной и никогда не опаздывает, хоть солнца и не видит, ибо под землей находится, а под землю свет солнечный не проникает. Но проникает тепло. И зерно сочинения, первая строчка, как и зерно пшеничное, помнит о некой минувшей весне, о прошлом неведомом времени, когда то же самое происходило и из единого многим стало, размножилось, расширило род свой; так и каждая первая строчка, слово первое в первой строчке помнит о предыдущих сочинениях, в которых оно было употреблено, и так же поступает, как и тогда, и порождает такие же себе подобные слова, звуки и строчки. Так говорил Философ, слава ему в вышних, ибо говорил мудро и разумно, но некому было его слушать, понять и благословить, кроме меня, и то частично.

И поскольку первые строки были неприступны, Философ нашел лестницу — лестницу, которая вела прямо в небо, — и поставил ее на верхнюю часть Пупа Земли. Но нечем было ее подпереть, и она стояла прямо, сама по себе, о блаженные и бедные, мудрые и безумные! Он три дня молился Богу в пещере под самым Пупом Земли, и когда на четвертый день он поднялся по лестнице, она стояла будто вкопанная в камень, в скалу Бехистун! Чудо Божье случилось, о благоутробные и нищие духом, диво невиданное! Когда мы смотрели издалека, казалось, что лестница не в скалу воткнута, а в небо! Я представил себе, какое ядовитое лицо сделал бы Лествичник, если увидел бы эту картину, это указание Божье: он, Философ, маленький, почти незаметный, забравшийся на лестницу, стоящую прямо в воздухе, не опирающуюся ни на что, ибо он не только обладает знанием, но и в вере в Бога укреплен! Вечером я спросил его, как возможно такое чудо, а он ответил:

— Никакого чуда в том нет. Это действительность. Святой Петр как по тверди ступал по бездне морской, пока смотрел на единственного Иисуса Христа, но начал тонуть, едва начал размышлять о бурном ветре и о волнах, поднимавшихся все

выше, потому что начал слабеть в вере своей в Богочеловека.

И так, строка за строкой, поднимался Философ вверх по тексту, шел вперед, будто за буквы держась, по пустой горе, Пуп Земли называемой, а я думал, что и он превратится в букву на камне, так сильно я за него боялся, как бы с ним чего не случилось.

— Копирование очень опасно. Выглядит легким занятием, но это не так, — говорил он, сойдя со скалы. — Легче всего переписать подпись, — добавлял он, — ибо она первая снизу, ниже всего, как срам на теле человеческом, а труднее всего — первое слово, настоящую голову текста, которое как крест на храме, ибо выше всего стоит и показывает, кто сочинитель слова, вседержитель его. Ибо первым словом, головой, обычно бывает «я», а под каждым «я» скрывается другой человек, другая душа. И переписчик не точное подобие сочинителя, потому «я» в копии уже не то «я», сочинившее слово перворожденное.

Много чему учил Философ в те месяцы и дни, но моя душа слабая мало что из этого запомнила и мало что может пересказать, но тяжелейшее наступило, когда пришлось переписывать первую строку. Лестница уже не доходила до той строки,

и казалось, что на этот раз нет выхода, никакой лазейки. Самое начало находилось над бездонным ущельем.

— Как я и ожидал! — прокричал с верхней ступеньки лестницы Философ. — Как я и ожидал: начало сочинения — это всепоглощающая бездна, и нужно ее преодолеть, мост через нее перекинуть!

И он поставил лестницу над расселиной, над бездной, как мост, и перешел ее. Потом вбил колышек над первой строкой, над бездной, привязал к колышку веревку и попросил нас сплести корзину, в которой мог бы поместиться человек. Потом три дня молился Богу в своей пещере, а на четвертый день изверглась большая струя воды из скалы, из Пупа Земли: вода холодная, родниковая, источник студеный посреди жаркой пустыни! Философ собирал воду, вытекавшую из скалы, смешивал с землей и потом из грязи лепил плитки мягкие; затем поднимался в корзине, висевшей над бездной, и, стоя в корзине, привстав на цыпочки, вытягивая пальцы из последних сил, прилеплял земляные плитки к первой строчке и получал оттиск сочинения.

— Приходится следовать за оттиском слова, следом его в камне, ибо другого способа нет, ибо

и охотник на оленя идет за ним по оттискам ног его, по следам его, — говорил Философ, когда мы удивлялись, как ему пришло на ум делать копию таким способом, там, куда рука человеческая и калам не достигают.

На третий день осталось сделать оттиск только с первого слова, про которое Философ предположил, что это «я», а ключом к этому «я» была подпись в конце текста, то, что первым было скопировано и что, по разумению Философа, значило «Дарий». И только когда Философ собрался прилепить плитку к первому слову, дотянуться до него, до последнего, а в тексте первого слова — слова «я», чтобы наконец закончить копирование, посреди ясного неба в вершину горы ударила молния, и сильный блеск помрачил нам всем зрение; и потом земля страшно затряслась и тряслась долго; поднялась ужасная туча пыли и совсем затмила небо, и солнце на нем стало точкой черной, как уголек, как черный рассвиревший паук, которому кто-то решил разорвать его паутину, убрать ее, похитить ее, украсть. И ходила ходуном земля под нашими ногами, и мы все полегли и попадали на землю, а Философ совсем исчез в облаке пыли, а я подумал: «Упокой, Господи, душу его, ибо почил он в Господе,

страшный конец нашел при совершении копии надписи проклятой». А потом все стихло, и только крики слышались из близлежащих сел и городов вокруг Пупа Земли, вопли до небес, на все четыре стороны света.

А когда мы поднялись с земли и облако разошлось, мы увидели: лестница отца Кирилла стояла незыблемо на скале Бехистун, вонзаясь в небо; и корзина его также, и он в ней, целехонький! Весь он был в белой пыли, но был счастлив, ибо в руке держал земляную плитку с оттиском последнего слова, если считать с конца, и первого, если считать с начала текста! Чудом Божьим спасся Философ, и он слез к нам, которые на земле были, и сказал:

— Все скопировано верно, и копия хороша.

Только тогда он лег и заснул и в первый раз спал мирно с той минуты, как отправились мы в тот чудесный поход, по дороге подвига. Камень переселился в книгу, буквы обрели тепло и цвет под пальцами Философа, и только усталость помешала ему в тот же вечер открыть замок на чуждой надписи.

А произошло это в дороге. На третью ночь, когда наш маленький караван спал, Философ разбудил меня и сказал:

— Я расшифровал надпись и увидел, что было за буквами.

Он стоял надо мной с книгой и каламом в руках, и в книге нашими буквами была записана тайна, высеченная на Пупе Земли!

17

Никогда, о возлюбленные, не рассказывал я целиком о моем кресте, который я ношу от рождения, как слепец, носящий посох свой по дорогам знакомым и незнакомым. Но крест мой не на челе, а на спине. У всех крест на челе, а у меня на спине. И потому, возлюбленные, не прежде, но сейчас расскажу я вам об этом. Время еще не пришло говорить о всякой мелочи тогда, когда я рассказывал вам о чудесном происшествии с пауком в западной комнате, но тогда впервые заметил я, что и у паука грозного был крест на спине, и ужаснулся, и колени мои задрожали: какая связь между мной и той тварью грозной, карой вселенской, глотающей мух, попадающих в его сеть, солнцем ложным, солнцем холодным, с лучами, рожденными из слюны, из ледяной его утробы?!

Есть и еще кое-что, но об этом еще не время рассказывать. Но время придет, ибо это никогда не поздно сделать, потому что оно само себя ждет, а тот, кто сам себя ждет, никогда не заставляет себя долго ждать и приходит всегда вовремя, как Господь Бог, Который придет, чтобы взвесить

дела наши на весах небесных, когда будет пора.

А мы слишком поздно вернулись в Константинополь, я и Философ, слишком поздно возвратились после нашего подвига, ибо время нас обогнало. Обогнало нас, потому что появился некто, бывший быстрее нас, ибо нечистый совершенствуется в скорости, умножается в ней, а не в свете и, умножаясь в скорости, настигает тебя везде и во всякое время, чтобы тебе навредить. И тот некто, успевший раньше нас (а успел раньше нас потому, что мы были где-то, а он везде и оттого — нигде), был Лествичник.

Лествичник стоял с видом спесивым и надменным по правую руку от логофета, а мы вошли пыльные, завшивленные, смердящие после долгого пути, после подвига нашего. Лествичник в новых ризах, а мы в рубище, как нищие. Логофет привстал, осмотрел нас со всех сторон и затем сказал:

— Господи! Где вы были все это время?

Философ перекрестился, поклонился логофету и отвечал:

— Мы нашли Пуп Земли, и мы думаем, что он таит ту же надпись, что и в комнате, открыть которую у тебя нет сил.

— И?.. Что вы нашли там? — спросил Стефан

Лествичник, все тело и душа которого источали миазмы гордыни, Лествичник, суетность души которого была выше скал и гор.

— Надпись, — ответил Философ. — Я думаю, это та же надпись, что и хранящаяся в тайной комнате, — сказал он. — Мы сделали список, копию с той надписи и так решили, — добавил Философ. (Мне было непонятно, почему он все время говорит «мы», хотя подвиг совершил один Философ, да прославится он в вышних, и меня ставил рядом с собой, не забывал меня, как Господь, Который сказал: «И куда пойду Я, туда и слуга Мой со Мной пойдет».)

— Зря вы мучились, — сказал логофет. — Надпись уже прочли.

Я потрясенно смотрел то на логофета, то на Лествичника, чье лицо сияло важностью и самодовольством. Это безобразное существо возвышалось над нами, его белый глаз сиял, а на лице появилась ухмылка.

— Как же это вам удалось? — смиренно и кротко спросил Философ, в то время как во мне кровь просто кипела от возбуждения.

— А вот так, — ответил Лествичник.

И потом рассказал о том, что произошло, и трижды повторил, что все так и было, и понял я, что

знак неуверенности это его повторение: в первую ночь после нашего отъезда, словно дьявол бросил престол свой и унес в мешке все свои злодеяния, Лествичнику было видение верное: отец его, Мида, пришел к нему во сне и потребовал, чтобы его вырыли из могилы. И так он сказал, если верить Лествичнику: «Приди, сын мой *единственный* (на это он особенно напирал, но почему, я тогда не понял), избавься от дурной славы, которой тебя покрыли по наущению Философа, и даже имя у тебя отняли: приди и посмотри, что есть в моей могиле!» И на следующий день сошел в могилу к отцу своему и откопал гроб, совершенно не тронутый тлением, и возложил на него руки, и волосы поднялись у него дыбом от страха и ужаса, ибо из гроба доносился странный звук, будто кости его отца гремят и наигрывают чудесную мелодию. И голос ему был, говорящий: «Не бойся, ибо истина здесь, в гробу, а истины не праведник, а только лгун должен бояться».

И он открыл гроб и увидел: кости отца его, буквы твердые, были на своем месте, а мягких не было, ибо плоть тела первой распадается и у умершего человека, и у умершего слова. И кости выложились вот таким порядком, так выглядевшим, а глас сказал ему: спиши, что говорят кости

отца твоего:

Жн м, чш м, пррцй, пк свтт звзд. Нп Гспд, првнц, бдрствщг нчь. Чтб вкшл Гспдъ, сздн з нг дрв. Пй пйс всльм взглс: лллй. Вт — Кнзь, вдт всь снм слв г цръ псрд нх. Пдпсь: Цръ Слмн.

И как только он это все переписал, кости вернулись назад в гроб, и он навсегда закрылся с такой силой, что никто больше не сможет его открыть, распечатать. А голос загадочно сказал ему: «Заполни пространство между костями отца твоего плотью, обнови полностью тело Слова, и навсегда ты пребудешь во славе пред царем и логофетом, первым между первыми будешь в царстве над всеми царствами земными».

И Лествичник так и сделал: зная, что твердые буквы — кость Слова, а мягкие — плоть его, он, пока Философ мучился на скале, которая зовется Пуп Земли, прикованный, как Прометей у язычников, несколько месяцев днями и ночами просидел в скриптории, располагая мягкие буквы между твердыми, и расшифровал надпись, то есть получил решение. И случилось это всего за день до нашего возвращения.

Пока Лествичник рассказывал, я смотрел на лицо логофета: тот сиял от гордости и от уважения к Лествичнику — уважения, которое почти

походило на страх, ибо Лествичник отлично воспользовался своим деянием, вернее сказать, воспользовался всеми недостатками логофета, ибо прекрасно их знал. Логофет был суеверен, и душа у него в пятки уходила при всяком упоминании о пророчествах, видениях или могилах; он боялся мертвых больше, чем живых, как и всякий при власти, ибо совесть у властителя никогда не бывает чиста, ибо, для того чтобы быть властителем, много могил надо наполнить костями и плотью человеческой, чтобы избавиться от себе подобных, ибо, если он от них не избавится, они избавятся от него и на его трон воссядут.

И потом, по знаку логофета, чье лицо сияло от счастья, ибо печать проклятия была уже снята с царства, Лествичник прочитал то, что получилось после того, как он расшифровал надпись. С каким самодовольством вынул он пергамен из-под ризы своей, и как он разворачивал свиток, и как читал, в какой позе, будто вестник небесный! И прочитал:

Я, царь Соломон, говорю:

Жена моя, чаша моя, прорицай, пока светит звезда. Напои Господа, первенца, бодрствующего ночью. Чтобы вкушал Господь, создана из иного древа. Пей и упейся весельем и возгласи: аллилуйя.

Вот — Князь, и увидит весь сонм славу Его и царь посреди них. Подпись: Царь Соломон, 909.

О Боже, о ангелы и архангелы, серафимы и херувимы, вы, что подпираете свод Господень и утверждаете опоры небесные! Текст, который держал в руках Философ, гласил:

Я, царь Дарий, говорю вам:

Чаша моя, чаша моя, прорицай, пока светит звезда. Напои Господа, первенца, бодрствующего ночью. Чтобы вкушал Господь, создана из иного древа. Пей и упейся весельем и возгласи: аллилуйя. Вот — Князь, и увидит весь сонм славу Его и царь посреди них. Подпись: Царь Дарий, 909.

Две записи различались только в мелочах: в начальных стихах двух записей стояли разные «я», в одном случае это был царь Соломон, а в другом — царь Дарий; в нашей копии не было слова «жена», с которого начинался текст Лествичника. И понятно, подписи были разные у Лествичника и у нас, но число было тем же, а что оно означало, мы не знали. Это подтвердилось, когда логофет приказал Философу прочитать свое толкование, и когда тот в точности прочитал Слово, будто устами Лествичника проговорил. Логофет не придал значения мелочам, которыми различались две надписи; он был счастлив, что

подтвердилось то, что надпись расшифрована, ибо двое прочитали одно и то же, ибо проклятие было отринуто навсегда. Он прыгал от радости, обнимал и Лествичника и Философа, обещал им целые провинции, горы золотой казны, а они ошеломленно смотрели друг на друга, ибо не ожидали, что оба Слова, в разных местах найденные, будут настолько схожи.

Вечером Философ утешал меня в моей келье. Я говорил, что мы понапрасну мучились, что огромный труд был проделан зря, а он пытался меня успокоить. Разве тяжело бремя тому, кто перед собой возвышается, а не перед другими? Лествичник возвышается перед другими и добрые дела совершает только ради похвалы логофета; его свеча в храме светит, только пока ее люди видят и ею воодушевляются. Как только никто не смотрит, свеча гаснет, ибо некому ею восторгаться. Разве птица летает потому, что ею восхищаются? Или летает для себя? Тяжело ли то бремя, которое тебя возвышает, хотя ты и несешь его? Обременяют ли птицу крылья, возносящие ее в воздух, высоко в небеса? И, не успев еще утолить боль моей уязвленной души, сказал:

— Кроме того, не забывай, что прочтения надписи еще нет.

— Как это нет? — спросил я с огнем в глазах.

Философ улыбнулся загадочно, как всегда, когда все вокруг думали, что все погибло, а он чудесным образом находил выход, выдумывал нечто из ничего.

— Обе надписи, если их по словам мерить, говорят об одном, одинаковое известие несут. Но наука о чтении требует звуки читать; ты это хорошо знаешь, не правда ли? — сказал он и тихо мне пальцем погрозил, ибо недооценивал я ту науку.

— Если звуками мерить, эти две надписи совершенно одна на другую не похожи и души у них разные, — сказал он. — Ибо надпись Лествичника состоит из тридцати одного, а наша — из тридцати звуков, а это говорит о том, что его надпись на одном, а наша — на совершенно другом языке, ибо языки иногда только одним звуком различаются. — И потом, глядя на меня, задумчиво сказал: — Звук «ж», буква «Ж» — у него есть, а у нас нет. Почему, я хотел бы знать.

У меня по спине поползли холодные мурашки. Всегда, еще с первых занятий по каллиграфии в семинарии под недреманным оком Лествичника и Пелазгия Асикрита, эта буква ужасала меня. Ибо с пауком была схожа. И еще с женщиной с растопыренными руками и ногами, готовой уловить

тебя в свои сети, свою маленькую вселенную. И как сейчас я помню: однажды в семинарии делал я список с одного Слова, которое именно с этой буквы начиналось, а буква была нарисована червленой и похожей на бабочку и стояла в начале текста, и вот показалось мне, что буква эта раскрывает крылья, призывает меня, ноги свои блудно расставив, и я покраснел, а Буквоносец подошел и спрашивает меня, почему я не отвечаю ему, когда он меня окликает. И влепил мне пощечину, и сказал (а другие семинаристы подтвердили), что звал меня несколько раз, а я как во сне, как в видении некоем пребывал, стоял, голову склонив, и не откликался. И когда увидел Буквоносец, подойдя ко мне, что я в букву вперился, то и он покраснел (Боже, неужели и ему та буква казалась похожей на гулящую женщину, на блудницу вавилонскую, призывающую к сраму?), сверкнул своим оком сетчатым, потом взял калам и зачертил соблазнительницу чернилами черными, чтобы не видно ее было. Я хотел спросить, откуда такой обычай пошел, чтобы семинаристы и переписчики первую букву в тексте рисовали будто человека живого, как женщину или существо бесполое, полуженщину-полуживотное, и есть ли в таком изображении грех, и

какая нужда в таком украшении текста, если не соблазн с самого начала, искушение, чтобы завлечь в чтение, направить в сеть паучью. Но его уже не было, он вышел из семинарии, потом вернулся со Словом другим и дал мне, чтобы я его переписывал, а то Слово, с буквы «Ж» начинавшееся, другому дал списывать.

Чего же испугался тогда Лествичник? Буквы «Ж» или того, что я увидел в ней, за ней, сквозь нее? И то ли самое он видел в букве той: существо грозное и влекущее, паука или бабочку, блудницу вавилонскую?

Я хотел рассказать все это Философу, но он, видя, что я ушел в свои мысли, которые осадили мое сердце, крепость малую, защищающую от прошлых событий, которые я бы забыл, не вспоминал никогда, не помнил, если бы не душа, которая все помнит и заставляет вновь переживать прошедшее. И Философ, видя, что я задумался, вышел, улыбаясь своей знакомой, успокоительной, благоутешной, загадочной улыбкой. А когда я поднял на него глаза, чтобы попрощаться, добавил:

— И не забывай, Илларион, что твоя грусть напрасна: надпись еще не прочитана. Самое главное в любом сочинении для того, кто к науке воровства устремляется… — сказал и не окончил.

Ибо время еще не приспело.

На следующий день мы узнали, что дочь логофета каждое утро превращается в паука мохнатого, безобразного, забирается в угол комнаты и плетет там свою вселенную. И светит там, в той темной паутине, как мрачное солнце ядовитое! А ночью спускается вниз и в девушку превращается.

Через три дня по царству стала распространяться болезнь: Господь Бог напустил страшную язву на народ, и мыши появились, и земля тряслась три дня и три ночи беспрерывно. Логофет как обезумел: не верил он, что такое может случиться, ибо Лествичник и Философ почти одно сочинение прочитали, ключ к страшному замку тайной комнаты.

18

И решил логофет прекратить это: на следующий день он сам принес страшный ключ в келью Философа и передал ему в руки. Он был бледен, весь вспотел, как будто его сейчас удар хватит. И сказал:

— Войди в западную комнату. Пусть отворится она в третий раз, пусть упадет третья печать с ее дверей. Ибо она не умирает; происходит нечто худшее, она превратилась в паука грозного и меня не узнает; только ткет свою паутину в углу и никого не узнает.

Позвали и Лествичника, и он пришел, полный притворной печали и скорби перед логофетом. Он хотел сказать что-то утешительное, что-то предложить логофету, но тот сам приставил палец к устам и, бледный, полубезумный, сломленный, полуживой и полумертвый, проговорил:

— Тсс! Твоими словами утроба моя уже переполнена.

Этот лизоблюд пал перед ним на колени, начал прикладываться к его царскому одеянию, креститься и его благословлять, но логофет уже направился к двери. Лествичник полз за ним,

хватаясь за полы его риз, пытаясь его задержать, и я со стороны видел слезу в его белом глазе и слышал, как Лествичник бормотал:

— Я думал, что дело сделано, пречестный, и делал я его тебе в добро, а не во зло; печаль моя равна твоей, ибо я ее воспитывал, и поучение ей давал, и считал ее своей дочерью.

Логофет приостановился, посмотрел на него сверху, как на муравья, и, глядя на него отсутствующим взглядом, сказал:

— И как мне объявить о том? Что сказать? Сказать: дочь моя в паука превратилась?! Такое превращение непристойно. Что скажет народ обо мне, о властителях, о царстве нашем?

А Лествичник стал бить себя кулаком по голове в скорби притворной, стал еще сильнее тянуть логофета за края одежды и тереть ими себе глаза, вытирая слезы свои лживые, а меня от этого чуть не выворачивало, так мне стало гадко, что я думал, что стошнит меня. Но логофет ушел, Лествичник остался стоять на коленях с простертыми к нему руками, в позе, подходящей для души его слабой, а я опять в эту минуту в туфле его увидел, поскольку ряса его поднялась выше щиколоток, ключ золотой с прилавка торговца из Дамаска.

И мысль пришла мне в голову, необычная, почти безумная: может быть, этот ключ от комнаты тайной, проклятой!

Но Философ, поймав мой взгляд, сказал:

— Время пришло, пойдемте.

И мы отправились по лестнице вниз, под землю, в комнату греха, проклятия и пророчества. И пусть будет известно, что бы ни говорили летописи, которые до вас дойдут, что трое нас было: Лествичник, Философ и я, в лето Господне шесть тысяч триста семьдесят второе, второго индикта от Сотворения мира, в месяц пятый, день месяца тринадцатый; мы сходили, чтобы сломать третью печать на дверях зловещей комнаты, чтобы в третий раз в нее вошло существо человеческое.

После долгого спуска по ступеням мы очутились в темноте черной перед тяжелой дверью, за которой скрывалась вековая тайна. Колени у меня ослабли, от возбуждения по коже у меня побежали мурашки, будто по ней ползала тысяча пауков; я чувствовал страх и в то же время величие момента, будто дошел до края земли, откуда простирается лишь небо, усыпанное мириадами звезд, как будто дошел до настоящего пупа земли, будто я шагаю по звездам и по светилам небесным. Философ нес свечу и шел впереди, за ним

Лествичник, а последним я. Философ передал свечу Лествичнику, а тот, в суете своей грозной, передал свет мне, чтобы не оказаться в услужении у Философа, вторым не быть, не быть ему светоносцем, а я подумал: «И пусть. Лучше свет божественный у меня будет, раз Лествичник слеп и познать его не в состоянии, хоть бы его ему прямо в руку подали».

И потом Философ вынул ключ старинный, огромный и со страшными зубцами: как зубы у твари некой, тайны глотающей и их стерегущей. С большим трудом, ибо замочная скважина была древней, он вставил ключ и повернул его; будто небеса отворяя, дверь заскрипела, открылась, и я передал свет Философу.

Один раз в жизни, о бедные и благоутробные, открывается тайна, лишь однажды осознается мир, миг краткий видится невидимое как видимое, только один шанс есть познать и узнать Бога. И этот миг для меня пришел; я переступил через порог, как переступается порог жизни при рождении, ибо входит тогда человек в незнакомый мир, во Вселенную целую.

И я увидел, что все, что говорилось о комнате в описании на листках отца Миды, было верно, ибо увидел я: комната пространная, совершенно тем-

ная, а ее центр был будто центр мира. И увидел: посередине комнаты некий мозаичник неведомый и давний выложил прекрасную мозаику из камешков с пылинку величиной: сеть двенадцатиугольная, из нитей сплетенная, а в середине сети новая середина, вторая: паук черный, солнце вселенной малой и упорядоченной, существо бесподобное, мощное, самое сильное в мире, совершенное, ибо из утробы своей выплевывает и рождает совершенство, и увидел я: посередине паука, то есть в третьей середине, нарисован белый крест, а точно в месте, где сходятся лучи креста, — центр Вселенной, точка, которую искал великий Архимед, тайна тайн всех миров!

И в центре Вселенной увидел я золотой столб, возвышающийся на высоту человеческого роста, весь в великолепной резьбе, сделанной рукой человеческой, какой ни один подсвечник на лице земли не украшен, даже и в нашем храме, а на вершине столба — подставка золотая, четырехугольная; и на ней — Книга в пупе земли, чаша с питием небесным, Словом Господним! Паук на спине своей нес Слово, мудрость пресветлую, превозвышенную, целый свет на спине своей нес, ибо крест на нем был, такой же, как и на мне! И понял я, что это Провидение, что паук на

меня похож или я на него, что впустую унижался я перед Лествичником и другими нищими, увечными, никчемными, низкими душою, ибо преклонялся перед ними сверх меры, из них, насквозь прогнивших, идолов золотых созидал, что мою доброту претворили они в свое первенство, в рабство мое, что в гнилые истуканы идолов вселялся нечистый, и с ним я говорил, разговаривая с Лествичником несчастным, идущим по неверной дороге; что роптал я на Бога, ибо знак Он мне дал, чтобы нес я мир на плечах своих, а я не понял, знака не разобрал и первенство свое отдал другому, ведомому грехом, дьяволом, и тем самым участвовал я в низвержении Бога, в гонениях на Него, ибо никогда не боролся, не противодействовал, всегда послушен был, а тот, кто всегда послушен, тот послушен и нечистому и не будет Богу привержен, когда дьявол ему в обличье ложном предстанет, в образе притворном! Даже сомнений нет!

Вот так, бедные и благоутробные, страдал я от доброты своей, а если душу благородную, полную смирения и доброты, в руки грешных и сильных предашь, то вернут ее тебе пустой гробницей!

И так стояли мы в изумлении и смотрели на открытую книгу. Философ подошел к ней, осветил

книгу, и мы увидели то, что верно было засвидетельствовано в листках отца Миды: письмо было совершенно неизвестным, а надпись была в форме клубка; только одна буква выделялась среди других по форме и цвету: это была буква «Ж», та же буква, из-за которой я получил оплеуху в семинарии от Буквоносца! Она походила на женщину, на блудницу вавилонскую, жгучую, ибо и цвет ее был такой, жгучий, красный. Философ потрогал ее кончиком пальца и улыбнулся, а Лествичник ничего не понял, но я знал, что в этот момент Философ почувствовал жар света, луч солнца, тепло завязи, жало паука, жжение и пламень ядовитейшей отравы, ибо отрава горька и жжет и боль от нее проистекает; все это я понял и знал также, что в следующий момент Философ проведет пальцем по всем буквам, от буквы «Ж» начиная, от середины клубка, и что ощутит он тепло букв, цвет их, и что, начиная с середины, сперва пройдет кончиком пальца к одному, потом к другому концу клубка и что потом совершенно спокойно, будто не прочитав ничего, повернется со свечой к стенам комнаты, будто осматривая храм неведомый. И так и случилось: уже через минуту он освещал стены комнаты, и я знал, что он ищет нечистого, фреску его, существо

соблазнительное и страшное, начертанное на сфере, на куполе небесном, Божьем!

И увидел я его в моем видении: маленького, оскаленного, с хвостом страшным, мохнатого, как паук, в центре малой апсиды; изгнанного, низринутого с неба, с потолка мрачной комнаты, но все равно присутствующего здесь, вблизи, будто ожидающего часа своего возвращения, будто его временно отдалили; отторгнутый от большого неба, он ждал, как мохнатый паук на своем малом небе, ибо небо разделено на большое и малое; он ждал там, один в своей вселенной, сверкая глазами, в которых горели грех, страсть и блуд; а в этих горящих глазах видел я, в откровении моем, всю историю мира, века страданий, казней, мучений, распятий, убийств, краж, блуда и неверия; видел потоки крови и слез, текущих из-за высказанных вслух страстей, из-за создания малых вселенных, из-за уловления малых и неспособных в сети больших, сильных и ядовитых; и видел, что Философ смотрит и думает о том же, что и я, и пытается вспомнить, что гласило последнее предложение, которым завершались предсмертные листки отца Миды, и мы поняли друг друга по взгляду, и я сказал:

— «Когда этот дьявол смотрит на человека, у

того кости трясутся, и хочется спрятаться от него в место невидимое, настолько невидимое, чтобы…» — И я пересказал последнее предложение пречестного отца Миды, и я, сам того не зная, — а узнал я об этом позже, когда пришло время, — разгадал тайну надписи!

А Философ посмотрел на меня, мне улыбнулся и взглядом своим сказал: «Ты на правильном пути, Илларион!»

Лествичник ничего не понял из наших взглядов, но побагровел по причинам, которые стали известны мне позже, ибо не знал он, почему я вдруг вспомнил последнее предложение из листков отца его, а он не хотел ничего из отцовского наследия отдавать кому-нибудь другому, не хотел позволить кому-нибудь им воспользоваться. И на этом все закончилось; потом Философ сказал:

— Пойдемте.

В дверях Философ передал мне свечку (значит, он заметил жест Лествичника, когда тот не хотел посветить ему при входе) и потом попробовал запереть комнату на ключ. Но ключ поворачивался с большим трудом и потом застрял в замочной скважине. А Лествичник, который нетерпеливо ждал, как будто не мог дождаться, чтобы уйти, сказал:

— Немножко придави ключ, а потом сразу поворачивай направо.

Философ послушался и действительно сумел запереть замок.

Я тогда еще не понимал, что в тот момент, когда закрылась дверь, окончательно открылась душа Буквоносца. Мы вышли из проклятой комнаты, стряхнув с себя наваждение, а мне ничего не было ясно; похоже было, что мы ничего не добились, будто просто комнату осмотрели, но Философ сиял каким-то чудесным блаженством и спокойствием. Как однажды сказал Философ: когда много раз вниз сходишь, то думаешь, что и обратно наверх поднимешься. И на этот раз так случилось: мы были внизу, а на самом деле — на вершине.

А когда мы поднимались по лестнице и Лествичник вдруг вскрикнул, потому что свеча в руке у Философа потухла, я чуть не подпрыгнул от радости: мне не было темно, ибо вокруг тела Философа опять сияло то самое облако фиолетового света и я опять его видел!

Потом мы взяли Лествичника под руки, так же как за несколько месяцев до того мы переносили его страшного ядовитого паука, и вывели его на свет.

И ничего не случилось с нами в зловещей комнате: письмо для нас не стало смертоносным, Философ и я уже были готовы к нему, ибо видели такую же надпись на горе Пуп Земли, а Лествичник — в гробе отца своего; и не умерли мы тем вечером от действия надписи, но одно несчастье все же произошло: много открылось замков, которые были до того невидимыми, а висели на невидимых дверях невидимых комнат судьбы!

19

Вечером я не мог заснуть, ибо услышал, понял, что Философ пригласил логофета на следующий день сойти вместе с ним вниз в восточную комнату и он откроет ему окончательное и точное значение надписи и скажет, в чем состоит проклятие, которое веками преследует наше царство. Я ничего не понимал: мы же просто осмотрели комнату и ничего не разгадали. Но все было не так, как и выявилось впоследствии; и самые большие тайны разъяснились тихо, без волнения и, как будет видно, самым простым и ясным образом, как будто и не были никогда тайнами!

И я поспешил к келье Философа, но, чтобы пройти к ней, нужно было миновать келью Лествичника, препятствие непреодолимое, ибо он, как старейшина, мог в любой момент выйти из кельи своей и спросить меня, куда я направляюсь в такое глухое время и какие союзы собираюсь заключать с нечистой силой; мог оклеветать меня перед логофетом, что я завожу союз с рогатым, и голову мне снести с плеч, если такое случится.

Но хоть сердце мое и билось, впервые в жизни не хотел я останавливаться на полпути вместе с

малодушными и малоумными, Богом наказанными. И отправился, полный решимости все вызнать. Но когда я дошел до кельи Лествичника, у меня отнялись ноги. О бедные и блаженные духом, раз я тогда не умер, то вечно буду жить на земле: так мне казалось. Я слышал голоса в келье Лествичника и подумал: уж не открыта ли дверь в келью, ибо он был не один, и я решил было, что там он с логофетом и опять наущает его против Философа. Но все было не так, к моему счастью: я отчетливо слышал, как Лествичник говорил ночному пришельцу идти и ждать внизу; так он сказал и не иначе, ибо я все слышал. А потом услышал плач женский и слова бессвязные, женскими устами сказанные, и по голосу узнал: внутри была дочь логофета!

Я на цыпочках прокрался по коридору, а миновав келью, бегом помчался на другой конец здания и не мог остановиться, ибо страхом сильным был обуян и сердце колотилось у меня где-то в горле. Открытие тайн началось, ключ уже воткнули в замочную скважину, как кол осиновый в сердце вурдалака, и пути назад не было, пока не будут разгаданы все тайны, пока все не узнается и не увидится!

Когда я влетел в келью Философа, он молился

Богу. Повернулся ко мне и, нимало не удивившись, как будто зная, что приду, знаком показал мне садиться. Не знал я, как начать, и потому сказал:

— Они в келье. У Лествичника.

А он посмотрел на меня, улыбнулся кротко и сказал:

— Знаю. Потому и молюсь. — И продолжил молиться за душу Лествичника, как за душу лучшего друга. А закончив, сказал: — Ты человек, угодный Богу. Ибо ты разрешил загадку.

Я не верил своим ушам; я чуть не потерял сознание, сердце меня не слушалось, душа горела каким-то непонятным огнем. Я сумел только выдавить:

— Как это?

— Ты ведь заметил? Заметил, что он знал, как нужно было вставить ключ в замочную скважину, чтобы запереть комнату? И сказал: «Немножко придави ключ, а потом сразу поворачивай направо», будто каждый день ее отпирал!

О Философ! Человек плотью, ангел душой, мудрости неисчерпаемой! Благодарю тебя за то, что ты открыл мне глаза: ведь и малейшие мелочи не до́лжно пропускать, ведь жизнь — это мозаика, в которой без единого камешка целое не будет

плодоносным. И сказал Философ: «Лествичник — блудодей и блуд творит с дочерью логофета, с тех пор как она была ему доверена для воспитания и обучения; каждую ночь приводит он ее в тайное место и предается там с ней похоти. А самое тайное место в царстве этом — комната за тремя печатями, ибо туда никто не войдет, чтобы не навлечь на себя проклятие».

Тут вернулось ко мне сознание, и видение ясное, свет сильный блеснул у меня в голове, и мозаика составилась полностью: мне стало ясно, по какой причине не было Лествичника на похоронах его отца, пречестного Миды, и понял я, что тот отсутствовал шестьдесят дней и шестьдесят ночей, потому что именно столько времени нужно, чтобы добраться до Дамаска, до прилавка торговца ключами и пауками ядовитыми, и вернуться назад; стало мне ясно, что он украл ключ от западной комнаты из риз отца своего, перед тем как тот упокоился на руках его, перед тем как превратиться в буквы; и что золотой ключ — это копия, дело рук аморейца, искусного в создании подобных ключей; стало мне ясно, что Лествичник, получив копию ключа, вернул изначальный ключ в келью своего покойного отца и что не стал оплакивать своего отца, только чтобы

свершить свой поступок гнусный: ключ-близнец от комнаты зловещей заполучить, завладеть им. И что ключом этим комнату отпирал не раз, а бесчисленное множество раз и тем самым навлек на царство наше беды тяжкие и ужасные; и что в комнату водил дочь логофета, ничего не подозревающего, чтобы блуд с ней творить, как с блудницей вавилонской. И ясно мне стало, что в этой комнате, под горящим взором нечистого, третьим бывшим в наслаждении блудом, девушка извивалась под ним, превращаясь день за днем, прóклятая за грех, который малоумные не сознают (но умный сознавал!), в отвратительного паука! И подумал я: руки Лествичника становятся все мохнатее день ото дня!

Я встал и не знал, куда идти.

— Мир с тобой, Илларион! — сказал мне Философ. — Успокойся, ибо это еще не все.

И потом сказал:

— Кончиками пальцев прошел я по надписи-клубку, и в середине кудели прочитал я букву «Ж», в женщину превратившуюся, нарисованную неведомым создателем этой комнаты; слева от нее прочитал я надпись уже известную: *Я, царь Соломон, говорю: Чаша моя, чаша моя, прорицай, пока светит звезда. Напои Господа, первенца,*

бодрствующего ночью. Чтобы вкушал Господь, создана из иного древа. Пей и упейся весельем и возгласи: аллилуйя. Вот — Князь, и увидит весь сонм славу Его и царь посреди них. Подпись: *Царь Соломон, 909.* А справа от буквы-блудницы прочитал: *Я, царь Соломон, говорю: Чаша моя, чаша моя, прорицай, пока светит звезда. Напои Господа, первенца, бодрствующего ночью. Чтобы вкушал Господь, создана из иного древа. Пей и упейся весельем и возгласи: аллилуйя. Вот — Князь, и увидит весь сонм славу Его и царь посреди них.* Подпись: *Царь Соломон, 909.*

И так понял я, что одно и то же Слово было написано и слева и справа от середины клубка, от буквы «Ж», будто она — зеркало.

— Значит, — сказал Философ, — подпись в Слове нашем на горе, называемой Пуп Земли, была ложной; не царь Дарий был автором Слова, сочинителем его, а Соломон; когда Дарий разбил войско неведомого неприятеля, он, узнав о старинной надписи на горе, решил сбить подпись «Соломон» и велел выбить взамен свое имя, «Дарий». — И потом улыбнулся и добавил: — Его камнерезам не пришлось много работать! — Потом помолчал и сказал: — Поэтому гора затряслась, когда я попытался сделать копию,

оттиск первого слова — слова «я»; ибо гневается Господь, когда кто-нибудь ложью чужое «я» себе приписывает, как Дарий, который сделал так с «я», принадлежавшим Соломону!

Я не мог в это поверить. Собрал все силы, чтобы проговорить:

— Так вот как сочиняли Слова сиятельные властители? И разве это не кража, дело недостойное даже для преступника, а не то что для царя? А если это так, не единственная ли это надпись о славе земной, которую власть постоянно себе присваивает и только под ней подпись меняет?

И потом мысль соблазнительная пришла мне в голову: «А кто тогда истинный сочинитель этого Слова? Получается, что Бог, а мы только крадем его «я», как мешок чужой с добром, который забирает себе грабитель?» А Философ, будто читавший в мыслях моих, сказал:

— Я думаю, что, кто бы ни был творцом, побуждением к сочинению была женщина; буква «Ж», которая и начало и конец этого слова, очень похожа на женщину, и потому в надписи она стоит в середине букв! Только женщина поддерживает жизнь письма — вот это хотел сказать неведомый строитель комнаты.

Потом он встал и начал ходить по келье круга-

ми. И сказал:

— Но есть и кое-что еще.

А я в ошеломлении глядел на него.

И сказал (по-моему) так, ибо в голове у меня шумело и не помню я точных слов его: что вся та комната — выдумка и что книга — не только та, что на столбе лежала, а вся комната — это книга, поскольку у нее было свое значение. И сказал, что даже число в подписи скрывало тайну, ибо значило: один сочинитель (девятка одна, троица совершенная, ибо трижды тройка повторяется в числе девять) с левой стороны и один читатель с правой стороны. А ноль между двумя девятками было само сочинение, клубок округлый, бездна неведомая, всё, в ничто обращенное. Сочинение — это сеть паучья, круг, ноль совершенный, в котором содержится все, из которого все исходит и в который все возвращается, как из утробы женщины, буквы «Ж», ею рождаемое исходит; утроба, ноль вечный, исторгающая из себя весь мир и принимающая в себя, когда нужна услада в женщине или письме! И как обычно, как у каждого Слова есть самое малое два созерцателя, один сочинитель и один читатель, так и женщина, надпись тайная И совершенная, обычно ведет с собой двух мужчин: одного с правой стороны,

другого с левой стороны.

— Значит, женщина есть сочинение и сочинение есть женщина? — вымолвил я со страхом.

— Верно, — ответил он. — Эти две сущности вообще не различаются. Это и хотел нам сказать неведомый создатель. Ибо эта буква «Ж», центр клубка, содержит в себе страсть женщины, ибо что привлекает буквы, заставляет их выстраиваться в слова, а слова — в мысли, как не любовь, страсть женская, привлекательность тел их? Но мы, — продолжал Философ, — с левой стороны комнаты были, и читатель слева от Слова был. Но кто был тот, кто Слово то же самое с правой стороны читал?

И у меня волосы встали дыбом на голове. О дьяволе думал Философ, и не шутил! Его он считал вторым читателем, тем, кто Слово созерцал со стороны неуместной. И потом сказал:

— Я встал около дьявола, прямо перед ним, пока ты и Лествичник разглядывали Слово чудесное; и его глазами, глазами нечистого, видел Слово. И оно другим казалось, не таким, какое оно есть. Другие слова и звуки в нем, другое значение, и совершенно ясно из того, что я видел, почему на царство беды и невзгоды нападают. Утром я позову логофета встать перед дьяволом, его глазами

взглянуть, пусть увидит, что под Словом другое Слово есть, под буквами видимыми — другие, скрытые, под душой Слова — душа другая! Да и листок отца Миды, — продолжал Философ, — не полностью сохранился и заканчивается там, где надо было начать говорить о дьяволе, а именно: «Когда этот дьявол смотрит на человека, у того кости трясутся, и хочется спрятаться от него в место невидимое, настолько невидимое, чтобы…» Как будто он хотел сказать, что место это настолько невидимое, что совершенно видимое (ибо самое видимое мы часто не видим), а в той комнате нет места виднее места дьявольского. Как будто отец Мида хотел сказать, что человек должен встать на место дьявола, в дьявола превратиться, чтобы уразуметь Слово; вот цена чтения скрытых значений! Только дьявол видит то, чего мы не видим!

И мне в тот момент вспомнилось поучение Лествичника о том, как скрыть вещи важные или украденные, — на видном месте, ибо закон ищет скрытое в тайном, а не в видном месте!

А Философ и дальше говорил, ибо решил повернуть ключ в замке моей бедной души, все тайны мне раскрыть, ибо слаб я был в отпирании замков. И сказал он: «Пуп земли не находится в центре той горы; надпись на горе — это копия с

некоего первоисточника. Неведомый создатель этой комнаты тем, что завил письмо клубком, хотел еще сказать нам, что и источник истинный, первоначальная надпись — кругла, как клубок, и что в его центре находится женщина, страсть. И что первоначальная надпись навсегда погибла, и что мы до сего дня ее ищем, делая копии с оригинала в книгах, в комнатах и высоких горах, но источник нам не является, не появляется!»

А я смотрел на него, как будто в меня ударила молния, и все мне было ясно, и ничего мне ясно не было, ибо сказано ведь: когда светлее всего, хуже всего видно и ничего не ясно! Кто не верит, пусть попробует посмотреть на солнце: ведь оно шлет нам больше всего света, и разве не в этот миг слепота наступает? Я смотрел на него и умолял: скажи мне, Философ, говорил мой взгляд, скажи мне, где пуп земли, центр, середина мира! Где источник письма древнего и неведомого? Что за источник у этой чудесной надписи?

А он сказал:

— Пупом земли была чаша Соломона, и на ней впервые была сделана та надпись, которая теперь здесь в комнате; это и есть первоисточник, которого нынче не существует, и все мы его ищем: в пупке женщины, на вершинах гор, в паутине

и клубках слов. Считается, что создателем этих стихов был сам Соломон, ибо он был мудрец и поэт. О его чаше и теперь рассказывают предания; говорят, что чаша эта была полна звезд, и что походила на пупок, и что в ней Соломон видел судьбу свою и черпал из нее мудрость, как из книги, и что она говорила ему, как поступать и в войне и в мире. И что в эту самую чашу Соломон премудрый, поэт, и вино наливал и пил, и что в поздние годы своей жизни многими женщинами наслаждался рядом с чашей, и чем чаще вино в нее наливал, тем реже в ней появлялись звезды, угасали, и что все меньше пророчествовала чаша, пока не иссякла мудрость ее и его от избытка вина. А когда чашу кто-то украл, потомки Соломоновы решили скопировать надпись с чаши, чтобы осталась она на веки вечные как предостережение приходящим поколениям, как закон, в соответствии с которым мудрость слабеет и гаснет от избытка страсти в чаше жизни. И переписали они надпись на гору, похожую на чашу, и нарекли эту гору Пуп Земли. А потом, как мы знаем, царь Дарий присвоил себе эту надпись, как неизвестный вор, укравший чашу Соломонову, думая, что она донесет до него голос самого известного пророка и мудреца в мире. И в конце

концов третью копию надписи сделал некий наш мудрый и умный предок, знавший все это и возжелавший нам сказать еще кое-что. Это кое-что присутствует в надписи невидимо, что утром мы сделаем видимым перед логофетом, — сказал Философ. И опять принялся за молитву Богу.

А для меня в тот момент пала завеса тайны с надписи в комнате: расчет. И понял я, что расчет этот относился к чаше и что, вероятнее всего, высчитывал глубину и страсть неумеренную чаши Соломоновой, выраженную в вине. Эта надпись была подсчетом страсти человеческой, неумеренности в вине и женщинах. Вино пьянит и приносит видения; и книга пьянит и приносит видения; и пупок женский пьянит и приносит видения; похоже, эти три вещи вообще не различаются, а суть просто три разных слова для трех вещей. И я понял: не существует одного пупа, одной середины мира, ибо она разделена на три части: на чашу, пупок женский и слово. Точно так же, как и свет, который я видел, бывший и цветом, и музыкой, и светом одновременно. И все же бывший Единым. И я понял, что несчастье человеческое в том разъединении: из одного получается многое, а должно быть наоборот. Ибо блажен, счастлив тот, кто сумеет слить свет, цвет

и музыку; блажен и счастлив тот, кто из пупка женщины возлюбленной, из слова своего и из чаши с вином сотворит Единое, ибо само оно тогда его найдет, укажет середину мира. И средоточие будет в нем, и он в средоточии.

Но я хотел еще узнать: что видел Философ, когда встал на место дьявольское в той комнате? И что говорит Слово, когда дьявол его своими глазами читает?!

20

Ужасное несчастье случилось со знаком моим на спине, с крестом, который я носил сзади, ибо он из тайного стал явным, ясным, а когда некий знак становится ясным, он исчезает, и больше его не видно, и внимания на него никто не обращает. Так же происходит и с ведомыми и с неведомыми надписями: сквозь ведомые вы смотрите как сквозь стекло, сквозь неведомые — как сквозь дырку в стене непробиваемой твердыни крепкой. Так и с моим крестом, о котором я уже вам немного рассказывал, но тогда время еще не приспело. А теперь время пришло, здесь оно и не может ждать, как и всякое время, ибо течет как пшеница из худого амбара, как вино из прохудившейся бочки.

Была полночь, и я шел по коридору и проходил мимо кельи отца Лествичника, возвращаясь после откровений, данных мне в келье Философа. Я шел и хотел уже пройти мимо, ибо знал, что Лествичника там нет, что он блудодействует с девушкой в восточной комнате греха, когда вдруг пришло мне нечто на ум: раз однажды Лествичник преподал мне науку странную и раз-

бойникам с большой дороги подобающую, может быть, чаша Соломона, потерянный первоисточник всех бед и странных надписей, находится в его келье, в месте видном и незапертом, ибо не там закон ее искать станет, а в месте страшном и взору человеческому недоступном?

Я остановился, колени у меня тряслись, как тряслись кости-буквы в могиле отца Миды, в гробу его вечном и небесном, но я набрался храбрости, ибо вспомнил о Философе и его поучении о непослушании: «Непослушание — это храбрость, которой Бог награждает путем откровения». И так и было: я вошел, дверь заскрипела, заскрипело и в моей перепуганной душе, и в следующую минуту я стоял в келье Лествичника перед его столом для переписывания.

В келье не было ни чаши, ни ключа золотого из лавки с рынка в Дамаске, ибо он был накрепко забит в замочную скважину греха.

Но там было нечто другое: неизвестная часть листков отца Миды. И я на столе нашел еще два листка из предсмертных записей отца Миды, о существовании которых никто не знал, ибо все думали, что Мида умер, не успев закончить свой труд. Но это было не так: на первом листке было написано то, что разгадал Философ: конец

оборванного предложения: «Когда этот дьявол смотрит на человека, у того кости трясутся, и хочется спрятаться от него в место невидимое, настолько невидимое, чтобы…» А прерванное предложение продолжалось так: «…чтобы не мог его увидеть дьявол; а единственное место, которого он не видит, — это его место; следственно, нужно, чтобы человек встал на его место, на место нечистого, и увидел то, что он видит; и наверняка увидит он Слово другое, не то, что записано в книге». И потом отец Мида написал, что его не интересовало, что видит нечистый в Слове, и потому не встал он на место дьявольское, а с помощью своего ума и умения, поскольку знал самаритянские буквы, которыми надпись была сделана, прочитал вот что со своего места: *ЖЕНА моя, чаша моя, прорицай, пока светит звезда. Напои Господа, первенца, бодрствующего ночью. Чтобы вкушал Господь, создана из иного древа. Пей и упейся весельем и возгласи: аллилуйя. Вот — Князь, и увидит весь сонм славу Его и царь посреди них.* Подпись: *Царь Соломон, 909.* Значит, он прочитал то же, что и Философ на горе, называемой Пуп Земли, кроме подписи (про которую уже разъяснилось, что она была ложной, ибо Дарий говорил там устами Соломона и его «я» взял

вместо своего!). Но прочитал «Жена» вместо «Чаша», потому что постоянно смотрел на букву «Ж», центр Слова-клубка, которая похожа на женщину, и взгляд не мог отвести от середины клубка!

И стало ясно, как Лествичник, к науке не приклоняющийся, сумел расшифровать надпись: у него все это время были два неизвестных листка отца его, Миды, и он знал значение Слова. Но не хотел открыть это значение, ибо тогда потерял бы комнату греха и блуда, в которую он каждую ночь водил малоумную дочь логофета для услады своей и нечистого, который смотрел со стены и третьим был в их страстном зверстве.

Если бы сказал он: надпись значит то-то и то-то, не запирали бы комнату и всякий мог бы стать свидетелем блуда его!

И поэтому страдали мы все, царство целое: для услады Лествичника, для услады единого!

Но было и еще кое-что, ибо когда клубок тайн разматывается, дольше кажется, чем когда скрывающий тайну этот клубок заматывает: на следующем листке, о бедные и благоутробные, я нашел родословную свою, тайну святого креста, который я носил на спине! Нашел, о бедные и блаженные, летопись удивительную, свидетельство о сказании (или событии?) грозном, и мне

ясно стало, почему Лествичник в час, когда отец его умирал у него на руках, украл две страницы из предсмертных листков Миды и только два листка оставил нам, другим. И видение мне было, откровение, которое меня смяло, раздавило, в пыль превратило. Вот что я увидел, и вот как я это увидел: я остановился над неизвестными листками отца Миды, и взгляд мой летал по его мелкому искусному почерку, а душа моя сжималась, как целая вселенная, превращающаяся в черную крупинку, в черного паука, тварь грозную.

О отче мой, отец мой, Мида! Почему брат мой, отец Лествичник, никогда не говорил мне, какое страшное событие случилось в ту ужасную ночь, когда он составлял список в восточной комнате? Почему ты, отец, не сказал, во сне мне не явился, в видении, ибо такие ужасные вещи дети должны слышать из уст родителей своих! Будь же ты проклят, отец, и ты, брат мой Лествичник!

Ибо: ты вошел, отец, в комнату с надписью проклятой, сделал копию, но глаз не мог отвести от буквы «Ж», капкана вечного, буквы-женщины, крупной, красной, которую изограф-живописец нарисовал с очами кроткими, с руками и ногами широко расставленными, готовую познать мужчину своего.

Ибо: ты увидел женщину, творение страстное, в письме, клубке отравленном, у нее глаза голубиные под кудрями; волосы ее — как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; зубы ее — как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как лента алая губы ее, и уста ее любезны; как половинки гранатового яблока — ланиты ее под кудрями ее.

Ибо: шея ее — как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных; два сосца ее — как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями.

Ибо: твой страстный взор вдохнул тепло в букву-женщину, и она ожила, вышла из письма-клубка, и пала у ног твоих, и стала целовать стопы твои.

Ибо сказала тебе: приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе.

Ибо: хотя и дал ты завет Богу после рождения твоего *единственного* (теперь я понимаю, почему так напирал Лествичник на это слово в разговоре

с логофетом!), Богу заповеданного сына Лествичника, но сказал ты: о, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; пупок твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои — как два козленка, двойни серны; шея твоя — как столп из слоновой кости; глаза твои — озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой — башня Ливанская, обращенная к Дамаску; голова твоя на тебе — как Кармил, и волосы на голове твоей — как пурпур; царь увлечен твоими кудрями.

Ибо сказала тебе: положи меня, как печать, на сердце твое, как печать, на мышцу твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный.

Ибо: ты взял ее за руку, и она повела тебя во вселенную свою, в виноградники, в сады, между лилиями, между бедрами ее, двумя цепочками, двумя башнями каменными, во чрево свое, в ворох пшеницы, и ты познал букву-женщину и оставил семя свое в чреве ее, которое дьявол открыл для тебя, как яму, как ворота, ведущие в

чертог темный в самую темную ночь с ясными звездами; ибо дьявол смотрел с малого неба на вас двоих.

Ибо: пробудился ты внезапно пред полночью, в объятиях жены-блудницы, паука страшного, твари черной и мохнатой, в которой ничего от красоты буквы-женщины не было; ты был в обществе призрака, творения отвратительного, дьявольского, и ты возопил, воскричал, ибо ты увидел, что буква-женщина там, где была, — в клубке надписи, невинная, непорочная, не тронутая рукой твоей страстной, ибо ты принял паучиху за букву, смешал красоту с уродством, ангела Божьего с дьяволом, и вот, ты возопил и быстро-быстро сделал список со списка.

Ибо: воистину ты сделал список со списка с буквой-женщиной в середине клубка и нарисовал ее еще красивее, чем в надписи, пошел в западную комнату и хотел ее оживить, как если бы ты был Богом, ибо только в Его руке жизнь и смерть; но ничего из этого не вышло, ибо, когда ты переступил порог западной комнаты, буква-женщина и все другие буквы из копии превратились в цифры, ибо все нужно читать там, где написано, как все должно быть там, где должно быть, ибо перемещенное проявляет иное

лицо на месте несоответствующем, как человек во власти незаслуженной; ибо все должно на своем месте находиться, как Господь установил, который из рыбарей апостолов делал, гордых в червей превращал, а смиренных — в мудрецов; как все должно в свое время делаться, и любви свое время, и смерти, всему свое время, всякой вещи в подлунном мире; время рождаться и время умирать, время насаждать и время убирать насажденное; время убивать и время излечивать; время разрушать и время строить; время любить и время ненавидеть; время грешить и время каяться.

Ибо: ты оставил меня, твое семя, в черной мохнатой утробе, полной слизи, из которой ткется паутина, в колыбели паучьей, в угольке-солнце с крестом на спине, на девять месяцев ты меня оставил, и когда разродилось мной лоно матери моей, буквы-женщины, тебя уже не было в живых, но брат мой, Лествичник, знал, откуда взялся новорожденный перед вратами комнаты блуда, и не сказал мне.

Ибо: и он нисходил в комнату без одобрения царского, наслаждался малоумной дщерью логофетовой и считал меня недостойным имени брата своего, потому и скрывал свое знание обо

мне, чтобы я не узнал, не открыл, чтобы не захотел и я, как сын, разрешить загадку Слова.

Ибо: он боялся меня, ибо посреди надписи я был зачат буквой-женщиной, ибо я — Сказитель и сказания выдумываю, и я — Мозаичник, ибо разбитое составляю; и испугался Лествичник, что я заберу у него первенство, и скрыл родословную мою, чтобы не знал, кто я есть, и что предопределено мне, как Сказителю и Мозаичнику, мир нести на спине, на кресте моем; и презрел меня брат, и в оковы братские заковал, и бил меня, пока Бога во мне не убил.

Ибо: Лествичник алчен к славе был и хотел весь мир, всю вселенную заглотать, как паук, хоть он и женщиной был рожден, и Сказителем никогда не был, и Мозаичником никогда не будет, ибо для той науки нужно быть рожденным в середине мира, в Слове, от паучихи, от буквы-женщины, ткачихи, в середине клубка мудрости.

Вот так, отец мой Мида, так и ты, брат мой Лествичник, который поднимается по ступенькам (и при этом спускается) в свою келью, отворяет дверь, и видит меня, и понимает, что теперь и я знаю, и слезинки не роняет, а я плачу, ибо люблю тебя, ибо ты мне брат и другого у меня на свете нет, и говорю я: я все сделаю, чтобы с брата моего

голова не слетела, ибо утром страшное испытание тебя ждет, брат мой, когда логофет увидит, что в утробе паучьей надписи есть еще одна надпись, еще одно порождение, сказание еще одно, несуществующее, а в то же время существующее и не менее ценное, — сказание, которого ты не видел; и знаешь, что я знаю все, ибо ты входишь, держа в руке ключ, и ты знаешь, что я знаю, что комнату ты отворял не три, а три тысячи раз за эти годы. И ты смотришь на меня, и мы понимаем друг друга без слов, взглядом, и я протягиваю руку, а ты даешь мне ключ, ибо понимаешь, что в первый раз я сам решил быть на твоей стороне, сотворить нечто отвратительное, чтобы тебя спасти от логофета! Все сделаю я, чтобы тебя не погубили, чтобы тебя не потерять, брат мой милый, который часто говорил, что на этом свете все в своем роде совершенно: и паук, и муха, и червь — и что гораздо сложнее сотворить червя или паука, чем храмы и башни царские, мосты и дороги и все остальное, руками человеческими сделанное, и все же меня, паука огромного, презрел и не дал мне быть совершенным в роде моем!

Я прощаю тебе, что ты к славе жаден, что отцовскую исповедь скрыл, чтобы предо мной славу и богатство получить от логофета, чтобы я не

отобрал у тебя первенство.

Вот так было и таким образом было, ибо не было по-иному.

21

Знаешь ли ты, Философ, что я делаю, пока ты спишь?

Знаешь ли ты, какой грех я на себя беру ради любви неразделенной, братской?

Знаешь ли ты, Философ, что я делаю, пока ты спишь?

Я перемещаю вселенную. Середину всего мира я передвигаю на одну пядь, на шаг муравьиный, дабы скрыть ее от очей дьявольских, дабы невидимым сделать видимое, надпись вторую, вторую душу письма, сочинения зловещего. Всего на чуть-чуть передвинул я центр мира, и он уже не центр, и письмо тайное исчезает, не видно его. Все, что мы видим, свидетельствует о невидимом. Но все, что переходит из видимого в невидимое, навсегда исчезает, и никто никогда не сможет найти его, увидеть его, созерцать его.

Ибо вошел я с ключом блудным брата моего в комнату в ту же самую ночь; вошел один, без страха, с коленями твердыми как камень, ибо не боюсь я теперь ничего. Вошел и предстал перед дьяволом, чтобы его глазами увидеть, прочитать книгу. Но и вы, бедные и благоутробные,

увидите, что я увидел. Только встаньте на место дьявольское, по правую руку от сочинения, и прочитайте, что написано под Словом видимым: *Царь Соломон — обманщик, он разбойник, как и всякий властитель, ибо не умеет он составлять Слова, ибо Слово — мягко, а власть — тверда, ибо мудрость — сладка и возвышающа, а власть — ядовита и уничижающа. И Соломон — не поэт. Чужое «я» в устах его пребывает, а он пророчествами и мудростью чужой украшает себя, ибо всякая власть хочет быть пупом земли.* Подпись: *Я.*

Вот так, о благоутробные и бедные! Вот что я увидел, самую тайную истину на свете глазами дьявольскими я увидел и узнал: не Соломон был сочинителем Слова, ему приписываемого, а некий неизвестный поэт, продавший ему за пригоршню золотых свою мудрость, чашу свою, чтобы прожить!

И только я всего на шаг отошел от дьявола, как запись тайная стала невидимой; но возвратись к нему, и опять ее увидишь! Ибо только он, дьявол, знает, кто есть истинное «я» каждого Слова.

Знаешь ли ты, Философ, что я делаю, пока ты спишь?

Я перемещаю целую вселенную, делаю ее неви-

димой для дьявола, чтобы он без зрения остался, и никакое бремя не тяжело для рук моих. Разве тяжело носить крылья птице, если они ее потом в небесах носят? Тяжело ли нести бремя, которое тебя несет и возвышает? Я, паук черный с крестом на спине, плету. Я в комнате. Часть за частью, камешек за камешком вынимаю из мозаики, Единое разбиваю на два, на три, на много, делю Единое и опять выкладываю, выстраиваю Единое. По пяди, по шажку муравьиному, к западной комнате, к буквам, которые цифрами сделались. Камешек по камешку я разрушаю вселенную, разбиваю, как разбилось зерцало царское, а потом новое составляю. Я, паук, создатель наказанный: я, Сказитель, я, Мозаичник. Скрипи, визжи, вселенная, но я нитку за ниткой распутаю паутину вселенскую, узлы ее, и из утробы своей, через уста свои, новую сплету.

Я спасаю, Философ, голову брата моего, единственного родного человека на лице земли. Для него перемещаю я вселенную. Я передвину ее за одну ночь, потом положу книгу в ложную середину, и когда утром ты придешь с царем, чтобы показать ему чудо, ты лишишься милости его. Очи дьявольские не достигают до этого места; я только что проверял. И уже никто никогда не

узнает, где середина мира, пуп земли, и что было написано в зловещей книге, принесшей нам столько несчастий.

Я, Архимед из Архимедов, нашел точку, с помощью которой переверну горы, звезды, целые миры. Любовь моя к брату — это крупица, передвигающая горы.

Ничего я больше не боюсь, ибо кого может бояться тот, кто передвигает вселенную? Знаю: в миг, когда я поставлю последний камешек на место, в центр новой вселенной, я превращусь из паука в муравья черного, ибо креста лишусь, середину света помещу в место ложное. И муравьем буду до века: муравьем черным, которого Господь не только видит на черном мраморе в самую черную ночь, но и слышит звук шагов его!

* * *

И так и случилось, возлюбленные.

На следующий день логофет встал так, что слился с дьяволом на фреске, сплотился с ним и ничего не видел. Ибо вселенная сдвинулась на пядь.

А Философ ничего не сказал и совсем не выглядел удивленным.

Он сам собрался в дорогу, ибо скарба никакого у

него не было, ибо взял он с собой только науку от неба и от земли, из этой вечно открытой книги. А когда я со слезами на глазах вошел к нему, чтобы исповедаться, признаться во всем, я увидел, что света вокруг него нет, ибо не вижу я его больше. И креста на спине у меня больше не было. Я пал на колени перед ним в молитве горячей, но ничего не сказал; только плакал. А он, будто зная все наперед, лишь посмотрел на меня добрым взглядом, погладил меня по волосам и сказал:

— Тот, кто хоть раз посмотрит глазами дьявольскими, его учеником станет, и все слова по-другому ему видеться будут, пока у него душа соединена с телом. И поэтому я еду в Рим, Богу исповедаться, ибо и я смотрел сквозь глаза нечистого и согрешил, ибо видел нечто, что на самом деле одна видимость, иллюзия, а иллюзия — дело нечистого; я иду, чтобы укрепить веру свою в Бога, если еще не поздно.

И уехал в Рим искать какой-нибудь новый пуп земли, новый центр вселенной. И когда умер, я узнал об этом, ибо получил письмо от него, написанное рукой его, но об этом вы уже знаете.

И я слышал, что, когда он умер, собрались все епископы и черноризцы и хотели оказать ему почести при погребении. И один из них сказал:

«Давайте откроем его гроб и посмотрим, цел он еще или уже началось тление». И долго они старались, но ничего у них не вышло, не смогли они открыть его гроб, такова была воля Божья. Но изнутри доходил странный звук, будто шуршание книг, страниц бесчисленных, будто слова золотые двигаются, создаются и переписываются. И так, как свидетельствует один его биограф, составивший житие Философа, «гроб положили в гробницу справа от алтаря церкви Святого Климента, где сразу начали происходить многочисленные чудеса».

А мы?

У нас все было так хорошо, как это только возможно. Лествичник, брат мой, сохранил голову на плечах, я остался Сказителем и Мозаичником, дочь логофета выздоровела, и проклятие было снято, ибо вселенная передвинулась и дьявол больше не видел то, чего не нужно видеть в Словах.

И все были довольны: Лествичник опять стал Буквоносцем, перестал меня бить, логофет смирился, и все слова получили только по одному значению, в каждом сочинении осталась только одна душа.

И все одинаково видели, и я также. И не видели

невидимое, то, что нас воспламеняет, что мы ищем, а Бога просим, чтобы не удалось найти его!

Но: этот свет! Увижу ли я этот свет вышний еще раз, пусть и в другой жизни?

Конец первой книги и Богу хвала и слава!

Часть вторая
Ключ

КНИГА «ПУП ЗЕМЛИ»

Я пропал. Теперь я посвящу себя Богу.

Меня зовут Ян Людвик, я артист цирка. Я пишу это ночью, перед тем как выехать поездом из Будапешта в Скопье; я сложил все вещи, и рано утром я тайком уйду из самого известного цирка Европы и отправлюсь на железнодорожный вокзал.

И оттуда — домой. В центр мира.

Домой? А чего я ищу дома, после почти пятнадцати лет, когда у меня уже ничего там нет? Отец мой давно умер (умер через два месяца после моего отъезда, потому что не смог смириться с тем, что его сын — *циркач),* мать упокоилась за несколько лет до него, а мой брат — бухгалтер в одной маленькой фирме, не женат и весьма пристойно зарабатывает. С момента рождения я чаще разговаривал с Богом, чем с ним, и думаю, что он помолчаливее Его.

Я в некотором роде Архимед. Ищу точку, всего

одну точку, достаточно устойчивую, чтобы я мог на ней стоять. Я должен найти центр мира и встать там, чтобы не упасть; в цирке для меня больше нет места, уже с месяц, с тех пор как я потерял способность исполнять всяческие головокружительные эскапады. Я попросту одним утром проснулся с ощущением потери средоточия мира в себе и понял, что больше не смогу исполнить ни единого трюка. Даже по земле ходить для меня и то подвиг: я едва удерживаю равновесие. И поэтому я должен отправляться домой.

Я завтра уеду, увижусь с Люцией Земанек, заберу свои вещи, оставшиеся у нее, а потом предамся Богу. Только Бог принимает тех, кто падает, потому что когда-то они стояли прямо. В тот же день я расквитаюсь с Люцией, а потом покаюсь, чтобы эффект был посильнее, как в книжках.

Такая вот жизнь.

Я как-то раз уже убегал от мира, отступал, оставляя место тем, кто сильнее, отправлялся в добровольную ссылку. И сейчас никто не знает, что я сам уехал, все думают, что меня выгнали, и это хорошо для тех, кто так думает, потому что эффект сильнее, а людям нравятся сильные эффекты, и они хотят, чтобы их жизнь — жизнь

тех, кто страдает, — была как в книге. Вообще-то, происшедшее было похоже на изгнание, хотя изгнанием и не было, суть изгнания — сделать так, чтобы ты ушел сам, освободил им место. Все изгнания таковы, потому что изгоняет тот, кто сильнее, а уходит тот, кто слабее; ужас в унижении, в осознании того, что ты отступил, пошел на попятную, что у тебя отобрали что-то твое, твое пространство.

Я все время говорю *они.*

А кто эти они?

* * *

В начале была Люция П., теперь Земанек, моя Люция. Я любил Люцию, люблю и сейчас, несмотря на то что она со мной сделала. Она моя ровесница, чуточку глуповатая, но очень работящая, всего достигала работой. С первого дня, когда мы только пошли в гимназию, с первого класса, я говорил ей, что люблю ее. Я раз написал стихотворение и передал ей (на уроке биологии), она прочитала, покраснела, потом смяла листок, и мне показалось, что ей хочется его спрятать, проглотить, сделать так, чтобы его не было.

Я писал ей стихи три года, а она отталкивала и избегала меня. Она считала меня чокнутым,

всякий талант людям кажется, так или иначе, сумасшествием. Так и Люция: она боялась меня, а я знал от ее подружек, что она тайком расспрашивает их обо мне, хочет узнать, из какой я семьи, чем занимаются мои родители и есть ли у меня девушка.

Девушки у меня не было, я любил только Люцию. И этого довольно для кратких заметок, которые я пишу, потому что всю мою жизнь можно на самом деле уместить в несколько предложений. В этих предложениях самым важным словом опять-таки будет: точка. На которой можно стоять, не падая. И так, чтобы тебя не вытеснили, не вытолкали те, в чьем распоряжении весь мир, а у тебя только точка.

С Люцией у нас никогда не было того, что бывает между мужчиной и женщиной, хотя я тогда желал этого, как никогда уже потом ничего не желал в жизни. Мне было семнадцать лет, и Люции столько же; мы с ней были уже в третьем классе, и позади у меня было уже почти три года безуспешного ухаживания; она всегда сидела впереди меня. И я смотрел ей в спину; смотрел, как она дышит, смотрел, как у нее вздымается грудь, смотрел сзади, как расширяется ее грудная клетка («корабль, не взятый в абордаж», написал

я в одном стихотворении); и я видел, что она знает, что я гляжу на нее, и что именно поэтому она совершает мириады маленьких и ненужных движений, сводящих меня с ума. Они сводили меня с ума, потому что она совершала их *нарочно* (вообще Люция прекрасно сознавала, что красива, причем у нее было абсолютно прозрачно *расчетливое* отношение к собственному телу, и цену его красоты она и набивала вот этими *ненужными* движениями, выставляя части своего тела на обозрение), но мне это не мешало, совсем наоборот: я воспринимал это как знак, обещавший мне, что когда-нибудь, рано или поздно, я заполучу Люцию. Я весь пылал, как может пылать только семнадцатилетний юноша, и, к сожалению, я уже никогда в жизни не буду так сгорать страстью к другому телу. Люция любила без нужды запустить пальцы себе в волосы и огладить их прямо перед моим носом; любила без всякой на то причины провести кончиком пальца замысловатую линию по шее, по позвонкам; любила еще, облокотившись о стол и повернувшись в полупрофиль, подпереть носик кончиком карандаша, будто бы поглощенная рассказом учителя. Она упорно не принимала мои приглашения сходить куда-нибудь; говорила, что не гуляет с молодыми

людьми, что они ее не интересуют, что она очень занята в гимназии, что хочет побыть одна, что должна делать уроки.

И так вот Люция становилась для меня все более близкой, отдаляясь от меня, а моя страсть становилась все сильнее с каждым ее отказом. Наступили третьи каникулы, третье мучительное лето, когда я по два месяца не видел Люцию, потому что она уезжала в деревню к своим бабушке с дедушкой, и я уже терял надежду, что мне когда-то, хоть когда-нибудь, удастся сблизиться с ней. Целыми ночами я мечтал, как я услышу ее запах, дотронусь до нее, расчешу ей волосы, целыми ночами грезил, будто Люция — моя жена и я не разлучаюсь с ней, что я защищаю ее ото всех, а весь мир будто бы настроен враждебно по отношению к нам двоим. Но все это были только фантазии, которым я отдавался с радостью, заменяя ими реальность.

Единственный физический контакт, который был у меня с Люцией за все эти три года, был на уроке физкультуры; юноши занимались на перекладине, а девушки играли в баскетбол. У меня на перекладине получалось лучше всех (я был настоящим виртуозом!), но физкультурник меня не любил; с первого урока он всем своим

видом показывал, что ему наплевать на мои успехи на снаряде. У этого двадцативосьмилетнего крепкого мужчины были разные глаза: один глаз был зеленый, а другой — синий (я всегда боялся его, потому что мне казалось, что он составлен из двух разных людей), и ему было смешно, что я относился к упражнениям на перекладине как к искусству, а не как к средству укрепить и показать свою физическую силу. Однажды он даже перед всеми сказал, что я должен относиться к перекладине как Тарзан, а не как старая бабка, которая думает, что перекладина — это просто большие пяльцы, и что у нас урок физкультуры, а не вышивания. Все смеялись, а Люция больше всех. Она так хохотала, что ее пришлось успокаивать, а физкультурнику так понравилось, как Люция смеялась, долго и звонко, что он повторял свою шутку и на следующих уроках, но ожидаемого эффекта не получилось, хотя Люция каждый раз и смеялась как заведенная. В этом было что-то извращенное: он как будто обязан был ее рассмешить, хотя делал это без выдумки, а она как будто была обязана показать, что ей смешно, потому что *именно это от нее ожидалось.* Но на том уроке, как только мы выстроились перед перекладиной, физкультурник скомандовал нам поменяться:

теперь мы должны были играть в баскетбол, а девчонки заниматься на перекладине. Его кто-то вызвал с урока, что случалось нередко (физкультурник был самым что ни на есть спекулянтом и подторговывал всем, чем придется), и он сказал, чтобы Павел Земанек остался за старшего и следил за тем, как они тренируются. Земанек встал у перекладины, а все парни принялись ему кричать; мы все ему страшно завидовали, потому что помогать девочкам означало поддерживать их за талию и подсаживать их, чтобы они могли достать до перекладины, и страховать их таким же образом при соскоке, держа за талию. (Потом в цирке я делал это миллион раз, но не с Люцией, только с другими женщинами.) Мы все заорали, засвистели, будто сошли с ума; каждый раз, когда Земанек подсаживал кого-нибудь из девочек на перекладину, мы делали одно и то же (кричали ему: «О-о-о-о-о-о-о-о-оп!»); девчонки краснели, просили нас перестать, некоторые даже ругались, обзывали нас кретинами. Люция стояла в строю и ждала своей очереди; я взглядом просил Земанека, умолял его, от всего сердца желал, чтобы с ним что-нибудь случилось: чтобы его разбил паралич, чтобы он упал, чтобы его убило молнией, да что угодно, в крайнем случае чтобы ему захотелось

до ветру, главное, чтобы он ушел и поставил меня на свое место взамен себя, потому что шеренга быстро укорачивалась и Люция была уже рядом с ним, Земанеком. И он уловил мой взгляд, понял, чего я хочу, и, когда до Люции оставалось всего двое, позвал меня:

— Людвик, подмени меня, мне нужно кое-куда.

Бедный Земанек, он не понял, какую плохую услугу он мне оказал. Ребята так и покатились со смеху; похватались за животы и попадали на пол, стуча кулаками по паркету; и девочки точно так же захохотали, а кто-то крикнул:

— Земанек, дотуда донесешь?

Земанек мирно пошел в туалет, а я встал к перекладине. Вот тогда это и случилось: единственное прикосновение за три года. Я весь вспотел (ладони были совершенно мокрые), ноги дрожали, колени ослабли, будто я был тяжело болен; Люция равнодушно посмотрела на меня с улыбкой, в которой читалась жалость, и с каким-то воинственным цинизмом (молодые мужчины не ведают, что это верный знак расположения) сказала:

— Ну что, добился своего? Ведь Земанеку на самом деле никуда не нужно было.

И медленно подошла к снаряду, я взял ее за

талию, подсадил ее, и в следующий момент она уже держалась за перекладину.

До сегодняшнего дня я помню все: и запах ее черного трико, в котором она выглядела просто королевой, я помню, что у нее задралась майка, и я впервые в жизни увидел пупок Люции, зрелище, которое потом преследовало меня всю жизнь и порождало во мне странные и не совсем ясные чувственные желания; я помню запах ее волос, схваченных в хвост, падавший почти до талии (они пахли корицей), а волосы, когда я подсаживал ее, мазнули меня по лицу; я помню и ее влажные руки, обхватившие меня вокруг шеи, когда она делала соскок, что было совершенно ненужным движением с ее стороны. Именно так: в тот миг, что длился ее прыжок, она неожиданно обняла меня за шею и наши щеки вдруг соприкоснулись; в следующий момент она повернула голову ко мне, и наши взгляды встретились; мы смотрели друг на друга, ее лицо было совсем рядом с моим, я видел, как учащенно раздувались ее ноздри, как у заморенной лошади, и чувствовал ее дыхание, она смотрела на меня так, будто я унизил ее, будто еще раз хотела сказать: «Ну что, добился своего?» — взбешенная и в бешенстве допустившая эту бессмысленную близость (когда

она обняла меня за шею), будто желая показать, что допускать или нет близость будет решать только она, когда захочет и если захочет, а не я; она учащенно дышала, облизывая языком пересохшие губы, и вдруг сказала мне:

— Я уже соскочила, можешь меня отпустить!

И только тогда я сообразил, что все еще держу ее за талию, хотя в этом уже не было нужды. И в этот момент она убрала руки с моей шеи.

И это было все.

Я и теперь думаю, что в том, что случилось и не случилось между мной и Люцией, есть большая часть и моей вины. Я думаю, что я не сумел *прочитать* Люцию, не сумел распознать язык ее тела. Мне очень близка идея, что весь мир — это просто текст, который нужно прочитать, и никакие другие философии тут не помогут. В цирке я много читал (довольно беспорядочно) и записывал понравившиеся мне мысли в тетрадку. Одна мысль, которая мне показалась очень верной и которую я выписал (к сожалению, не помню, из какой книги), гласила: «О бог солнца, твой свет — такая же загадка для всей земли, как знаки клинописи». Так и Люция осталась для меня тайными и неразгаданными письменами, потому что я был незрел как мужчина; Люция

точно так же прекрасно осознавала, что была *со мной;* ее тело с течением времени приняло те формы страсти, которые любой мало-мальски опытный мужчина всегда распознает в любой женщине, как бы она ни скрывала их под одеждой. Но тогда я не умел читать азбуку тела, хотя в своих смутных представлениях и сравнивал ее тело с надписью на неизвестном языке.

В тот день я не пошел в душ и не умывался, чтобы запах Люции остался на руках и на шее. Целую ночь я нюхал свои ладони и на подушке до утра, как страж могучей армии, охранял запах Люции.

* * *

В жизни человека все похоже на неизвестное письмо, на сообщение, смысл которого открывается лишь потом. Наша жизнь — это *чтение*; каждое происшествие, кроме того, что непосредственно происходит, должно быть наполнено смыслом; жизнь сама наполнит эти пустоты смыслом, когда для этого придет время, и мы *читаем* свои ошибки, падения или подвиги. Но это всегда происходит *потом.* С этой точки зрения наша жизнь — одно сплошное безупречно упорядоченное повествование, рассказ, который написан заранее, клубок, который разматывает-

ся, — когда придет его время.

Так вышло и с одним происшествием, на которое я, когда оно случилось, не обратил должного внимания и которое позже существенно повлияло на всю мою жизнь. Мне кажется, это было во втором классе, и опять-таки на уроке физкультуры. К тому времени моим акробатическим искусством на перекладине восхищался уже весь класс, я выделывал разные головокружительные штуки и был чем-то вроде героя (для всех, но не для Люции, которая упрямо не обращала на меня ни малейшего внимания; я уже сказал, что это упрямство я тогда понимал не так, как следовало, то есть не как скрытую *симпатию,* потому что был слишком честен и неопытен и не разбирался в принятых обществом ритуалах маскировки своих чувств, то есть для меня упрямство было упрямством, и ничем другим). После урока Люция ко мне подошла и сказала, что хотела бы со мной поговорить. Она спросила, не мог бы я ей помочь в одном деле, которое она должна была сделать; я поинтересовался, о чем идет речь. Она спросила, слышал ли я о Партии народного духа. Я ответил, что не слышал и что политика меня не интересует. Она поглядела на меня удивленно и спросила:

— Даже политика этой Партии?

Я сказал, что не интересует даже и политика этой партии. Я сказал, что пишу песни, занимаюсь гимнастикой на перекладине и играю на саксофоне (молодые в этом возрасте думают, что они умеют все) и что-нибудь одно из этого станет моей будущей профессией. Сказал, что джаз для меня очень много значит, что после окончания гимназии, скорее всего, уеду из страны (чтобы не идти в армию) и что, вероятно, буду учиться в академии джаза в Берне. Она смотрела на меня с удивлением и разочарованием, и я только потом узнал, что Люцию ужаснул мой *космополитизм*; тогда она спросила меня, неужели мне не нравятся старые македонские песни. Я ответил, что нравятся, но то, что делают из них современные фолк-музыканты, — это часто самый настоящий китч. А я из них сделаю джаз. Тут она спросила меня, какое отношение имеет джаз к македонцам. И разве не это китч, когда тот, кто вырос под звуки зурны, свирели и барабана, хочет играть не свою музыку, а музыку негров? Разве это не то же самое, как привить авокадо к македонской черешне? Я ответил, что джаз — это универсальная музыка, как кока-кола — универсальный напиток, и что нужно использовать его

всеобщность, в его одежды нарядить богатство нашего фольклора. И сказал, что из джаза уже давно выветрилось его негритянское начало, первоначальное фольклорное содержание, осталась только рамка, универсальная музыкальная форма, которую нужно наполнить нашим фольклором, да и не только нашим, а фольклором всего мира, потому что богат не только наш фольклор, много еще на планете бессчетных и неизвестных богатств. И тогда джаз станет универсальным духом планеты, всемирной музыкой будущего, как и классическая музыка; форма джаза — вселенская, универсальная, а по сути своей — интеллектуальная, а интеллект — вещь не национальная, а, скорее, космическая. Но Люция не соглашалась; спорила со мной и говорила, что нашему фольклору не нужно никаких всеобщих одежд, что нужно только хранить народный дух, чтобы люди следовали народным обычаям, сохраняли и *исполняли* народные песни и танцы и что тогда эта музыка переживет джаз. И что фольклор — это все, что у нас есть, и поэтому его нужно охранять. Это наша *патриотическая* обязанность.

Я не хотел тогда сильно спорить с Люцией и объяснять ей, что очень часто за патриотизм

люди принимают такой особый культурный *примитивизм* и живут, как в полусне, в убеждении, что они патриоты; и только через много лет понимают, что примитивизм народных обычаев (в позитивном, культурном смысле этого слова) не определяет их патриотизм, что это просто своего рода культурное алиби, знак того, что они *принадлежат* к некоему движению. У меня не было ни желания, ни силы объяснять ей, что голое использование фольклорных форм обязательно ведет к их *политизации* и *идеологическому злоупотреблению*, к антихудожественному, провинциальному, местечковому духу, требующему политической поддержки, чтобы остаться в живых, не погибнуть в живой конкуренции мировых художественных форм. Это было известно еще со времен нацизма; в их случае фольклор превратился в политический обряд фетишизации яиц Великого Предка, чьим единственно возможным воплощением становится Великий Диктатор; я думал, что она меня даже не поймет, потому что Люция интеллектуально была довольно ограниченной, хотя очень работоспособной и чувствительной. Я не хотел объяснять ей, что в этом мире все связано со всем; я удовлетворился лишь тем (не следует забывать

тот факт, что я все-таки за ней ухаживал и что ценой этого ухаживания была и некоторая интеллектуальная чрезмерность, желание произвести впечатление человека умного и незашоренного), что сказал ей, что верю в реинкарнацию и что для меня границ между культурами и расами не существует именно по причине этой веры. Она смотрела на меня с неприязнью и недоверием. Потом сказала:

— Ну хорошо, Ян Людвик. Ты хочешь руководить партийным кружком физического воспитания?

Она мне объяснила, что в Партии большое внимание уделяют физическому совершенству молодого поколения, потому что нет здорового народного духа без здорового народного тела; кроме того, сформированы и кружки любителей народных танцев, и дискуссионные группы по вопросам современного народного искусства. Я полуцинично спросил (этот половинчатый цинизм уже был знаком того, что мне не все равно, что я начинаю терять Люцию, ведь у нее уже были друзья и *там*, а не только в гимназии, где был я!), нет ли у Партии желания организовать кружок по обучению джазу и курению марихуаны. Она (совершенно серьезно, не поняв, что я шучу) ска-

зала, что нет. Я сказал, что не могу вести никакой кружок, потому что я не член этой партии. Тогда она вынула листок, на котором было написано «Заявление о вступлении» и сказала:

— Заполни вот это.

Я посмотрел на бланк: там был напечатан ужасно патетический текст, который начинался со стоявшего вверху слова «я» (позже я часто размышлял о значении местоимения «я» в партийной и общественной жизни): «Я, потрясенный и опечаленный тем, что происходит теперь со здоровым народным духом и обесчещенным народным искусством, вступаю в Партию здорового народного духа и обязуюсь днем и ночью работать над подъемом этого духа до высочайшего уровня, дабы возвратить ему честь и достоинство и…» Все было уже заполнено, нужно было только поставить подпись внизу; пустой оставалась только одна линия, и человеку достаточно было только нацарапать свое имя, чтобы стать этим «я» из начала текста.

Есть что-то чудовищное, глубоко античеловеческое в самом акте вступления в некую партию, некий клан, вообще некую общественную группировку. При этом самое чудовищное — это как раз эти бланки, начинающиеся с «я», которые

мы называем *вступительными заявлениями*. Кто этот «я»? Понятно, что это «я» — просто пустое место в тексте, своего рода *черная белизна*: его заполняют сотни, тысячи имен тех, кто подписывает такой бланк. Так это «я» совершенно незаметно перерастает в коллективное «я», в «мы». Тот, кто подписывает, не замечает этого перехода от «я» к «мы», потому что перед ним только свой бланк; таким образом, мысль, что тот же самый текст существует одновременно и с другой подписью, совершенно вне его поля зрения, в этом «стесненном» восприятии и сведении общего «я» к собственному «я», с именем и фамилией, и состоит трюк управления индивидуумами со стороны власти. Власть по сути своей безлична; она есть «я» в той же мере, насколько индивидуально «я», участвующее в групповом сексе, где сексуальные достижения другого становятся частью моего «я». До сего дня при мысли об этом общем «я» у меня мороз бежит по коже. Я никогда не мог жить в коллективе (этим объясняется и потребность почти ничего не рассказывать здесь о моей семье); у меня вызывают отвращение даже общественные туалеты, автобусы или поезда; мне становится дурно от одной мысли, что я сижу на стуле или на стульчаке унитаза, на котором

до меня сидели тысячи, даже если его полностью дезинфицировали и стерилизовали.

Но больше всего, когда я думаю об этих бланках, меня интересовала мысль о *реальном* «я», составившем этот формуляр. Кто этот «я», настоящий автор текста на бланке? Кто этот всегда скрытый аноним, говорящий о себе «я», а потом это «я» превращается в клетку, в тюрьму, в которую этот некто, автор текста, загоняет тысячи различных «я», чтобы использовать их в своих целях? Существовали опасные аналогии между народным искусством Люции и политической игрой обряда общности, и я это подозревал, но тогда еще не понимал. Что это за верховное «я», которое перерождается в мое «я», в «я» Люции, Земанека, всех тех, кто подписал? Кто тот безобразный бог, который входит в меня своим политическим фаллосом, фаллосом моей подписи, но и я вхожу в него, и разве в подписании такого бланка, в проникновении его «я» в мое, нет большой дозы извращенной *(гомосексуальности*, называемой властью? Кто этот анонимный диктатор моих мыслей, чувства которого я, подписав, обязуюсь разделять, считая их своими собственными (не следует здесь недооценивать функцию подписи как *гарантии*), таким образом становясь его

шизофреническим альтер эго? Кто и почему скрывается, если я уже подписал, что я *буду* с ним согласен?

Тогда я всего этого не знал, не был детально знаком с технологией власти, но интуитивно (интуиция — прекрасное орудие познания для молодых) чувствовал, что не нужно подписывать бланк, который мне подсовывала Люция. Потому что я чувствовал глубокую аналогию между сексом (которого с Люцией у меня еще не было) и политикой; чувствовал, что и в любви к Люции есть доля этой политики, этих стратегий. И отказался. Она смотрела на меня.

— Что же я скажу там, в Партии? — спросила она.

— Скажи им, что я не хочу, — ответил я. — И тебе советую не подписывать, — добавил я.

— Поздно, — сказала она, — Я уже активистка.

Я спросил Люцию, не умнее ли заниматься любовью со мной, чем быть их активисткой.

— Ян Людвик, — сказала она, — ты морально полностью уничтожен; ты просто моральная развалина. Твой джаз отобрал у тебя патриархальную мораль, разоблачил тебя; ты не знаешь, что говоришь. Твое искусство без здорового народного духа — это лестница, стоящая на облаке,

просто перебирание ногами, топчущими народное бытие.

Я сказал, что все равно не подпишу.

Но много лет потом я думал над тем, что сказала мне Люция. На своем саксофоне, уже в цирке, я пробовал играть македонскую народную песню; играл ее на инструменте, считающемся классическим джазовым инструментом. И заметил нечто странное, что меня беспокоило: саксофон *удовлетворительно* исполнял эту нашу народную песню; но он исполнял ее *до определенных пределов* и не далее. Что-то в ней оставалось невысказанным этим инструментом, как будто он был сделан с *другой* целью. И до сего дня я не уверен, была ли Люция права; в чем я уверен, так это что в других условиях (если бы она не была членом Партии, например) я бы легче согласился с ее тезисами о здоровом и новом народном искусстве. Если бы она не давила этой *политической* силой, я бы согласился с ней в вопросе о народном искусстве, если бы она дала мне *самому* написать заявление о вступлении в Партию, если…

Я точно помню, что потом сказала Люция:

— Ты рискуешь своим будущим, Ян Людвик. Я *приказываю* тебе подписать и идти со мной.

Она была страшно сердита; похоже было, что

она до разговора со мной совершенно не сомневалась, что сумеет выполнить партийное задание — *заполучить* меня. Ее гнев был мне приятен, хотя мне и не было все равно, что она считала, что моя *любовь* к ней упростит ей выполнение партийного задания! В этом был *расчет*, она привлечет меня к ним, используя то, что я ее люблю. Но, с другой стороны, то, что она *приказала* идти с ней, показало ее гневное бессилие, и это было приятно. (Боже, неужели я был настолько незрел и глуп, что не понял, что именно Люция хотела этим сказать: что хотела, чтобы я был с ней в единственном *общественно приемлемом* качестве — как *товарищ по Партии;* неужели я был настолько глуп, что не понял, что это было единственной формой, в рамках которой мы тогда могли быть вместе, тогда, когда партийное сознание было сильнее даже физиологических потребностей?) Чтобы ее развеселить, я сказал, что подпишу. Я взял бланк, перечеркнул везде этот «народный дух», вместо него вписал «Люция» и подписался. Получился вот такой текст:

«Я, потрясенный и опечаленный тем, что происходит теперь с обесчещенной ЛЮЦИЕЙ, вступаю в Партию ЛЮЦИИ и обязуюсь днем и ночью работать над подъемом ЛЮЦИИ до вы-

сочайшего уровня, дабы возвратить ей честь и достоинство и...»

Люция прочитала, покраснела — и я получил пощечину. Она, вся в слезах, побежала по коридору, а я впустую звал ее, чтобы извиниться.

Когда Партия Люции победила и когда мы перешли в последний, четвертый класс гимназии, начал проявляться истинный смысл этого происшествия. Люция была права: я мог уже тогда обеспечить свое будущее, просто подписав текст, составленный другим; нужно было только стать частью коллективного, верховного «я» — и все было бы как надо. Между тем я оказался на распутье. Партия Люции решила *дифференцировать* молодежь; требовалось *определиться,* и для этого во всех школах началась широкая акция по «анкетированию». Люция еще раз подошла ко мне и сказала:

— Еще не поздно *определиться.*

Понятно, моя мужская суетность не позволяла мне сделать этого; я сказал ей, что не поменял своего отношения к народному духу. Она сказала:

— Как хочешь, — и протянула мне газету.

Под рубрикой «Культура» было напечатано заявление министра культуры. «Нет средств на джаз-фестиваль», — сообщил он, а в тексте было

сказано: «В этом году, впервые за пятнадцать лет, не состоится городской джаз-фестиваль, на котором предполагалось выступление известных музыкантов со всего мира».

— Я думаю, теперь конец и твоей стипендии для обучения в Берне, — сказала Люция.

Очень быстро у Партии Люции появилась сильная молодежная организация; по вечерам молодежь из ее Партии ходила под окнами по темным улицам с зажженными свечами и отмечала, как тогда говорилось, «пришествие свободы». Провозглашали лозунги, в которых прославлялся прогресс народного духа, освобождение от ложных ценностей прошлого, кричали: «Да здравствует народное искусство!» — пугая всех тех, кто, как они считали, не определился. Однажды вечером я увидел на моей улице, прямо под моим окном, и Люцию; она шла в первом ряду, со свечой в руке, освещавшей ее красивое лицо, и кричала: «Да здравствует свобода, да здравствует новое народное искусство!» Они обошли вокруг моего дома, кто-то бросил камень в окно комнаты, стекло разбилось, и я увидел, что Люция побежала, поспешила вперед. Потом они пошли к дому, где жил Павел Земанек; кричали всякие гадости про его отца, говорили, что он

предатель, не помнящий родства, оставивший семью, и что его сыну Земанеку, его отродью, еще перекрасят яйца; и потом исчезли, распевая какую-то свежеиспеченную народную песню, отправились по новому адресу.

Земанек подписал на следующий день, хотя мы вместе играли джаз.

Так и началось все это: моя любовь к Люции и ненависть к ее Партии. Однажды я сказал ей:

— Люция, я пишу песни о тебе; я пишу «Песнь песней» о тебе, а в эту песню вплетается ужасающий хор твоей партии.

На следующий день меня вызвал физкультурник, наш классный, и сказал мне, что, если я буду и дальше говорить такие гадости про Партию, тем более про партию, *к которой я не принадлежу,* он выгонит меня из школы. Понятно, что я ничего не сказал Люции, потому что не верил, что ей важнее Партия, которая пишет ей речи и характеристики, чем молодой человек, который ей, как женщине, пишет песни.

И до сегодняшнего времени меня мучит один вопрос: вот я уже упоминал Песнь песней. Я всегда спрашивал себя: почему в Песни песней, кроме *Него* и *Нее,* есть еще одно действующее лицо — *Хор*? Не было ли и тогда такого, что между

двумя вставала толпа? Потому что там полно вот таких глупостей; *Она* говорит, обращаясь к *Нему. Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?* А вместо *Него* отвечает Хор. *Хор: Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских.*

Этот обычай вмешивать Хор в разговор Возлюбленной и Возлюбленного проходит через всю Песнь песней, и мне он непонятен, потому что иногда Хор начинает грубить, вмешиваться в интимные вопросы, приказывать, что выбрать, а от чего отказаться. В одном месте (5,9) Хор даже говорит Возлюбленной: *Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?* Как будто хочет «привести ее в чувство», отвратить от того молодого человека, который Хору не по нраву! Это верх безобразного вмешательства Хора в частные дела.

Такой вот Хор.

* * *

Я уже упоминал Земанека, покорного, как корова, которого я очень любил и который был моим лучшим другом. Он был замкнутым, смирным, мухи не обидит. Отца у него не было; отец его погиб в какой-то элитной части в Африке (по-моему, в Египте); он был наемником в иностранной армии и бросил семью сразу после рождения сестры Земанека, чтобы стать солдатом. Так, по крайней мере, говорил Земанек. Сказал, что заработает на большой дом и вернется. Но не вернулся. Земанек жил в предместье в развалюхе, оставшейся от деда по материнской линии; жил там один, без матери и сестры. Я никогда так и не узнал, почему мать и сестра Земанека жили в другом конце города, в другом предместье. Мы с Земанеком часто ходили к ним обедать. Его мать, кроткая женщина, относилась ко мне как к сыну; от них мы шли гулять в город или бродили по ближайшим окрестностям и мечтали о женщинах, деньгах и путешествиях. Я по нескольку дней не заходил домой и ночевал у Земанека. Мы жили как боги: у нас ничего не было и в то же время было все, и никогда в жизни потом уже мне не было так хорошо. С Земанеком, если

было нужно, мы могли носить одну пару обуви на двоих, как говорится: если бы было нужно, он бы надел левый ботинок, а я — правый, и мы так бы и пошли в город. Кстати, так несколько раз и было, мы делали это из молодого желания посмеяться (смеясь над своей бедностью!), а люди смотрели на нас, открыв рот; раз над нами стали хохотать какие-то девушки, и я помню, что шутка с ботинками привела к тому, что они целую ночь гуляли с нами, а мы потратили уже все деньги и решили сводить их в кино, но туда нас не пустили, поскольку у нас двоих было только по одному ботинку; Земанек поговорил с ними, и мы сдали билеты и пошли в кафе. Пили вино, набрались как следует, так что я до сих пор так и не узнал, как мы добрели домой и где оставили девушек.

Земанек стеснялся своего деревенского происхождения, а городские дети задирали и дразнили его. Кроме меня. Но он все эти неприятности принимал с каким-то деревенским равнодушием, с деревенским упорством: он сам был живым примером того, что организм у крестьян выносливее, чем у других людей, что у них крепче нервы, что, в конце концов, у них и умственные способности лучше, что, когда им говоришь что-нибудь, у них в одно ухо влетает, а из другого вылетает и что

их философия спасительного терпения всегда приносит плоды.

С Земанеком нас сближала еще и музыка; нам обоим нравился джаз, и этим мы отличались от остальных, слушавших легкие новомодные шлягеры, фолк и поп. Мы для них были «интеллектуалами», потому что, несомненно (я и теперь так думаю), в рок-музыке, а особенно в джазе, доминирует интеллектуальный подход к мировым проблемам. Мы, то есть я и Земанек, даже мечтали создать какой-нибудь джазовый оркестр: он прекрасно играл на пианино, а я на саксофоне; в гимназии был еще один парень, который хорошо играл на контрабасе, и мы планировали вместе создать трио.

У Земанека была трудная жизнь: он рос без отца, с матерью и младшей сестричкой, и взвалил на себя бремя главы семьи. В нем было что-то от старика, некая печать преждевременной старости, хотя из-под морщин (он постоянно морщил лоб, и это да еще очки в дешевой оправе придавали ему вид молодого старика) проглядывало совсем детское лицо. Они были крайне бедны: Земанек пытался подрабатывать (после школы) и частенько помогал в одном кафе; платили ему гроши, но он работал прилежно и ходил туда

чуть ли не каждый вечер. Земанек мечтал, что в один прекрасный день разбогатеет, получит кучу денег в результате какого-нибудь каприза удачи. Строил миллиарды маленьких и больших планов: хотел открыть ферму и выращивать грибы, потому что для этого, как он говорил, не нужно никаких инвестиций, а в доме его деда сырости хватало; планов было много, и рассказывал он о них только мне, но результатом каждого из них должно было быть много-много денег. Но ни один из этих планов так и не осуществился. Раз я спросил его, зачем ему столько денег, и он сказал: «Чтобы построить большой дом и чтобы мы жили там все вместе: моя мать, моя сестра и я. И *моя жена»,* — добавил он.

На семнадцатилетие Земанек подарил мне книгу «Великий Гэтсби». Тогда мне стало ясно, что Земанек не сдастся, что он метит высоко. И что не будет стесняться в выборе средств, чтобы дойти до этой высоты. Несмотря на то что с высоты и падать больнее.

Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в одном разговоре Земанек не говорил мне, что ему нравится Люция. Я и во сне не мог представить, что уже тогда, когда мы занимались на перекладине, он тоже смотрел на нее тем же взглядом,

что и я, как мужчина, глядящий на женщину. Только позднее, уже в цирке, я узнал, что Земанек женился на Люции. Мне стало ясно, что у него не хватало духу рассказать мне, что он мечтал о Люции так же, как и я, страдал по ней, что тогда, на перекладине, уступил мне первенство, как христианин и святой. Мне было жаль Земанека, жаль за все, что произошло с тех пор, как я уехал; но при этом я его ненавидел, потому что после моего отъезда он показал себя совсем другим человеком.

Как бы то ни было, мы с Земанеком жили, как могут жить только двое семнадцатилетних юношей, а такое в жизни уже не повторяется; у человека и потом могут быть прекрасные друзья, но вместе с первой любовью уходит и первый друг. Моего первого друга звали Павел Земанек.

* * *

Владельцем кафе, в котором Земанек за мелкие деньги подрабатывал, был богатый молодой человек; он был на десять лет старше нас и быстро привязался к Земанеку. У него был спортивный мотоцикл, и он участвовал в спортивных состязаниях, в кроссах по пересеченной местности, как это тогда называлось. Земанек начал все чаще

ездить с ним на эти соревнования и помогать ему во время тренировок. Тренировки и гонки проходили за городом на холме, называвшемся Кроличий холм не потому, что там водились кролики, а потому, что по ночам туда ездили парочки и занимались любовью прямо в машинах, в страшной спешке.

Однажды Земанек сказал, что не сможет пойти со мной в кино, хотя я уже купил билеты и хотел сделать ему сюрприз, потому что тогда шел «Великий Гэтсби», фильм по его любимой книге. Мне это, конечно, не понравилось, я рассердился, а он сказал, что должен ехать с «боссом» на Кроличий холм, потому что тот пообещал ему после тренировки разрешить покататься на мотоцикле. Он позвал и меня, и я поехал не потому, что хотел, скорее из любопытства: я хотел поближе познакомиться с приятелем Земанека, который в тот момент значил для него больше, чем я. (Молодые люди в этом возрасте очень ревнуют к любому новому знакомому своего первого друга; хотя это скорее свойственно девушкам, но касается и юношей; с дифференциацией сексуальности, которая окончательно происходит, когда друзья расстаются ради девушек, исчезает и эта симпатичная и никогда более не повторяющаяся привязанность

между друзьями.) Мы поехали на Кроличий холм; босс Земанека (мне ужасно не понравилось, что Земанек никогда не звал его по имени, а называл только «босс», что значило, что он сам себя добровольно унижает и делает частью некой иерархии, признает, что *принадлежит кому-то,* а это и является основным условием вступления в Партию и продвижения по партийной линии, и этим приемом Земанек, как я позже узнал, вовсю пользовался!) был страшный хвастун, и нам пришлось выслушивать его похвальбу; он описал нам все гонки, в которых участвовал, и все свои победы над женщинами после гонок.

Мы сидели там и смотрели, как тренируется босс, как он въезжает на холмы, как преодолевает препятствия, как перепрыгивает через ямы. Через два часа головокружительных гонок он остановился и дал поездить Земанеку. Земанек вел мотоцикл медленно; босс смеялся и кричал, чтобы он прибавил скорость, но Земанеку не хватало смелости дать по газам. Когда он остановился, босс обернулся и спросил меня:

— Может, и ты хочешь попробовать?

Я не отказался, и счастье, что не отказался, потому что узнал еще об одной своей способности — таланте сохранять равновесие. Случилось это

так: я, чтобы показать, что я езжу лучше Земанека (хотя я в первый раз сел на мотоцикл), сразу надавил на газ, и в следующий момент переднее колесо мотоцикла поднялось в воздух; босс закричал, вскочил, испугался, но ничего не произошло: я продолжал ехать на одном заднем колесе без всяких проблем и ездил так несколько минут по ровному участку трассы, вперед и назад! Босс был в восторге; он сказал мне, что не видел до этого ничего подобного, что у меня необыкновенная способность поддерживать равновесие и что, без сомнения, я должен начать тренироваться в мотоакробатике. Я слез с мотоцикла и сказал, что я не хочу, что мотоциклы меня совершенно не привлекают, но что я могу научить Земанека ездить, как я. Земанек согласился, и мы следующие несколько месяцев постоянно ездили вместе с боссом на тренировки. Через какое-то время Земанек стал ездить на одном колесе почти как я, и уже люди стали приезжать специально, чтобы на нас поглядеть, потому что прослышали о нас и нашем искусстве. Приезжали и девушки, и мы очень при них задирали нос; сначала он проходил всю трассу за рекордное время, а потом я ездил по ровному участку на одном колесе. Босс нас очень полюбил, да и мы его.

Люция же так и не приехала на нас посмотреть, хотя в школе слух о наших акробатических и мотоциклистических способностях разнесся очень скоро. Я уверен, что она знала, потому что ее лучшие подружки приезжали поглазеть на нас, но она ни разу. Однажды мой приятель в коридоре стал расспрашивать меня, как прошла тренировка и правда ли, что я могу целых пять минут ездить на одном колесе. Люция стояла в метре от нас, одна, погруженная в свои мысли, и смотрела в окно; на улице был ливень, она смотрела на дождь, а ее длинные черные волосы, собранные в хвост, падали ей на спину. Я спросил себя: «Господи, неужели она вправду нас не слышит и, когда она смотрит на дождь, для нее не существует ничего другого?» Она не обернулась, разговор закончился, прозвенел звонок, все пошли на урок, а Люция вошла в класс последней, будто желая показать, что ее не интересует ничего вокруг, кроме дождя, который лил так, будто небо лопнуло.

Тем не менее *что-то* меж нами было, я в этом уверен, может, всего лишь флюид, а может, и начало любви, иначе зачем она стояла именно рядом со мной, пока я разговаривал с приятелем? Неужели она не могла встать чуть поодаль,

будто я ее не интересую (окно было большое, и, если отойти чуть подальше, вид на дождь был бы лучше)? Или почему, если ничего не было, она обняла меня тогда, в физкультурном зале под перекладиной (пусть даже если она обняла меня просто из озорства); почему она была согласна стоять так перед всем классом, две долгие секунды, два бесконечных мига, лицом к лицу (мы почти касались друг друга носами); и почему она сказала своей лучшей подруге (которая, к счастью, была и моей подругой и, как обычно бывает в этом возрасте, была почтальоном между нами двумя); так вот, зачем она сказала, что все еще хранит стихотворение, которое я написал в первом классе, и что до сих пор не читала ничего лучше этого стихотворения, только не может согласиться с тем, что девушка, про которую там идет речь, — это она, потому что она, Люция, плохая, некрасивая, недостойная этого стихотворения; и зачем она сказала этой своей подружке, что ее удивляет, что с первого дня первого класса я больше ничего ей не написал, и она не знает, почему это так?

Значит, что-то было *между* нами, но было и что-то *меж* нами, какая-то помеха, что-то мешало Люции отдаться мне; для этой девочки

было невозможно, а я и теперь уверен, что она меня хотела, было невозможно, говорю, не быть с молодым человеком только потому, что у нее были какие-то обязанности, которые есть у всех, каждый день. Это что-то, стоявшее между нами как стена, очень скоро себя проявило.

* * *

Однажды мы с Земанеком опоздали на тренировку. На нас пришли посмотреть девушки, причем не только из гимназии, но и из текстильного училища, потому что слухи о наших акробатических и мотоциклистических способностях разлетелись быстро, и мы дурачились на мотоцикле друг за другом: сначала Земанек скакал с горки на горку, а потом я ездил на одном колесе. Вдруг, в эйфории, которая накрывала нас в присутствии девушек (я все время поглядывал, не тут ли Люция, но ее не было; утешением мне служило только то, что тут была ее лучшая подруга, и я предполагал, что она непременно ей передаст все, что видела), когда Земанек гонял на мотоцикле как сумасшедший, у ограды трассы я заметил лестницу: обычную лестницу, с какой собирают яблоки. Меня охватило возбуждение, чувство всемогущества, я пошел и взял лестницу

(хотя в тот миг еще не знал, на что мне лестница), поднял ее, и в голову мне пришла безумная мысль: «Если у меня получается на мотоцикле, почему нельзя стоять без поддержки на лестнице? Разве мое искусство, джаз, не лестница, опирающаяся лишь на облако, на небо?!»

Я подумал, что и святой Петр ходил по поверхности моря, по волнам, и не тонул, пока имел в себе твердую веру во Христа, но сразу начинал тонуть, когда терял Господа из виду; и, окрыленный религиозным вероучением, так же как и любопытством в глазах девушек, которым не терпелось узнать, зачем я взял лестницу и какую штуку я сейчас отколю, я совершил поступок, интересный сам по себе, потому что человек должен познавать сам себя всю жизнь, ведь его возможности гораздо шире, чем он сам думает и чем своими дипломами и документами говорит ему общество.

Я поставил лестницу вертикально и ступил на первую перекладину. Я думал, что я качнусь назад, рефлекторно отведу назад ногу, эксперимент закончится, а я скажу девушкам: «Что смотрите, как гусыни? Вы что, видели когда-нибудь, чтобы лестница стояла, ни на что не опираясь?!» Но случилось чудо: лестница не падала, а стояла,

и я стоял на ней; я понял, что я идеально контролирую равновесие, и постепенно отпустил руки, расставил их; потом осторожно поднял правую ногу и поставил на вторую перекладину, потом и левую и опять растопырил руки; лестница стояла, как будто вросла в землю. Я сам был удивлен и возбужден; хотел поставить ногу на третью ступеньку, но от уверенности, что у меня получится, от преждевременной радости потерял равновесие и спрыгнул вниз, при этом получив лестницей по голове и плечу. Но все равно, девушки от восторга визжали до истерики и хлопали в ладоши; одна даже подбежала ко мне и чмокнула меня в щеку, а Земанек уже несколько минут как остановил мотоцикл и уставился на меня, открыв рот, как будто увидел святого Петра.

— Как ты это делал, Людвик? — спросил он меня.

— Не знаю, — ответил я.

Девушки хотели развлекаться, мы велели им ждать нас вечером в одном клубе, пообещали, что мы точно приедем, я сел на мотоцикл, и мы поехали. Земанек вел, а я сидел сзади; Земанек все время повторял:

— На этом можно заработать, это же просто чудо какие планы, какие грибы, ты просто клад,

весь мир должен это увидеть, слышишь меня!

Земанек несся как угорелый, как вдруг под одним из деревьев на Кроличьем холме я заметил припаркованный джип физкультурника; мы молнией пронеслись мимо него, но мне показалось, что в свете фары я на мгновение увидел лицо Люции в окне; я велел Земанеку остановиться; он недоумевал, спрашивал зачем, и я сказал ему:

— Люция в машине с физкультурником.

Это теперь я понимаю, а тогда не понял, почему тот так резко нажал на тормоз и описал полукруг, визжа шинами; мы оба чуть не упали.

— Что ты сказал? — спросил он.

— Я говорю, что мне показалось, будто я видел Люцию в джипе физкультурника.

Он дал газу, и мы рванули назад; доехали до поворота, и он остановился; мы направили фару на машину, но не могли ничего разглядеть, кроме двух силуэтов, отлепившихся друг от друга при свете фары. Ясно был виден только номер машины: C909.

Я сказал ему, что мне нехорошо и что я хочу уехать. Он предложил укрыться где-нибудь и выследить их (теперь я понимаю, что он был уязвлен так же, как и я, и что хотел тем же вечером с ней расстаться; смешно — как расстаться, когда

ни у меня, ни у него с ней ничего не было?); так мы бы увидели, с какой девушкой приехал физкультурник. Я сказал, что не хочу, а хочу уехать домой. Возвратившись домой и вернув мотоцикл, Земанек купил бутылку вина, и мы всю ночь пили и разговаривали. Я напился и расплакался; говорил, что люблю ее, что она не имеет права так со мной поступать (пьяному, мне казалось, будто Люция — моя законная жена); потом Земанек на мотив старинной народной песни (он был настоящая кладезь старых народных песен) запел «Скажи мне, мама, научи меня, как заполучить мне Люцию, курву-красавицу», а я ему подпевал; мы были совершенно пьяны и пели одно и то же: «Люция, курва-красавица, Люция, курва-красавица, Люция, курва-красавица».

На следующий день (это был понедельник) мы с Земанеком в школе решили разыграть небольшое представление. Вырвали из чьей-то тетрадки лист и на нем измененным почерком написали: «Люция — физкультурникова подстилка!» Потом попросили передать записку ей, и листок пошел по рукам. Был первый урок, классный час, а нашим классным руководителем и был физкультурник: двадцативосьмилетний человек, глупый настолько, что трудно и представить, почти лы-

сый, разведенный. По школе ходили слухи, что его жена изменила ему с его близким приятелем и что он поклялся, что когда-нибудь замочит их, убьет обоих. Он был человек неотесанный, дерганый и взвинченный и винил в своих бедах весь свет. На учениц смотрел, как мужчина смотрит на женщин, а к мужской части класса относился с ненавистью и постоянно ставил парням, в отличие от девушек, плохие отметки. Он что-то там такое бормотал, ругал кого-то за плохую успеваемость, а мы с Земанеком смотрели, как листок потихоньку продвигается к Люции. В конце концов ей его передали; она его развернула, прочитала, обернулась, посмотрела на класс, и мне показалось, что особенно долго смотрела на меня с Земанеком; потом вдруг побледнела, встала, сунула смятый листок куда-то под блузку и попросила у классного разрешения выйти. Он жестом показал на дверь, она пошла, листок у нее выпал, но она этого не заметила; классный встал, поднял его, Люция уже вышла из класса; физкультурник прочитал, что там было написано, и побагровел (он был лысый, но жилистый мужик, с бородкой, и я в первый раз увидел, что борода не может скрыть, что он покраснел, а лысина у него будто горела пламенем). Потом он спросил:

— Кто это написал?

Я и потом не раз в жизни был в таких ситуациях, которые убеждали меня, что власть имущих интересует всегда один и тот же вопрос: кто автор текстов, которые им не нравятся, кто же тот, кто осмелился? Естественно, никто не откликнулся; он взял листок, разорвал его на мельчайшие клочки, прямо в пыль, и я понял по тому, что он это сделал, по этому жесту, частому у властей, что дело нечисто.

— Еще раз поймаю кого-нибудь, кто передает записки на уроках, руки оборву, — сказал физкультурник.

Потом Люция не приходила в школу целый месяц. Я совершенно расклеился; по вечерам меня било как лихорадкой, где-то внутри все дрожало; по ночам я не спал, начал курить; Земанек приглашал меня к себе с ночевкой, я отказывался, потому что мне хотелось побыть одному. Я болел, просто болел, как животное, оставшееся без самки. На седьмой день решил позвонить ей по телефону; подошла ее мать, я представился («Это Ян Людвик, одноклассник»); она сказала:

— Люция болеет.

Я сказал:

— Какая жалость. Моя Люция заболела?

Женщина засмеялась:

— Ваша Люция? А вы Люции кто?

Я ответил:

— Никто, просто друг.

— Неужели друг — это совсем никто? — спросила женщина и опять рассмеялась.

Я попросил позвать Люцию, ее мать сказала:

— Подождите, Людвик, — и положила трубку рядом с телефоном, так что я слышал, как открылась дверь в другую комнату, как ее мать сказала, что я, наверное, очень странный, и как Люция нервно ответила:

— Не хочу я ни с кем разговаривать!

Потом мать вернулась и сказала:

— К сожалению, Люция спит.

Эта добрая женщина не хотела меня обидеть, хотя не знала ни кто я, ни даже как выгляжу, ни зачем звоню им домой.

— Позвоните через несколько дней, — сказала она, как будто Люция спит целыми днями!

Но в этом своем болезненном состоянии (я и вправду думаю, что весь тот месяц я был как в бреду), теперь я назвал бы такое состояние весенней лихорадкой (была весна, в воздухе носилась цветочная пыльца, и весь мир гудел, как улей), я написал для Люции пятнадцать стихотворений.

Отпечатал их на старой машинке в школе, переплел в картонную папку, озаглавил «Загадка», вывел посвящение: «Девушке с раскосыми глазами», а на первой странице написал свой номер телефона (Люция ни разу не позвонила мне за три года) и послал Люции с одной ее подружкой.

И стал ждать.

Ничего не происходило, целую неделю. Но я был в шоке, когда однажды зазвонил телефон и я услышал голос матери Люции.

— Добрый день; вы — господин Ян Людвик?

— Да, — ответил я, — слушаю вас, госпожа.

— Знаете, Людвик, — сказала она, — я прочитала ваши стихотворения и думаю, что они прекрасные. И очень *теплые.*

— Правда? — спросил я, а сердце у меня чуть не выскочило из груди. Я был готов прыгать до потолка, пробить его головой, я был убежден, что Люция их прочитала и дала прочитать своей матери.

— Я хочу кое о чем вас попросить, Людвик, — сказала она.

— Пожалуйста, госпожа.

— Прошу вас, когда Люция вернется в школу, приглядите за ней; знаете, у нее что-то вроде депрессии; ей очень тяжело; ее кто-то обидел

в классе, написал и пустил по рядам какую-то оскорбительную для нее записку; представляете, есть же люди, которые делают такие вещи, пишут о женщинах гадости; не все, как вы, посвящают им стихи. — (Бедная женщина не знала, что автор и одного и другого — один и тот же человек, я!) — Я прошу вас, если сумеете, постарайтесь помочь ей вернуть уверенность в себе, когда она опять придет в школу; напишите ей еще стихи.

— Значит, Люции понравились мои стихи?! — От радости я почти кричал.

Она помолчала несколько мгновений и потом сказала:

— Да. Очень. *Необыкновенно понравились.*

Мне показалась сомнительной эта градация чувств, вызванных моими стихами, в пересказе матери, которая будто хотела в чем-то оправдаться, и я попросил дать трубку Люции, чтобы услышать ее, чтобы услышать от нее что-нибудь о моих стихах. Но она совершенно спокойно сказала:

— Знаете, Людвик, Люция спит. Позвоните через пару дней. До свидания. — И повесила трубку.

Я тогда не понял смысла этого телефонного разговора, но немного позже все выяснилось.

Через месяц Люция опять пришла в школу: она была слабая, бледная, с синяками под глазами. Подружкам она сказала (я подслушивал из мужского туалета, который от женского был отделен тонкой стенкой), что у нее был тяжелый грипп. Я ждал, что она расскажет им о стихотворениях, но она ничего не сказала. И хотя она была бледной, измученной, выглядела она еще красивее, чем когда бы то ни было. По ночам она снилась мне: бледная, как Богородица; в моих снах она представлялась мне святой мученицей; часто мне снились только ее колени — колени Люции, я не видел ее целиком; колени у нее были слабыми, будто ее мучили, и они меня приводили в восхищение. Но когда во сне я протягивал руку, чтобы до нее дотронуться, я просыпался и сон исчезал. Сон о Люции.

* * *

Тем временем физкультурник через Партию получил повышение: его назначили директором школы, а старого отправили на пенсию.

Став директором, физкультурник решил культурно возвыситься и для этого приказал провести в конце учебного года мероприятие. А ответственной назначил Люцию, которая в Партии

была координатором по вопросам культуры. Люция должна была продумать все мероприятие, от первой до последней точки, и она взялась за работу с невиданным жаром. Мне казалось, что такая, какой она была — бледная, исхудавшая, не сможет со всем этим справиться; но дни шли, Люция усердно работала и постепенно ожила, щеки ее порозовели, взгляд стал, как прежде, ясным, а темные полумесяцы под глазами исчезли. Тем не менее на ее лице остался отпечаток преждевременной зрелости, которого раньше не было, едва видимая тень будущей старости, первая волна созревания, и я видел, что это уже не та моя Люция гимнастического зала, перекладины, не то солнечное дитя, чьи ноздри при соскоке раздувались, как у усталой, но веселой лошадки; но я был счастлив, что это все же Люция, пусть и другая; мне казалось, что я отстал, что у меня отобрали часть первой, чтобы я мог получить эту вторую Люцию, но моя любовь ни в чем не изменилась; можно даже было сказать, что в этой нынешней Люции я любил и предыдущую, и теперешнюю; теперь я любил двух Люций, и пережить это, не приближаясь к ней, было невозможно.

Идея мероприятия, задуманного Люцией, меня очень удивила и задела, уже не в первый раз. Что-

бы рассказать нам о его программе, она собрала нас на заседание литературного кружка. Начало было обычным и довольно глупым: директор школы обращается к ученикам и родителям с речью (все понимали, что это невероятная глупость, потому что физкультурник не мог связать на бумаге больше двух слов, и то при условии, что они будут написаны в две строчки; у него была страсть решать кроссворды и анаграммы, и у всех создалось впечатление, что он только что осознал, что слова могут быть средством выражения мысли). Когда я сказал это Люции, она ответила, что, если нужно, она сама напишет ему речь. Потом предполагалось станцевать народный танец, чтобы создать атмосферу здорового народного духа; потом она хотела сама обратиться к публике и поговорить о перспективах народного творчества, о ложных и истинных ценностях в искусстве; потом ученики должны были декламировать стихи. Глаза у меня заблестели, в горле пересохло, ладони вспотели, я слушал, как она читает имена тех, кого она хотела назначить читать стихи, но меня в этом списке не было; я спросил, не мог бы и я прочитать какое-нибудь свое стихотворение, и она ответила, что не мог бы; я спросил почему, а она ответила, что мои

стихи хорошие, но несоответствующие (так и сказала: *несоответствующие)* и что на этот раз нужны не любовные, а патриотические сочинения. У меня потемнело в глазах: как может Люция так со мной поступать, так со мной обращаться? Неужели она может из-за своей проклятой Партии запретить мне прочитать хотя бы одно любовное стихотворение, в котором я просто описываю волосы любимой в свете луны? Но она не желала ничего слушать, и во мне впервые проснулся гнев, из-за того что меня оттолкнули, гнев, весьма характерный для молодых людей, еще ни разу не спавших с женщиной.

Люция не разрешала к себе притронуться, не подпускала меня к своему телу, а я пылал от желания; она не подпускала меня и к своей душе, хотя я чувствовал, что она борется сама с собой, что она уже идет к тому, чтобы допустить меня хотя бы в свою душу, но гнев во мне вызвало то, что *она отказалась принять у меня нечто* — мою душу. В этом ее поступке, в этом *запрете* читать *любовные стихотворения,* посвященные ей (и в то же время анонимные, потому что ни в одном стихотворении я не упоминал ее имени, и она прекрасно это знала), было, говорю вам, что-то *нечеловеческое,* что-то *политическое,* потому

что нельзя никому, никоим образом, кроме как силой, запретить что-то отдать! Она запрещала мне любить ее, запрещала моему «я» быть «я», запрещала мне самому решать, что любить и что делать, и тем самым она отрешала меня от себя самого, как делают, когда человека сажают в тюрьму, когда у него отнимают право быть тем, кто он по профессии, быть мужем своей жены или отцом своих детей, быть курильщиком, у него отбирают зажигалку, сигареты, фотографии семьи, кошелек, шнурки, ремень; это была самая настоящая политика, идеологический террор чистой воды — не позволять человеку быть тем, кто он есть!

Я был уязвлен до глубины души, был зол, потому что в любви больше всего оскорбляет, когда показывают несексуальную силу; я уже не слушал Люцию и только помню как сквозь туман, что она говорила о какой-то второй части программы, после какого-то хоровода, и что финалом, завершением мероприятия, мол, будут какие-то обрядовые колядки из ее родной деревни, с которыми должна была выступить она сама с выбранной ею труппой из тех краев; участвуя в этом обряде, она с головой окунулась в глубины народного бытия, а это очень важно для сохране-

ния здорового народного духа в нынешнее время, особенно в молодом поколении.

Земанек внимательно слушал Люцию, но иногда посматривал и на меня. Когда Люция закончила свое выступление, он попросил слова; сказал, что ему очень понравился сценарий мероприятия, но что он хотел бы спеть народную песню сразу после декламации и перед показом обряда. Люция с удовольствием поддержала его идею, потому что, как она сказала, в сценарии она совсем забыла изначальную народную песню.

— И вот еще, — сказал Земанек, — нужен антракт, потому что программа большая, и публика устанет.

Я был вне себя, оттого что Земанек меня бросил, не встал на мою сторону; в какой-то момент наступила тишина, и я вклинился, сказав, больше чтобы сделать неприятное Люции и Земанеку:

— А можно хотя бы антракт будет не народным, а международным?

Я сказал это со злостью и с гневом, не потому, что мне не нравились народные песни и танцы, а потому, что Люция не удостоила меня даже взглядом с самого начала заседания литературного кружка. Этим своим злобным высказыванием я достиг цели, потому что Люция метнула в меня

гневный взгляд и сказала:

— Я бы попросила внимательно слушать, о чем здесь говорилось, и не подвергать оскорблениям народный дух и Партию, стоящую на его защите.

Я хотел сказать Люции, что меня совершенно не волнуют ни ее народный дух, ни Партия, которая его защищает, и что единственное, чего мне хочется, — это взять ее за руку, обнять и увести туда, где нет ни народного, ни злого, ни доброго духа, ни партий; на какой-нибудь остров, где я мог бы вволю целовать ее в пупок, пить вино из этой сладкой чаши на ее животе, осыпать поцелуями; но я не осмеливался ничего сказать, потому что Люция смотрела на меня с разочарованием, она меня ненавидела и презирала из-за моей *неопределенности,* из-за отсутствия во мне здорового корня. И я, сам не понимая, что говорю, сказал то, что и по сей день не могу себе объяснить; откуда у меня появилась такая сумасшедшая идея — идея, которую до того я не то что не обдумывал, но которая даже никогда не приходила мне в голову, и вдруг я ее высказал (может быть, эта мысль приходила ко мне в предыдущей жизни?); я сказал:

— Во время перерыва можно было бы показать небольшой цирковой акробатический номер. — Я посмотрел на Земанека и добавил: — Тот, с

лестницей.

Есть моменты, когда человек совершает символическое самоубийство, наслаждаясь собственным *исчезновением* и *унижением*: в эти моменты человек хочет унизиться, пасть как можно ниже, и убедить при этом других, что там, в бездне, ему очень хорошо и он всем доволен. Это был один из таких моментов, а их величественность я ощущал еще в детстве. Например, я помню, что однажды просил отца купить мне игрушечный автомобиль, стоявший на витрине магазина; он сказал мне, что игрушка слишком дорогая и что у него нет столько денег. Рядом с первой машинкой стояла другая, поменьше, а рядом с той — еще одна, совсем маленькая. Отец предложил мне купить среднюю, потому что она была подешевле и на нее денег хватало; но я, от злости и разочарования, попросил его купить самую маленькую и еще и убеждал его, что она лучше остальных. Этот вид самонаказания, который корнями уходит в жизненную философию «все или ничего» и который сводится к выбору «ничто» вместо «нечто среднее», преследовал меня и потом в течение всей жизни, а особенно когда я поступил в цирк. И был источником многих моих бед.

После того как я это предложил, впервые в

жизни Люция посмотрела на меня с интересом. Взгляд ее переменился, стал живым; в нем уже не было того презрения, которое было в нем только что, и она спросила:

— А что это за номер?

Земанек принялся объяснять ей; он сказал, что у меня врожденный талант к эквилибристике, то есть к акробатике, в которой самое важное — сохранение равновесия. Он рассказал Люции о том, как я ездил на мотоцикле на одном колесе, и еще рассказал о том вечере, когда я развлекал девушек, поднимаясь на лестницу, которая ни на что не опиралась; та не верила, прижимала руку ко лбу, смеялась и говорила:

— О нет, это невозможно! Нет, нет, этого никак не может быть!

Земанек убеждал ее, что это очень даже возможно, и еще рассказывал, что в тот вечер я довел девушек до того, что они только что не лопались от смеха, потому что эти мои акробатические способности слились воедино с чувством юмора и начитанностью, когда я разыграл эпизод из «Декамерона» Боккаччо, в котором наивный и глупый супруг никак не может забраться по лестнице на чердак, чтобы застать свою жену Петрунеллу с любовником, не может их поймать,

потому что лестница у него ни на что не опирается, и как только он чуть поднимется по ней, та сразу начинает качаться, и он спрыгивает и забегает с другой стороны лестницы, чтобы поддержать ее и чтобы она не упала. (Это, вообще-то, было неправдой, и я не помню такого эпизода в «Декамероне» и до сегодняшнего дня не понимаю смысла этой импровизации Земанека, которая вскорости стала реальностью, и я покорился ей, как и всякой другой реальности!)

— А лестница все это время стоит прикрепленная к земле? — спросила Люция.

— Нет, — ответил я, раздосадованный тем, что она постоянно смотрит на Земанека и разговаривает с ним, как будто меня вовсе не существует, хотя этот номер должен был исполнять я.

Услышав мое замечание, она повернулась ко мне и посмотрела на меня, как мне кажется, с выражением, в котором смешались страх и уважение.

— Нет, — сказал я. — Выглядит это так, как будто лестница прикреплена к небу.

Она посмотрела на меня с недоверием, потом встала и сказала:

— Покажите. Только без розыгрышей, потому что это серьезное мероприятие. Если это будет

достаточно смешно, я позволю вам выступить в антракте.

Меня больно укололо это «если будет достаточно смешно». «Вот оно что, Люция, — думал я. — Мне можно участвовать в твоем мероприятии, посвященном здоровому народному духу, только в антракте, и то если я буду достаточно смешон?» Мы пошли в физкультурный зал; там была лестница, я взял ее и исполнил номер без единой помарки: раз, два раза, три раза, разведя руки в стороны, я влезал на лестницу с одной стороны, а слезал с другой. У меня все выходило легко, потому что с того вечера, когда я понял, что был рожден для того, чтобы карабкаться вверх, я репетировал этот номер каждый день во дворе у Земанека.

Люция разволновалась не на шутку: она вся дрожала, не верила собственным глазам, говорила, что это чудо; потом побежала из зала, чтобы рассказать об увиденном всей школе, а я нагнал ее у выхода и вдруг, не знаю почему и не знаю, как у меня хватило на это духу, но я хлопнул ее по заднице самым игривым образом, видимо, потому, что мной овладело какое-то победное, великолепное настроение, и сказал ей:

— Пусть вот так по лестнице *поднимется,* если

сможет, твой здоровый народный дух.

А она, развеселившаяся, будто пьяная, бросила в меня тетрадкой и больше для формы, чтобы защитить некую абстрактную честь (меня обеспокоило это у Люции: понятие об абстрактной чести), вскрикнула:

— Ах ты, свинья! — и погналась за мной, а я стал убегать от нее; в нашей игре уже не было ничего серьезного, ничего из того, что было раньше, потому что кружок закончился, а чудо началось.

Но это было только в те редкие моменты, когда Люция была довольна. А такой она была, когда довольна была ее Партия и когда та же самая Партия говорила ей, что надо быть довольной, потому что она, *к общему удовольствию,* выполнила задание Партии.

* * *

Мероприятие прошло с большим успехом. Сначала выступил директор, он рассказал об огромных достижениях школы с тех пор, как его назначили на эту должность. Потом Люция сказала речь о здоровом народном духе. Я еще помню некоторые фразы из ее речи, которые совсем не подходили девушке, скорее старухе. Она сказала, что в настоящее время весь народ,

особенно члены Партии, всеми силами выступают за «организованную народную культурную деятельность»; говорила о неотложной потребности «объединить усилия всех выступающих против деструктивных сил, захвативших культурное поле родины». Требовала создать такие предпосылки для воспитания и образования в рамках школьной системы, чтобы *первой* и основной ценностью признавалась бы национальная культура, потому что она «тот пырей, который не выдернуть с корнем», хотя коммунизм, эта болезнь духа, и пытался это сделать; сказала, что сегодня шире, чем когда бы то ни было, начинают создаваться народные спортивные и певческие общества, молодежные и студенческие союзы, в которых крепнет национальный дух и осознание народного характера любого большого искусства и при этом отторгается все, что не желает *определиться* в качестве народного искусства. Это другое искусство, которое не желает определиться как народное, есть «предумышленное культурологическое отравление» и является продуктом большевизма и тоталитарного коммунизма (что могла Люция знать о большевизме и коммунизме в свои семнадцать лет, ведь ей было всего одиннадцать лет, когда рухнул ком-

мунистический режим?). Потом она выдержала долгую драматическую паузу, приняла особенно смешную, напыщенную позу и продолжила:

— Марксистская революция разрушила целый духовный мир: любовь к родине, национальное чувство, отношение к истории, к семье, прошлому и будущему.

И сказала, что и западные, капиталистические формы творчества, которые искусственно прививают к дереву нашего народного искусства, к нашей македонской черешне, — это просто обычный китч, как все эти шлягеры, авангард, постмодерн или джаз. Она сказала, что народное искусство в наши дни должно быть «вершиной народного духа, пупом нации, с которым всякий творец должен быть связан через невидимую пуповину всю свою жизнь». При этом она горделиво поглядывала на меня.

— Наш джаз — в фольклоре, — говорила она, и я чувствовал, что в чем-то она права, в особенности когда говорила, что наш джаз должен питаться от наших древнейших музыкальных корней; в чем-то я соглашался, а в чем-то нет, но что меня совершенно отталкивало от Люции — это уверенность, с которой она все это говорила; уверенность, которая может быть в человеке, только

если он член некоего Хора. (Такой уверенности, как я увидел потом, в цирке не было; никто не мог там тебе гарантировать, что если ты удачно выступил на трапеции пятьсот раз, то у тебя все будет хорошо и в пятьсот первый раз.)

Я знал, что эта ее *уверенность* ненастоящая; я предполагал даже, что за ней кроется хрупкое человеческое существо, слабое и закомплексованное. А она говорила, говорила; потом были декламации на тему народного духа, патриотизма и славных предков, потом станцевали народный танец; потом Земанек спел песню и пришла очередь выступать мне — во время перерыва.

Я исполнил свой номер без сучка и задоринки; на крайне, гротескно высокой кровати, специально сделанной для этого номера, лежали, обнявшись, Люция и Земанек, а я с лестницей, не держащейся ни за что, опирающейся только о воздух, пытался забраться вверх и посмотреть, что они там делают; я был в роли глупого мужа Люции, а Земанек — ее любовника. Люция П. была Петрунеллой. Я взбирался на лестницу, ступенька за ступенькой, а когда залезал на верхнюю перекладину, приставлял ладонь к глазам и смотрел на кровать, но лестница всегда

норовила упасть, и я спрыгивал вниз с другой стороны лестницы; опять забирался, смотрел, но ноги опять соскальзывали, и мне так ничего и не удавалось увидеть. *Ценой осознания была потеря равновесия,* и в этом номере я не хотел ее платить; я заботился о равновесии, а не о неверности жены, и то, как это делалось, было смешно! Если бы я упал, я бы увидел; но я не падал, пользовался животным рефлексом, не дававшим мне упасть, и поэтому не видел, что моя жена — в объятиях кого-то другого. Публика с ума сходила от смеха; все требовали, чтобы номер повторили на бис, но я отказывался; когда опустился занавес, я сказал Люции, что хватит, но она настаивала, чтобы я исполнил номер еще раз; я сказал «нет», она принялась меня опять упрашивать, и я неожиданно сказал:

— Нет, Люция, и вправду хватит! Я в жизни не видел более банального номера: что смешного, если кто-то не может уличить жену в блуде? Этому, что ли, тебя учит твой *здоровый народный дух,* Люция?! Да плевал я на такой здоровый народный дух, который смеется только над гениталиями, которые дают шороху другим гениталиям, и над бздящими анусами; неужели это вершина народного искусства, Люция?!

Она, дрожа, встала передо мной на колени; побледнела, потом встала, униженная, забросила волосы на спину (она распустила волосы, готовясь к следующему номеру — святочному обряду, в котором она была невестой) и сказала:

— Хорошо, Ян Людвик. Но не забудь, что я тебя просила, Ян Людвик.

Меня удивило, что она назвала меня и по имени и по фамилии, как служащий, который обращается к клиенту.

Потом Люция вышла, сказала, что повтора не будет, что это был просто антракт, и попросила публику сконцентрироваться на самом важном, на кульминации всего мероприятия — святочном обряде.

* * *

У людей часто возникает потребность говорить непотребные слова; эта генитально-анальная символика — обычная составляющая всякой карнавальной атмосферы, любого обряда, связанного с культами плодородия, обновления и жизни. Но меня всегда интересовало, почему при проведении таких обрядов (вроде того, который хотела показать Люция в конце представления) всякие такие слова, непристойные, похабные,

запретные, в той же самой среде (в нормальных, не карнавальных условиях) говорятся из-под маски? Откуда такая потребность скрыть личность того, кто произносит *срамные* слова, раз в этот день ему не только *разрешено,* но и *желательно* говорить такое? И для чего маска — чтобы скрыть личность «бесстыдника» или для чего-то другого — чтобы скрыть тот транс, который он испытывает под маской?

Известно, что люди в маске испытывают некий транс, потому что они находятся на тонкой линии между своей и чужой личностью, между тем, что есть я, и тем, что из меня делает маска (не-я); в этой двусмысленности самоощущения личности (как и в проклятом формуляре, который называется *заявление о вступлении)* и состоит транс, карнавальное чувство эйфории; в таких условиях *анально-генитальные* фиксации становятся неизбежными (в этом партии не отличаются от карнавалов), и необходимо сначала рассмотреть, почему раздвоение личности, как правило, у всех народов и во всех культурах связывается с анально-генитальной метафорикой. Но не менее интересна и публика: она, вспоминая запретное, общественно разрешенное, испытывает что-то вроде оргазма, опустошения, напоминающего ка-

тарсический опыт. Она, публика, не под маской; но она видит, что тот, кто произносит постыдные слова, тот, кто говорит то, что она хочет слышать, — под маской, он защищен, недосягаем. Проецирует ли она себя на него и проистекает ли ее удовлетворение оттого, что она знает, что, если даже она и сделает что-то общественно недопустимое, *тот один* ей гарантирует безопасность? Неужели *анонимность*, безопасность, гарантии безнаказанности и неузнаваемости — это то, что делает возможным чувство оргазма у толпы, идентифицирующей себя с человеком в маске? И какая связь народного искусства Люции и ее Партии с этим?

Я и теперь думаю, что и Партия Люции очень похожа на такой обряд, а уже позднее, размышляя над этим, я понял, почему Люция так настаивала, чтобы мероприятие заканчивалось именно этим обрядом, а не балетным или, например, джазовым номером. В Партии все носили маски, играли роли, которые им не принадлежали, и в трансе уподобления того, чем они являются, тому, чем они не являются, они сживаются с масками и ролями, которые играют. Кроме того, все в Партии глубоко связаны с главным символом плодородия — землей: между ними были потомственные

земледельцы в нескольких поколениях (а не кочевники-животноводы, которые по самой своей профессии — космополиты, потому что отгонное животноводство требует часто переселяться с места на место) или безземельные крестьяне, у которых, даже если их землю национализировали, а они сами стали учителями, врачами или инженерами, связь с землей оставалась сильной. Что больше всего меня удивляло во всем этом (а я позже нашел это во французской книге одного известного антрополога, которую я купил в Париже, когда там гастролировал наш цирк) — это то, что Партия Люции возвращала нас назад, на предыдущую ступеньку эволюционной лестницы — во времена примитивных обществ, с фиксацией на трансе и эйфории, так называемых *хаотических* обществ, где основные формы общественной коммуникации — маска и транс; до того мы жили в так называемом *обществе с бухгалтерией,* в котором мимикрия, маскарад и восторг исчезают (поэтому коммунизм был еще менее живым, отвратительно немагическим и черно-белым по сравнению с обществом, которое строила Партия Люции) и отступают перед компромиссом между полученным по *праву рождения* и полученным по результатам *собственного труда* — двумя ос-

новными факторами, определяющими будущее индивидуума в этих обществах. Именно этим, эйфорией и трансом, объяснялась и популярность Партии Люции среди широких народных масс; им они были необходимы как жизнеутверждающий обряд и культ изобилия и плодородия.

Обряд поставили прекрасно, точно как описывается в одной книжке: «Знакомый крик ряженых (О, о, о!!!), рев волынки, громкий звон колокольчиков и бубенцов и стук посоха в дверь предупреждают о приходе ряженых. В тот момент, когда оглушительный шум достигает кульминации и становится невыносимым, гадальщик кричит хозяину, чтобы тот отворил дверь:

Что, хозяин, я тут стыну?
Запали скорей лучину,
натяни портки скорей:
видишь, гости у дверей.
Погляди, с чем мы пришли:
вам невесту привели.
То завьется, то забьется,
будто в небе мотылек,
будто в поле стебелек.»

Этот народный обряд — один из красивейших — был прекрасно разыгран на сцене; опыта артистам было не занимать, все они великолепно знали и понимали символическое значение каждой детали; гадальщик потом говорит: «Издалека отправились, далеко направились, на лодке плыли, палкой рулили, наша лодка развалилась, у хозяина жопа заголилась».

Тут уже началась анально-генитальная карнавализация обряда, то, от чего публика вскакивала на ноги; начиналось *запретное,* то, что под маской! И так до смерти младшего ряженого — одного из самых красивых эпизодов сокровищницы нашего фольклора, в котором тело умершего ряженого символически разрывается на кусочки; а перед этим гадальщик обвиняет хозяина в смерти ряженого:

Черт бы тебя побрал:
друг долго жить приказал,
вчера он был полон сил,
а ты его загубил.
Не вынес он твоих пыток,
а мне от того лишь убыток.
Смотри, упырем придет

и яйца тебе отгрызет.

Потом раздалось еще непотребство из-под маски как символ и пожелание плодородия; гадальщик требует от хозяина, чтобы тот возместил ему убыток от смерти ряженого, в таких словах:

Ты неси, хозяин, сала,
чтоб невеста поплясала,
неси белый каравай,
старую деньгу давай.
В пляс невеста не пойдет —
конь хозяина падет.

И потом гадальщик символически разрывает на части тело мертвого ряженого, и эти части становятся предметами ежедневного обихода (какая прекрасная прагматическая символика, так характерная для моего народа!); это, в сущности, и есть кульминация вербализации непотребства в обряде: «Это не усы, это мочалка задницу подтирать; это не мужской прибор, это турка — женщинам кофе варить; это не глаза, это фонари, чтобы бабам ночью не темно было до ветру ходить; это не голова, это горшок щербатый, чтобы в него хозяину и хозяйке нужду справлять, нынче время зимнее, жирно жрется,

жидко срется».

А потом гадальщик обращается к невесте: «Жарко невесте в том самом месте!» В тот момент, когда невеста переступает лежащего ряженого, гадальщик ударяет посохом и восклицает: «Глянь, яйца в скирде, вот обед тебе!» Ряженый оживает, и все водят новогодний хоровод. А когда хозяин выносит подарки, гадальщик восклицает: «Кричите аминь, да с бабой в овин!» Потом он говорит невесте: «Встань, молодка, так, чтоб и у хозяина встал!» Она должна поцеловать хозяину руку за то, что получила старую деньгу. Потом ряженые благословляют дом: «Сколько в двери гвоздей, столько в доме сыновей; сколько в небе птиц, столько у них сестриц!»

Я следил за представлением обряда в сильном волнении и в какой-то момент подумал: «Действительно, какая связь между джазом и этим?» И потом сказал сам себе: «Никакой. Но это не значит, что ее и не должно быть». Это был фантастический обряд, особенно тогда, когда тело мертвеца символически превращается в предметы, необходимые для жизни; это было что-то вроде материализовавшейся реинкарнации, и это очень меня взволновало. Публика была в экстазе; все аплодировали, кричали «Браво-о-о-о-о!»,

труппа вышла на поклоны: невестой была Люция, а хозяином — не кто иной, как физкультурник. Он снял маску, и мы с Земанеком увидели его смеющегося, с сияющей лысиной и счастливого.

Когда представление окончилось, я сразу ушел. В некотором смысле я чувствовал себя униженным и отвергнутым всеми сразу: я не участвовал в обряде, который меня возбуждал и манил; не пел даже народных песен; не плясал; не читал патриотических стихов; я был антрактом в их обряде, обычным клоуном, который лезет по лестнице, прикрепленной к небу, и у которого нет никаких доказательств неверности своей Петрунеллы.

* * *

На следующий день мне сказали, что во время представления обряда Люции стало плохо, что она упала и у нее были сильные конвульсии, еще немного — и она откусила бы свой собственный язык. Сказали, что она в больнице и что все это случилось из-за огромного успеха обряда и вообще огромного успеха всего мероприятия в целом, о чем даже было в печати. В газетах напечатали фотографии труппы, которая выступила с обрядом: там, рядом с фотографией физкультурника,

была и фотография Люции.

Но на этот раз я не заболел. Я просто был зол на самого себя: как это случилось, что Люция в больнице, а я ничего не чувствую? Неужели из-за этого обряда моя любовь к ней угасла? Но нет, я все еще любил Люцию, но во мне бурлили оскорбленное самолюбие, гнев и злоба, которые больше не давали мне видеть мир таким, каков он есть на самом деле. Люция пришла через десять дней, но она не выглядела обессилевшей, как в прошлый раз. Четыре дня мы никак не общались, но теперь я избегал всякого контакта, потому что хотел, чтобы она поняла, что я рассержен; я избегал и Земанека, потому что тот неким образом меня предал, потому что захотел сам спеть народную песню, а не предложил, например, чтобы мы выступили с какой-нибудь джазовой композицией — я, он и контрабасист.

Земанек встретил меня в коридоре, остановил и спросил: «Что с тобой происходит?» Я посмотрел на него и сказал: «Со мной? Что случилось со мной?! А что случилось со всеми вами?!»

Он наклонил голову и сказал: «Знаешь, Людвик, я думаю, что тебе надо подчиниться воле большинства. Такие вот сейчас пластинки играют и такие песни поют».

Я только поглядел на него и сказал:

— Пошел ты знаешь куда со своими песнями! — И сбежал по лестнице вниз, домой.

* * *

Через две недели случилось кое-что еще. Был июнь, конец учебного года, и вся гимназия поехала на экскурсию на археологические раскопки в Стоби. Мы отправились рано, на автобусе; физкультурника я не видел, а Люция была в автобусе. Она сидела прямо передо мной, а у меня до этого дня не было случая сказать ей ни единого слова. Но зато, после того как она вернулась из больницы, я послал ей стихотворение. Она ничем не показала, что получила его и что его прочитала.

Теперь у меня была возможность заговорить с Люцией. Я спросил ее, получила ли она стихотворение и понравилось ли ей оно. Она повернулась ко мне, посмотрела на меня своими косыми глазами и сказала:

— Ты совершеннейший дурак. — И отвернулась.

Я весь пылал плотской страстью. Я подался вперед и стал дышать ей в ухо, и она сказала, не поворачиваясь ко мне:

— Перестань. Перестань так делать. — И потом

опять повернулась ко мне.

Глаза у нее были мокрыми. Люция плакала, и это уже заметили все.

— Ты никогда не поймешь, — сказала она. — Перестань писать мне стихи. Ты добрый, милый, симпатичный, но ты еще совсем не созрел и ничего не понимаешь. Все это очень серьезно. Ты просто не знаешь, насколько серьезно все это, с народным духом. Ты даже не можешь себе представить. А ты не хочешь *определиться,* понимаешь? Неужели так тяжело *определиться*? Вон даже Земанек… — Она не закончила, не посмотрела мне в глаза, не повернулась ко мне, и я видел, что она опустила голову и заплакала; грудная клетка поднималась и опускалась, как корабль, неподвластный воле чуждого ему моряка.

Потом откуда-то сзади, с задних рядов появился Земанек и разрядил ситуацию — запел какую-то шуточную народную песню, все подхватили, скоро к пению присоединилась и Люция, она пела, а слезы стояли у нее в глазах. А автобус ехал в Стоби.

В Стоби мы провели целый день. Земанек развлекал всех, распевая народные песни; ему подыгрывали на гитаре и на гармошке, и скоро все уже пели и плясали на лугу. Тайно, чтобы

не видели учителя, пили водку из темных бутылочек из-под сока. Было жарко, все вспотели, но все были счастливы, а у меня душа болела из-за Люции, которая сидела на лугу, как русалка, как бабочка, как буква «Ж», буквица из древней рукописи, между своими подружками, буквами помельче; она была самая красивая из всех, самая зрелая, настоящая буква-женщина, одетая во все красное; сидела и подпевала. Откуда-то появился и джип физкультурника; он, простой и грубый, каким его создал Господь, сразу направился к группе на лугу и бросил Земанеку, что у него голос как у *евнуха*; он сказал, что Земанек поет, как кастрат. Потом добавил: «Слушай, как надо петь» — и начал отвратительно выкрикивать какую-то, вообще-то нежную, любовную песню, стал бить себя в волосатую грудь (он к тому же носил на шее темную тяжелую золотую цепь с крестом, потому что тогда было модно представляться христианином), и всем пришлось подхватить, потому что для нас он был властью, а когда власть поет, то запоешь и запляшешь и ты. И замаршируешь под песню о любви.

Я только пил; не пел и не танцевал; не участвовал в этой пошлой оргии физкультурника, потому что ненавидел его (я и теперь спрашиваю

себя, так ли плохо он пел, или я, из-за любви к Люции, стал глядеть на него по-особому). Водка делала свое дело потихоньку, но уверенно, потому что солнце жарило немилосердно; кто-то предложил мне и травки, и я с непривычки в какой-то момент вдруг увидел свет; я подумал, что этот свет идет из других миров, что это мне является Бог; свет был фиолетовым, везде одинаковым, совершенным, постоянным, ибо не был он одним в одно время и другим в другое время или одним в одном месте и другим в другом месте, не был для одних прекрасным, а для других безобразным; свет тот был вышним; я подумал, что, может быть, я уже в какой-то другой жизни, что я умер и что мне даровано новое тело; я верил в реинкарнацию, и мысль о ней возбуждала меня. Углубившись в эти мысли, я решился на героический поступок: я хотел встать и сказать Люции, которая, потупив взор, все сидела на полянке со своими подругами, пока физкультурник, как павлин, распускал свой хвост, пел и плясал; я хотел сказать ей:

— Люция, я ухожу.

— Куда уходишь? — спросила она обеспокоенно.

— Я ухожу, Люция, в другое место.

— А когда ты вернешься? — спросила она.

— Никогда, Люция, я никогда не вернусь. Не жди меня зазря, мой в небе мотылек, мой в поле стебелек, — отвечаю я. — Не плачь, Люция, мир без тебя не имеет для меня ценности, поэтому я ухожу и стану *чем-то другим*, ведь и твоя Партия хотела, чтобы я стал чем-то другим; но я могу измениться по воле Бога, а не по воле человека, потому что я раньше уже был и парнем, и девушкой, и кустом, и птицей, и рыбой в чешуе, играющей в море…

И потом я больше ничего не помню, кроме облака света, в котором я потонул, как в некоем бессознательном блаженстве.

Из моих фантазий меня вывела сильная оплеуха; как сейчас помню, что поначалу я никак не мог понять, что случилось. Надо мной стоял Земанек; я лежал с холодным компрессом на лбу. Нигде рядом Люции не было видно.

— Что случилось? Что со мной? — спрашивал я у Земанека.

— Опозорился ты, — сказал он. — Опозорился перед Люцией и перед всеми, перед всей школой.

* * *

Что же произошло на самом деле?

В том состоянии опьянения, в котором я был, находясь между небом и землей в облаке света (никогда больше я не видел такого света, а страстно желаю его увидеть; не знаю, увижу ли его еще хоть раз, пусть и в иной жизни?), я подошел к Люции и, думая, что нахожусь в своих фантазиях, пересказал ей все эти фантазии, говорил двумя голосами, и мужским и женским, перед ней и перед ее подругами, что вызвало общий смех. Я говорил и за себя, и за Люцию.

— Настоящий шизофреник, честное слово, — сказал Земанек, обливая меня под деревом холодной водой. — Как этот сумасшедший в «Психозе» Хичкока.

— Где Люция? — спросил я.

— Люция уехала; сказала, что поедет к тетке в Велес и там переночует, что тетка ждет ее в гости. А поскольку физкультурник на своем джипе все равно собрался возвращаться в Скопье, он решил подвезти ее до Белеса, — ответил Земанек.

Не прошло и часа, как я уже смог подняться на ноги; я посмотрел вокруг и увидел, что, пока я находился в своем светящемся облаке, Земанек и

другие мои приятели перенесли меня прямо на место раскопок, под импровизированный навес, который устроили археолога, чтобы защититься от солнца; я лежал на какой-то раскладушке. Справа от меня была прекрасная мозаика, изображавшая павлина; рядом с ней была еще одна, на которой был изображен паук в паутине; я был все еще пьян, и в мозгу вспыхивали чудесные картины. «Этот павлин, распускающий здесь свой хвост, — это физкультурник. Смотри, какой смешной! А это, в паутине, Люция. Это у нее такое черное трико. Люция с белым пупком. И с белым крестом на спине. Люция, которая съест физкультурника, как муху», — думал я. Мне было страшно: не сошел ли я с ума, не говорю ли опять вслух, и я спросил Земанека, знает ли он, о чем я сейчас подумал. Он посмотрел на меня удивленно и сказал:

— Давай пошли, пьяница. Все уже собираются у автобусов.

И правда, все ученики уже собрались около автобусов и готовились уезжать. В нашем автобусе не хватало физкультурника, который уехал на своем джипе. Я с мольбой посмотрел на Земанека и сказал:

— Прошу тебя, если ты мне друг, останься со

мной. Пусть они уезжают.

Земанек даже слышать об этом не хотел.

— Я знаю, что у тебя на уме, но я не останусь.

— Прошу тебя, — умолял я. — Мы пойдем пешком, по железнодорожным путям до Велеса. Я должен сегодня вечером увидеть Люцию! Я хочу объясниться с ней до каникул, еще одного лета без нее я не выдержу, я не знаю, что с собой сделаю!

— Ты идиот, — сказал Земанек. — Неужели ты не видишь, что она тебя не любит!

— Прошу тебя, Земанек, умоляю тебя!

И Земанек встал, пошел к автобусу, сказал приятелям, чтобы они не говорили, что нас нет, и молчали; потом вернулся, и мы увидели, что в наш автобус вошла учительница музыки, которая не очень хорошо знала наш класс; видели, что она спрашивает, все ли в автобусе, и что наши друзья говорят ей, что все в порядке.

Потом двери автобуса закрылись и колонна отправилась по дороге домой.

* * *

Мы шли по железнодорожным путям; солнце клонилось к закату и стало похоже на того паука с мозаики; будто в середине неба неподвижно лежал раскаленный паук, уголек, запекшийся

в своей паутине из лучей, осыпавших золотом великолепный мирный пейзаж, с небольшими холмами и долинами, виноградниками со скрытыми в тени предвечернего времени лозами. Слышались только звуки наших шагов по тяжелым деревянным шпалам; стояла полная тишина, успокаивающая все органы чувств, взбудораженные пьянством под жарким солнцем в Стоби. Впереди шел я, за мной, в моей тени, — Земанек. Мы шли, и я вдыхал знакомый, для меня почти анестетический запах пропитки для железнодорожных шпал; с детства меня пьянил этот запах, возбуждал, будто предвещая далекий и неведомый путь, распалял все мои чувства, рождая прекрасные видения. Я спросил Земанека, чувствует ли он то же самое, когда вдыхает этот запах; он коротко бросил:

— Отрава.

И мы пошли дальше. Я не хотел ни о чем говорить с Земанеком; он впал в какое-то странное состояние, какую-то озлобленность, и когда я спросил его:

— Ты злишься? — он ответил:

— Нет, я рехнулся. Как сумасшедший прусь пешком по путям из Стоби в Велес. Еще не хватало, чтобы нас какой-нибудь поезд раздавил, как

муравьев.

Солнце как-то невероятно быстро зашло за гору на западе, там, где Скопье; с каждой прошедшей минутой свет становился другим; свет, который постепенно угасает и при этом в каждый миг по-иному окрашивает все вокруг. Мы шли так не знаю сколько времени, потому что время в этом свете остановилось; скорость превратилась в бессмысленное понятие в этом пейзаже, в этой атмосфере угасания; мы уже шли по одному из последних изгибов дороги перед Велесом; было где-то семь или восемь часов вечера, перед нами уже появился мост, а сразу за ним — туннель; это был классический железнодорожный мост с металлическими конструкциями с левой и с правой стороны, как коридор, который сразу перетекал в утробу туннеля, в его темное устье, и в этот момент Земанек сзади воскликнул:

— Смотри! Там, внизу!

Внизу, под насыпью, по которой извивалась железная дорога, стоял джип физкультурника.

Мы с Земанеком застыли на насыпи, две тени в последних лучах солнца, и не знали, что делать.

— Сколько времени? — задал я абсурдный вопрос.

— Двадцать минут восьмого, — так же абсурдно

ответил Земанек.

Мы разволновались, будто опьянели, потеряли ориентацию в пространстве.

— Пошли по путям, — сказал Земанек, и я понял, почему он это сказал: в общей дезориентированности в этом широком просторе единственную возможность не потеряться предлагала железная дорога; она вела куда-то — вела в конкретное место и гарантировала, что, если пойти по ней, не собьешься с истинного пути; мост вел нас прямо в туннель — туннель, выглядевший так, будто он готов нас всосать и проглотить и потом вывести к требуемому месту. Но я сказал:

— Вот оно. Время пришло. Пошли. — И пошел вниз по насыпи к ореховому дереву.

Но Земанек сказал:

— Я не пойду.

Я повернулся, посмотрел на него и понял, что он боится; впервые я видел Земанека, *Великого Гэтсби,* испуганного до смерти.

— Я пойду один, — сказал я. И сбежал с насыпи.

Я прокрался за кустами и очутился метрах в десяти от ореха и увидел: под орехом стоял джип физкультурника с хорошо мне знакомым номером С-909. Он сидел впереди, повернувшись в

полупрофиль; лысина у него была красная, будто горевшая, борода всклокочена; он что-то говорил, но мне не было слышно, что именно; когда он говорил, жилка на шее у него надувалась так, что казалось, вот-вот лопнет; внезапно до меня донесся обрывок разговора.

— Ты должна об этом заявить, если не заявишь, то будут неприятности, — сказал он.

Руки у него были под рулем; правая была протянута в сторону соседнего сиденья; в какой-то момент он откинулся назад, и на другом сиденье я увидел Люцию; глаза у нее были закрыты, ноздри широко раздувались (я до сих пор не знаю, может ли человек с десяти метров против солнца увидеть, как женщина раздувает ноздри; видел ли я это, или это было плодом моей фантазии, потому что Люция здесь как две капли воды походила на Люцию на картинке в моей памяти, на перекладине); по ее щекам текли слезы; да, я совершенно ясно видел, что Люция в какой-то момент плакала, а потом перестала.

Я напрягал слух, чтобы услышать, о чем они говорят, но у меня ничего не получалось. И внезапно солнце совсем навалилось на гору и сильный отсвет, отразившийся от стекла, меня совершенно ослепил; в тот момент, когда я уви-

дел свет, в десятки тысяч раз сильнее солнечного, я вдруг отчетливо услышал голоса.

Он: *О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои — как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; зубы твои — как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими; шея твоя — как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных; два сосца твои — как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями.*

Она: *Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе.*

Он: *О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр твоих как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои — как два*

козленка, двойни серны; шея твоя — как столп из слоновой кости; глаза твои — озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой — башня Ливанская, обращенная к Дамаску; голова твоя на тебе — как Кармил, и волосы на голове твоей — как пурпур; царь увлечен твоими кудрями.

Она: *Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный.*

Он: *Поведи меня во вселенную свою, в виноградник, в сады, между лилий, между бедер твоих, двух башен каменных, в лоно твое, в ворох пшеницы!*

Она: *Иди, возлюбленный мой, иди!*

И внезапно свет исчез, а с ним и голоса, которые я слышал. Я посмотрел на джип; внутри тело физкультурника прижималось к телу Люции; она сопротивлялась (так, по крайней мере, мне казалось, но я ни в чем уже не уверен); я взял камень, бросил его на крышу джипа, и физкультурник вздрогнул, резко повернулся к зарослям, и я увидел, что у него на голове маска — черная маска ряженого с четырьмя отверстиями для глаз, носа и рта, четырьмя отверстиями для трех органов чувств; видны были только глаза, один зеленый,

другой синий, рот и нос (неужели я и это видел или мои нервы, расстроенные водкой и жарой, нарисовали мне и эту картину?); он закричал: «Кто там?» — а я бросил еще один камень, угодил им прямо в фару, и стекло треснуло, рассыпалось мелкими брызгами. Он повернулся к Люции, послышался звук стартера, и джип на большой скорости, прыгая на выбоинах, покатил к выезду на шоссе и помчался в сторону Белеса.

Я забрался на насыпь к Земанеку и сказал:

— Все, я проучил говнюка.

А он со страхом посмотрел на меня и сказал:

— Ты спятил, совсем спятил! Если бы он тебя увидел, нас обоих вытурили бы из школы! Ты совершенно спятил.

Внезапно Земанек, повинуясь инстинкту, толкнул меня, потому что совсем рядом послышался гудок поезда; уже в следующий момент мы кубарем катились по насыпи, я и Земанек, один за другим. Высоко над нами прогрохотал экспресс из Афин, который прибывал в Велес в семь тридцать.

Сцена была гротескной: мы с ним в объятиях друг друга под тем же орехом, где несколько минут назад были Люция с физкультурником. Я досмеялся, встал и сказал:

— Знаешь, что я чувствовал, Земанек, пока смотрел на них? Знаешь, кем я себя чувствовал, Земанек? Третьим, дьяволом; с глазами, горящими серой, как будто я пришел из ада.

— Людвик, ты пугаешь меня, — ответил он. — Ты видел Люцию? Ты уверен, что Люция была с ним?

— Что я, Люцию не знаю? — ответил я.

Тогда Земанек схватил камень с насыпи и швырнул его вверх, в сторону дороги.

— Ладно, пошли, скоро стемнеет.

Мы забрались на насыпь, и я без всякой видимой причины вдруг помчался к мосту; позади меня Земанек кричал, чтобы я остановился, подождал его; но я, не останавливаясь, побежал к туннелю, влетел в него, несся и пел:

— Скажи мне, мама, научи меня, как заполучить мне Люцию.

Я бежал на свет, но экспресс уже ушел, и я не мог понять, что передо мной больше ничего нет, кроме света; и в тот момент, когда я выбежал на свет, когда грудь разрывалась от переполнявшего ее воздуха (какая страшная боль в груди!), я увидел, что Земанек только входит в туннель.

Он смешно выглядел в начале туннеля: как тот, кому нужно пройти шагом то, что я уже

пробежал.

* * *

Мы добрались до Белеса часов в девять, я купил Земанеку билет, посадил его в первый же автобус и упросил оставить меня одного. Он сопротивлялся; говорил, что не хочет ехать без меня, боялся, что я попадусь в Велесе на глаза физкультурнику с Люцией и физкультурник меня убьет; я сказал ему, что это мое дело и что мне теперь терять нечего. Я хотел любой ценой найти Люцию, отозвать ее в сторону и поговорить с ней.

Земанек уехал автобусом в девять тридцать, и я остался один. Ночь была летняя, звездная, хотя и чуть жарковатая. Я купил сигареты в первом попавшемся ларьке и пошел к главной улице, в центр.

Я был уверен, что встречу Люцию; повернул на мост, прошел мимо железнодорожного шлагбаума и очутился на пешеходной улице рядом с гостиницей «Эпинал». Я дважды прошел всю улицу из конца в конец (народу была туча, юные парочки держались за руки и целовались); все это меня распаляло, я был полон тоски и желания; но о Люции я думал уже не как о той Люции, которую я знал и какой представлял себе, а как

о *курве* Люции, что подразумевало и известную долю желания поиздеваться над ней; я хотел задеть ее, и уже не только душевно, но и телесно; хотел довести ее до слез, наставить ей синяков, унизить ее. И когда я уже потерял последнюю надежду повстречать ее, я ее увидел; она шла под руку с пожилой госпожой (я решил, что это ее тетка), что-то ей рассказывала и смеялась; смеялась совершенно беззаботно, раскованно. «Так себя чувствуют проститутки после секса; как будто ничего и не было», — подумал я. В ту же минуту мне пришла в голову мысль: «Может быть, она рассказывает, как я осрамился сегодня перед всеми с моими видениями?» И направился к ним. Люция увидела меня, когда я был метрах в десяти от них, оцепенела, остановилась и еще сильнее ухватилась за теткину руку. Женщина удивленно посмотрела на Люцию, потом на меня; Люция сказала ей:

— Это он. — (У меня всегда была эта способность — читать по губам.)

Я остановился, поздоровался и сказал:

— Извините, вы не позволите недолго поговорить с Люцией?

Женщина ответила:

— Конечно, молодой человек, — и отошла в

сторону к витрине, сказав: — Люция, я подожду тебя здесь.

Мы остались одни; стояли и смотрели друг другу в глаза.

— Ты что тут делаешь? — спросила она.

— Приехал, чтобы увидеться с тобой, — ответил я. — Чтобы объясниться.

— Нам с тобой нечего объяснять, — сказала она.

— Люция… Где твой любовник, Люция?

— Ты ничего не понимаешь.

— Может быть, я ничего не понимаю, но я знаю, что не вернусь сегодня домой, пока мы не поговорим. Я буду ждать тебя под мостом. Отправь тетку домой и приходи.

Люция ничего не ответила, просто отошла и направилась к магазинной витрине. Взяла тетку под руку, и они затерялись в толпе.

Я пошел под мост. По дороге купил бутылку вина; сел на берегу Вардара, открыл бутылку, курил, пил вино и опять курил.

Не знаю, как долго я ждал; в какой-то момент надо мной по мосту пронесся скорый поезд из Битолы, поэтому я знал, что было около одиннадцати. «Если через час не придет, то поеду на поезде в час ночи», — подумал я.

Люция появилась около полуночи. На ней была красная юбка с белыми цветами и легкая блузка; волосы были собраны в хвост, а глаза как-то по-особенному сияли. Она подошла, села рядом со мной, и мы долго смотрели на реку. Я чувствовал облако коричного аромата вокруг ее волос.

— Вот это и случилось, — наконец сказал я.

— Что случилось? — спросила она.

— Мы с тобой вместе, — ответил я.

— Даже и не надейся, — сказала она.

— Люция, я тебя сегодня видел.

— И я тебя видела. Причем пьяным, и вообще мне это не понравилось.

— Я не про это говорю; не пытайся меня сбить; это тебе не твой обряд с физкультурником.

Она с удивлением смотрела на меня.

— Я сегодня видел тебя в джипе с физкультурником. И я хочу, чтобы ты объяснила мне, что происходит.

Она молчала. Потом выдавила:

— Он меня подвез до Велеса. Вот что произошло.

Она и сама понимала, что эта пауза, во время которой она думала, что мне ответить, была слишком длинная и придавала ее словам оттенок откровенной лжи.

Я пил вино и чувствовал, что сложилась ситуация, в которой у меня появилось преимущество, потому что я требовал от нее отчета, и ей, очевидно, было неприятно оказаться в такой ситуации.

— Ты ничего не понимаешь, — сказала она.

— Я, возможно, не понимаю, что такое здоровый народный дух, но прекрасно понимаю, что такое нездоровый секс; в джипе можно и искривление позвоночника получить. Этому ли тебя учит здоровый народный дух, Люция? — спросил я.

Она смотрела на меня, и мне казалось, что она сейчас расплачется; потом вдруг сказала, неожиданно громко:

— Это было просто небольшое собрание. Партийное.

— Ага, вот оно что! Так, значит, вы проводите партийные собрания в джипе физкультурника?

— Что ты придираешься? Мы, если хочешь знать, разговаривали о тебе.

— Вот как! — рассмеялся я. — И как разговаривали? На языке тела? И чем я заслужил честь стать темой вашего партийного разговора?

Она молчала, подперла голову рукой и смотрела на реку.

— А тогда, на Кроличьем холме, вы тоже разговаривали? — спросил я.

Она удивленно посмотрела на меня.

— Какой Кроличий холм? Я никогда не была ни на каком Кроличьем холме, — сказала она ледяным тоном. И добавила: — Ян Людвик. Он требует, чтобы я на тебя заявила.

— Кому заявила, Люция?

— Ему. Директору.

И она рассказала мне, что физкультурник слышал весь разговор между мной и ею, когда она упрашивала меня, чтобы я повторил номер с лестницей, Петрунеллой и ее любовником. Сначала она пыталась меня защитить; он стал наседать на нее еще усерднее, потом то же самое повторилось на партийном собрании перед всеми; она плакала, а они, товарищи по Партии, спрашивали ее, не потому ли она плачет, что чувствует некоторую симпатию ко мне. Она сказала, что не чувствует. Я спросил ее, обманывала ли она их, когда так говорила. Сказала, что обманывала. Потом ей сказали, что недостойно члена Партии здорового народного духа позволить себе стоять на коленях и умолять какого-то неопределившегося выродка, первостатейного клоуна. Получила из-за меня строгий выговор по партийной линии. Еще ее спрашивали, не говорил ли я, что представление пошлое. Она сказала, что, мол, нет, не говорил и

что сказал, что пошлый только номер, с которым сам и выступал. Тогда ей сказали, что это еще хуже, что она валялась в ногах у пошляка, Она согласилась, что совершила ошибку. Потом ее спросили, правда ли, что я сказал так, слово в слово: «Да плевал я на такой здоровый народный дух, который смеется только над гениталиями, которые дают шороху другим гениталиям, и над бздящими анусами; неужели это вершина народного искусства, Люция?!» Она сказала, что это правда. Потом ее отпустили пораньше с партийного собрания и сказали ей, что нужно будет дождаться решения центрального комитета. Она пошла домой в слезах и всю ночь читала мои стихи; проверяла себя и свою партийную совесть и в стихах не нашла ничего такого, что могло бы нанести какой-нибудь особый ущерб Партии и здоровому народному духу; тем не менее она и потом считала, что для выступления в школе эти стихи были *несоответствующими.* И сказала, что сегодня, когда я напился, к ней подошел физкультурник и сказал ей, чтобы она поехала с ним в Велее, а по пути он сообщит ей решение центрального комитета. И сообщил, что ей дали выговор с угрозой исключения из Партии и что у нее есть три месяца сроку, чтобы доказать свою

лояльность Партии, И что в течение этих трех месяцев она не имеет права ни видеться, ни даже разговаривать со мной, и что за эти три месяца она должна составить полное досье на меня, описав все прошлые контакты со мной, а также передать им все, что я отсылал ей в письменном виде.

Она продолжала рассказывать: когда он сообщил ей все это, она заплакала. Физкультурник испугался, как бы ей не стало плохо, как после мероприятия, и остановился, чтобы она успокоилась. Они встали в тени, под ореховым деревом. Он и дальше продолжал давить на нее, чтобы она заявила на меня и в школе за то, что я отказался повторить номер; тогда физкультурник со спокойным сердцем мог бы подписать приказ о моем отчислении из школы. Она просила, чтобы он не требовал от нее такого. Тогда он сказал, что потребует кое-чего другого; попробовал ее обнять, но тут какой-то дурак бросил в джип камень, что-то разбилось, и они уехали.

Я сказал, что этим дураком был я.

— Ты нас видел? — спросила она обеспокоенно.

Люция побледнела; меня поразило, что она попросила у меня сигарету; я дал ей; она закурила.

Глаза у нее сейчас были красивы как никогда; волосы рассыпались по спине до талии; она сидела на набережной рядом со мной, можно было протянуть руку и дотронуться до нее.

— А маска? — спросил я. — Почему физкультурник был в маске в джипе?

Она поглядела на меня со страхом:

— В какой еще маске?

— Сегодня, когда я бросил в джип камнем, он повернулся к кустам, в которых я скрывался, и я увидел, что он в той же маске, в какой был, когда вы представляли обрядовое действо. А за минуту до этого, когда вы разговаривали, маски на нем не было. Значит, он надел ее перед тем, как тебя обнять.

Она совсем перепугалась.

— Ты рехнулся. Или напился. Не было никакой маски, — сказала она.

По ее голосу я почувствовал, что она не врет; но тогда возникали серьезные вопросы, связанные с моим душевным здоровьем: я видел то, чего другие не видели, и слышал то, чего другие не слышали.

— Люция, ты веришь в реинкарнацию? — спросил я.

Она посмотрела на меня долгим взглядом и

сказала:

— Наверное, да.

— Наверное или веришь? — не унимался я.

— Не знаю, — ответила она.

И в этот момент я заметил красивую брошку, приколотую к ее блузке, от которой у меня похолодело все внутри: черный огромный паук.

— Откуда у тебя такая брошка? — спросил я.

— От прабабушки, — ответила она. — Тебе нравится?

— Нет. Ты же знаешь, у меня фобия к паукам.

— А почему ты меня спросил про реинкарнацию? — спросила Люция.

— Потому что я вижу вещи, которые не должен видеть. То, что другие не видят.

Потом я спросил Люцию, что она теперь будет делать, после выговора. Она сказала, что подумает. Я спросил, любит ли она меня. Она сказала, что ей кажется, что да, любит. Но сразу же добавила, что эта любовь будет означать выход из Партии. Я спросил, кажется ли это ей слишком высокой ценой. Она ответила, что не кажется. И сказала еще, что хочет как следует поразмыслить над тем, что произошло. И встала.

— Ты куда собралась, Люция? — спросил я.

— Домой.

— Мы еще не закончили, Люция, — сказал я.

— Что еще ты хочешь услышать?

— Я хочу знать, спала ли ты с физкультурником и сколько раз.

Люция рассмеялась. Она смеялась до истерики; оперлась на мое плечо, смеялась до потери сознания, сказала, что никогда не слышала ничего смешнее. Я вскипел; ее смех довел меня почти до нервного срыва; к тому же во мне, вероятно, кипела водка, выпитая в жару, и вино, выпитое только что; меня обидело то, как она сказала, что никогда не слышала *ничего смешнее*, и я вспомнил номер про наивного мужа, Петрунеллу и ее любовника; я спросил, что тут смешного, а она, обессилев, оперлась о парапет набережной и сказала:

— Спроси в Партии, может, они ведут учет.

— Люция, я ведь могу тебя убить. Не играй с огнем, — сказал я.

— Узнаешь, когда подрастешь, — сказала она и опять расхохоталась.

Я встал. Наверное, я был страшен, с бутылкой вина в руке, потому что у Люции смех вдруг застрял в горле; она попыталась убежать.

— Говорю тебе, я с ним не спала! — закричала она в панике.

Я схватил ее за волосы и потащил назад; она охнула и упала, я отшвырнул бутылку, она разлетелась вдребезги, а я в тот же миг навалился на Люцию. Страстно целовал ее в шею, кусал ее; она умоляла меня перестать, не обижать ее; я схватил ее блузку и рванул; пуговицы полетели в темноту, и еще две или три секунды слышался стук, когда они прыгали по набережной, как просыпавшийся рис; в смутном ночном свете сверкнули ее небольшие груди, как у собаки; я впился в ее тело и скоро нашел губами ее пупок; она осыпала меня ударами, кричала, что после этого между нами все кончено, что я все испортил, что я свинья, что она на меня заявит, что непременно на меня заявит, что убьет меня, что меня убьет Партия, когда она сообщит им обо всем; но мне уже было все абсолютно все равно, я только целовал ее пупок, эту райскую чашу с небесным нектаром, этот центр вселенной, и начал уже тонуть в нем, пропадать в неведомых глубинах.

— Что ты делаешь? — спросила она, видимо удивленная этой игрой, этой неожиданной и непонятной для нее нежностью после того, как я искусал ей все тело.

— Ищу пуп земли, — ответил я и продолжил игру с ее пупком.

Она затихла, перестала бить меня, ее руки протянулись к моему лицу, она привлекла меня к себе, к своему лицу, к губам, и в следующее мгновение по тому, как она *приняла меня* и *открылась мне, я* понял (ее движения были для меня совершенно незнакомыми, потому что я еще ни разу не спал с женщиной), что это была уже не та Люция, которая спрыгнула с турника ко мне в объятия. Я понял, что на самом деле физкультурник был в маске в джипе и что Люция обманывает меня; в этот миг крайним усилием я сдержался, чтобы не размозжить ей голову разбитой бутылкой, лежавшей рядом, стоило только руку протянуть; я прекратил игру, в которой она действовала совершенно *автоматически,* как машина; мы извивались друг у друга в объятиях; в какой-то момент я стащил с нее юбку, а потом и трусики и смотрел на нее, голую, лежащую подо мной, совершенно побежденную; нужно было только лечь на нее. Но во мне вскипал гнев и какое-то странное чувство, что меня *используют*: меня охватило чувство, что все случилось слишком быстро и легко, что она все то же самое делала в маске Люции-недотроги, и я решил отомстить самым глупым из всех возможных способов — способом, которым может решить отомстить

только молодой человек, не спавший с женщиной; в момент, когда я должен был быть *в Люции,* я лишил ее этого удовольствия; она жмурилась и ждала, но ничего не происходило. В конце концов она открыла глаза и посмотрела на меня. Я стоял над ней, застегивая брюки.

— Ты что делаешь? — спросила она.

— Вот, значит, как у вас проходят партийные собрания, — сказал я, повернулся и пошел прочь.

Я поднимался по ступенькам с набережной, оставив ее там, голую и униженную. Я шел не оборачиваясь; слышал, как она встала, как натянула на себя юбку, потом блузку без пуговиц. Потом она закричала:

— Ты просто свинья, Ян Людвик!

Я уже шел по дорожке к улице.

— Ты еще не спал с женщиной, Ян Людвик!

Последняя фраза была как яд; она была моим поражением в ту ночь; эти простые, правдивые слова уничтожили мою победу, которой я добился, сексуально унизив Люцию. Потому что это была правда: я еще не спал с женщиной, и Люция поняла это; использовала это, чтобы насмеяться надо мной, ответить унижением на унижение. Я сломя голову бросился на вокзал. Скоро подошел поезд, остановился, и я сел в последний вагон.

В дверях стоял проводник. Он спросил меня, знаю ли я, как закончилась сегодняшняя игра. Я сказал, что не знаю, что сегодня целый день не смотрел телевизор и не слушал радио. Кондуктор сказал мне:

— Молодой человек, у вас что-то приценилось на футболке.

Я посмотрел, куда он показывал, и оторопел: на мне была брошка Люции, черный паук с золотыми лапками; он зацепился одной ногой и висел на мне. Очевидно, когда я боролся с Люцией, он откололся и решил поменять владельца.

Я положил его в карман, а по спине у меня пробежал холодок.

* * *

То, что на самом деле мне показалось таким отвратительным в поведении Люции в ту ночь, было всего лишь одно небольшое движение ног, *технически* безукоризненно исполненное перемещение бедер, которым она меня привлекала к себе, *завлекала* меня, так что я очутился именно в том месте, где должен находиться мужчина, когда он собирается переспать с женщиной; это был элемент доведенной до совершенства техники любви, настоящей услады для опытного

мужчины, которому повезет встретить такую искусную женщину. А на молодого и неопытного человека эти техничные любовные движения действуют устрашающе и подавляют его чувства; так вот и случилось, что именно то, чего все хотят от женщины, меня от нее оттолкнуло. Понятно, что это был страх; это был врожденный страх перед *грамматикой* любви, результат незрелости и неопытности; потому что я ожидал совсем другого. По ночам, когда я страстно мечтал о теле Люции, я не предвидел такого движения; в этом движении было нечто холодное, рутинное, привычное; тот, кто видел, как паук плетет свою паутину, знает, что он делает это с холодной геометрической точностью, в соответствии с совершенно для него ясным осознанием своих анатомических возможностей. Это было движение *с целью,* абсолютно *прагматический* жест; именно то, что пугает молодых людей при встрече с опытными женщинами; в моем случае этот страх усилился и тем хорошо известным и наивным юношеским гневом, причиной которого является мучительное, почти спортивное страдание от мысли, что ты не первый; это похоже на убеждение молодых художников в собственной оригинальности и своеобразии, в

том, что они единственные и что они напишут нечто совершенно неожиданное и неизвестное, заблуждение, освобождение от которого приходит потом трудно и мучительно. Мне было ясно, что Люция не меня выбрала тем, кто первым мог видеть зарождение этого движения; я понимал, что это движение Люции — не мое, а я хотел, чтобы это движение было только нашим, и не хотел участвовать в этом, как нормально для любовника какой-нибудь женщины не желать носить пижаму ее предыдущего любовника; меня выводила из себя мысль, что она *только тогда* допустила меня к себе, когда приобрела некоторое преимущество в опыте по сравнению со мной, когда научилась этому движению и теперь *мне его демонстрировала,* как демонстрируют новую машину тому, у кого нет никакой.

Позже, в цирке, когда я уже созрел как мужчина, я убедился, что анатомические возможности в технике любви все же ограничены (хотя и весьма богаты) и что они сводятся к тем, в сущности, нескольким понятным сигналам и движениям, обычным у всех, и что я совершенно зря рассердился на Люцию в ту ночь на набережной. Сюда, понятно, не входят исключения (в цирке была одна женщина, которая могла, лежа на животе,

свернуться так, что ее ноги оказывались у лица; она часто смешила нас, когда курила в такой позе); но в цирке вообще было другое отношение к технике: больше всего технике уделяли внимание при работе над номерами, а во время спектакля о технике надо было забыть; над техникой работали постоянно, в каждую свободную минуту, но, когда начиналось представление, про нее забывали и ее не было видно; а если было, то за это платили жизнью. Если встать на трапецию и начать думать о технике полета к трапеции, уже отпущенной с противоположной стороны, то тебе конец; если ты хочешь остаться в живых, то необходимым условием этого было забыть про технику, а она в те моменты, когда про нее забывали, функционировала без сучка и задоринки.

Я помню, как, до того как начать играть на саксофоне, приходил в восторг от игры некоторых знаменитых мастеров — Чарли Паркера и Вэйна Шортера, например. Я считал их богами; насвистывал их соло, восторгаясь вдохновением, которое их создало; но когда я сам научился играть на саксофоне, когда я полностью овладел техникой игры (дыханием и работой пальцев), магическая аура вокруг их исполнения совершенно исчезла: я понял, что это *совершенство*

по большей части было результатом высокого мастерства и что где-то там, в беглости пальцев, отработанной технике дыхания (невозможно вдохнуть дважды и не выдохнуть), и находилось то, что позволяло исполнять эти пассажи и мелодические линии. Никогда я не мог наслаждаться игрой на саксофоне так, как до того, как научился играть; так и с любовью: как только я овладел техникой любви, исчезло мифическое представление о слиянии мужчины и женщины как чего-то, что происходит *неопределенным* и *свободным* образом.

А я тогда не хотел овладеть этой техникой, чтобы как можно дольше жить с неясными мифическими представлениями о телесном слиянии с Люцией. Я защищал свою собственную мифологию, согласно которой можно было читать, не выучив буквы. В одном месте в своей тетрадке, после выпивки, не знаю, по какой причине, я записал: «*Трудно тому, кто умеет читать только потому, что предварительно выучил все буквы и знаки языка, на котором он читает; легко тому, кто умеет читать и не зная заранее значения знаков; только тот и читает по-настоящему. Ибо у всякой буквы, даже неведомой, есть свое тепло, отличное от тепла других букв, как у*

всякой вещи на земле есть свое тепло и свой цвет. У воды разве нет своего тепла и разве не холоднее она огня, который горяч? А воздух разве не посередине между этими двумя? Так и я, когда провожу перстом по буквам неведомым, чувствую их теплоту и свет их вижу, ибо у каждого тепла есть свой цвет, и знаю, говорится ли в написанном о холодном или теплом, о темном или светлом, о хорошем или плохом».

Как бы то ни было, после того случая на набережной у меня не было никакого контакта с Люцией. Из этой моей несчастной авантюры я выбрался с двумя потерями: во-первых, я понял, что Люция прекрасно видит, что мое тело неопытно в любви и что я не спал с женщиной; это было для меня так унизительно, что я никуда не выходил; я впал в депрессию и начал подумывать, не взять ли проститутку, чтобы тем самым *покончить с этим делом* (я думал именно в таких выражениях, и они мне и теперь очень нравятся: покончить с этим делом); во-вторых, я не знал, имеет ли смысл, когда я усвою *технику*, вернуться к Люции.

Время шло, и гнев и ненависть оттого, что я не был у Люции первым, стали для меня невыносимым бременем, потому что все-таки они

смешивались с оставшимся сладким вином любви; со мной случилось нечто, необъяснимое до сегодняшнего дня, нечто совсем невероятное: я больше не думал о теле Люции абстрактно; не думал о ее груди (конкретно), ни о ее ляжках, ни о ее бедрах (конкретно), а меньше всего — о том, что находится у нее между ног, этой замочной скважине с неведомой мне надписью; целыми ночами я мечтал только о пупке Люции. Я был убежден, что это лучшая часть ее тела, что только она осталась от моей Люции и что я был первым, кто пил небесную амброзию из этой чаши, полной звезд. Может быть, в этом было утешение, которое сжимало весь мир, сводило его к одной точке; может быть, это был психологический механизм, которым моя мужская ущемленная суетность защищалась от реальности; но, может быть, это было идеей фикс и — я скажу об этом открыто впервые — обломком какой-то моей предыдущей жизни, какой-то моей предшествующей инкарнации. Как разговор, который я слышал, и свет, который я видел в тот день, когда открылась измена Люции в джипе, я в этом убежден, не были частью моей жизни, а какой-то другой; они в тот день не принадлежали мне таким же точно образом, как мне не принадлежало

тело Люции в ту ночь.

Земанеку о той ночи я не сказал ничего; сказал ему только, что видел Люцию с теткой на улице, но к ним не подошел; он сказал, что я поступил умно, потому что был все еще нетрезв и вообще не в себе. Это меня встревожило, но я не хотел обращать на это особого внимания.

* * *

Около полудня, за три дня до окончания учебного года, посреди урока математики меня вызвали в кабинет директора. Я не знал, зачем меня вызывают, но предположил, что после случая на набережной Люция рассказала, что я бросил камнем в джип, и теперь физкультурник захочет, чтобы я заплатил ему за ущерб. Я постучал в дверь, но он не ответил. Постучал еще раз — никакого отклика. Тогда я легонько надавил на дверь, и она открылась; физкультурник сидел за столом, решал то ли ребус, то ли кроссворд и, ненадолго оторвавшись от своего занятия, посмотрел на меня:

— Кто тебе разрешил войти?

— Но я стучал, господин директор.

— А я тебе входить не разрешал. Теперь выйди, а потом снова войди, но так, как входят воспи-

танные люди, а не скоты.

В тот момент мне просто хотелось убить такого неслыханного дурака; в тот момент мне противна была и Люция; ничего я больше не любил, один гнев кипел во мне; тогда, у дверей, я впервые подумал, что лучше всего уйти в монахи, тем самым символически отрезать себе гениталии, из-за которых я страдал, кастрировать самого себя, оставить всех этих пресмыкающихся и насекомых вокруг меня плодиться и размножаться до бесконечности; петь песнопения Богу, а не лукавой и неверной женщине или какому-то двуличному Хору; я постучал посильнее, но он опять не отвечал. Тогда я загрохотал кулаком что есть мочи, и он наконец откликнулся:

— Войди!

Я вошел и встал перед ним.

— Так-то лучше, — сказал он — Тебе надо научиться долбить, как мужчине! — сказал он двусмысленно, с издевкой.

У меня подогнулись колени: неужели, подумал я, неужели эта дура Люция все ему рассказала? Возможно ли, что она рассказала ему и про мой мужской провал на набережной?

Но он сидел в своем кресле, вертелся в нем туда-сюда, демонстрируя свою незаслуженную власть

самым незамысловатым и провинциальным образом. На столе лежал нерешенный кроссворд с анаграммой и ребусом: его любимое занятие. Я взглянул направо и увидел на стене огромную фотографию его партийного лидера; я удивился, потому что еще несколько месяцев назад на этом месте висел плакат с футбольной командой, за которую болел физкультурник. Он показал мне на стул, и я сел. Он спросил меня, в какой связи я нахожусь с ученицей Люцией. Я ответил, что не нахожусь ни в какой. Спросил, были ли у меня с ней контакты более близкие, чем обычно. Я сказал, что не было.

Потом он очень медленно и театрально вытащил из ящика письменного стола мою тетрадку со стихами; на глаза у меня навернулись слезы: дело моих рук, единственный экземпляр моей души, оригинал, который я подарил моей Люции, теперь находился в волосатых лапах физкультурника.

— С твоего разрешения, — сказал он, — я это размножу. И раздам всем нашим ученикам, чтобы они поняли, что такое чистая любовь и чистое искусство, — сказал он, усмехаясь. Этот остолоп, человек, у которого не было души, одно только тело, еще и издевался надо мной. — Как это у тебя

говорится в одном из стихотворений — *сделаем копии,* а?

Он повертел в руках мою тетрадку, открыл ее и начал читать вслух; он старался унизить меня тем, что читал медленно, стихотворение за стихотворением, а потом смеялся, спрашивал меня с ухмылкой, что я хотел сказать этим; как звезды могут шептаться, да как может шея девушки быть похожей на башню Давидову; как губы могут быть как гранат, а груди — две серны между лилиями, как глупо, когда человек говорит, что чьи-то волосы — как стадо коз, и так далее и тому подобное. Ему ничего не нравилось, и он комментировал все самым вульгарным образом; например, не променял бы я ученицу Люцию на козу, а то бы он мог мне помочь и найти мне козу в его селе, раз уж я думаю, что козы такие сексапильные. Так он измывался целый час, и я воспрянул духом, только когда ему позвонила уборщица и сказала (в трубке все было слышно, и, как он ни прижимал ее к уху, я слышал весь их разговор), что пришли покупатели, которые хотят купить какую-то ткань из тех, которыми он спекулировал. Он прогнал меня, добавив вдогонку, когда я был уже в дверях:

— Руки оборву, если еще раз поймаю тебя с

такими глупостями.

Я остановился и вдруг сказал:

— Отдайте мне мою тетрадку, пожалуйста.

Он цинично посмотрел на меня и ответил:

— Чего это я ее тебе отдам? Неужто у тебя, у писателя, нет копии?

— Нет, — ответил я.

— О! Значит, я имею честь держать в руках оригинал? Кто знает, сколько когда-нибудь будет стоить этот манускрипт (так и сказал: *манускрипт*), лет так через десять или двадцать, когда ты получишь Нобелевку, а?

— Господин директор, я вас прошу отдать мне мою тетрадку; я ничего не вынес отсюда за все четыре года, кроме нее.

Он пристально посмотрел на меня и сказал:

— Не могу. Я верну ее владельцу, который мне ее и дал, чтобы я ее прочитал. — Положил в ящик письменного стола и запер.

Я постоял еще и потом спросил:

— А когда вы отдадите ее Люции?

Он усмехнулся и сказал:

— Завтра утром. А это что-то меняет?

— Нет, спасибо, — ответил я и вышел понурив голову.

(И до сего дня оригинала у меня нет. Все эти

годы в цирке я пытался сделать копию, вспомнить все строчки тех стихотворений, но попытки эти были безуспешными; я на самом деле постоянно писал что-то новое, что-то добавлял, что-то вымарывал, потому что не мог вспомнить все, что там было написано; в конце концов я бросил это совершенно бесполезное и безумное дело — создание копий, абсолютно идентичных оригиналу.)

Я вошел одним, а вышел совсем другим Яном Людвиком. Я ненавидел весь свет: всех — и Люцию, и Земанека, и физкультурника, и Партию; теперь наконец прервалась пуповина, соединявшая меня и Люцию; я ненавидел даже тех, кто мне ничего не сделал, был нейтральным, как Земанек; я ненавидел их за то, что они были нейтральны и тем самым потакали тем, кто заставлял меня страдать, Ибо сказано: кто зло созерцает с равнодушием, тот скоро начнет созерцать его с удовольствием!

Когда я шел в класс, я скрипел зубами от злости. «Вот здорово! — думал я. — Как прекрасен, благонадежен и честен род человеческий». Я вошел в класс, все смотрели на меня с нескрываемым любопытством, а я сжимал зубы, чтобы не расплакаться. Значит, Люция дала ему тетрадку с

моими стихотворениями после пережитого унижения; может быть, это значило, что раньше она ее не отдавала, пока не случилось то, что было на набережной, и отдала она ее потому, что любит меня, то есть ненавидит, а ненавидит потому, что я не дал себя любить. Но теперь о перемирии и любви не могло быть и речи; я боялся и Люции, и ее тела, я был в гневе на нее из-за ее неверности, она была в гневе на меня из-за моего показного сексуального к ней равнодушия, и в конце концов я был глубоко унижен тем, что моя тетрадка оказалась в руках Партии. Было более чем очевидно, что мы начинаем мстить друг другу. Я сел на свое место, сзади Люции, Она избегала моего взгляда, потому что знала, что меня вызывали к директору, И знала, что я знаю, что это только честь мщения. Но и я решился идти до конца, И так и вышло. Причем очень скоро.

После урока одна ее подружка подошла ко мне и спросила, не у меня ли паук, брошка Люции. Я сказал, что нет.

* * *

После обеда ко мне домой пришел Земанек и позвал меня к себе: он хотел мне кое-что показать, что, по его словам, меня точно развеселит.

Он повел меня на окраину города, и я, как только мы вышли из автобуса, увидел, что в наш город приехал на гастроли цирк. Я был совершенно счастлив, потому что еще издалека мне казалось, что под этим шатром, под этим куском неба, происходит нечто чудесное, что не имеет никакого отношения к миру вокруг. И действительно, потом под этим шатром, в этом совершенном круге, я нашел душевный покой; нашел центр мира, нашел себя в этом центре, созрел как мужчина.

Когда теперь я думаю об этом, мне и вправду кажется, что тогда цирк, кроме, может быть, еще монастыря, был единственным местом, где не действовали законы окружающего его мира; он был государством в государстве, нацией и миром в самом себе, космосом в космосе, маленьким небом в большом небе. Там не действовали не только законы общества (и плохие и хорошие), но и законы природы — закон всемирного тяготения, например. Иначе как можно было объяснить эквилибристику шестидесятилетнего алкоголика Рональдо Гонсалеса, который шел на одной ноге по проволоке с женой на спине; или номера на трапеции Инны и Светланы Колениных, потрясающие выступления группы акробатов из Латвии или тем более то, что вытворяла гутта-

перчевая женщина Аманда Заморано, которая могла курить, держа сигарету пальцами ноги и при этом свившись кольцом и лежа на животе? Это была безопасная территория, что-то вроде антропологического убежища для тех, у кого были нелады со всем миром и кто из-за этого стал выполнять трюки на грани невозможного: стоять на лестнице, которая ни на что не опирается, ехать на велосипеде по веревке на высоте двадцати метров, выделывать всякие трюки втроем на трапеции, где места было только для одного, и все такое прочее. Во всем этом было что-то от подвижничества, своего рода месть миру снаружи, тем, кто их обидел, тем, *снаружи,* как говорили на цирковом жаргоне. То есть они считали, что другие *снаружи,* а они *внутри*; другие, в свою очередь, — а это были Люция с ее Партией, физкультурник и, немного попозже, Земанек — считали нас отбросами общества, так сказать чудаками, и думали, что это они *внутри*, а мы *вне* общества. Люди в цирке на самом деле воспринимали мир вне их круга, вне их обороняемой территории, как опасный и странный; я читал, что такая *обороняемая зона* есть у всех животных и что она может быть от нескольких миллиметров у муравья до трех метров у льва; это

хорошо знали дрессировщики львов, и длина их кнута была именно равной этой зоне, запретной для посторонних.

Когда мы вошли в цирк (Земанек подкупил сторожа, чтобы нас пустили), там репетировала Инна Коленина, женщина-паук. Я посмотрел на нее: она была не старше двадцати двух — двадцати трех лет; она сверкала в ярком свете, как рыбка в воде на закате солнца; забравшись на трапецию, она выделывала головокружительные трюки, описанием которых я вас утомлять сейчас не стану; с ней, только с другой стороны, репетировала ее сестра, Светлана; они перелетали с трапеции на трапецию в полной тишине, так что слышно было только, как скрипели канаты, на которых были подвешены трапеции. Это длилось с полчаса, а может быть, и час; время ничего не значило, и я разглядывал эту женщину, ее тело, ее незнакомую душу, я видел, с какой *холодной страстью* она делает свое дело, совершает настоящий подвиг, возвышаясь над собой, и думал: «Наверняка она была очень несчастна снаружи; кто знает, каким образом и как часто унижал ее какой-нибудь мужчина, чтобы она сумела сделать такое!» Я и не предполагал тогда, что я сам уже почти внутри, в цирке.

Вдруг она неожиданно соскользнула с трапеции и упала в страховочную сетку; запуталась, к ней подбежал униформист и помог ей вылезти. Она начала говорить с ним о чем-то по-украински, показывала на нас, и я по ее сердитому голосу понял, что, скорее всего, она недовольна, что сторож пустил нас на ее репетицию. Позднее я выяснил, что все звезды цирка требуют, чтобы на репетициях никого не было, кроме участвующих в номере и униформы; постоянно случается, что у них пропадает концентрация, если есть хотя бы пара глаз, следящая за ними, Это потому, что они готовятся к каждому номеру, как-будто *никто никогда его не видел,* из этого проистекает и совершенство этих номеров в момент их показа публике, это и есть стремление к абсолюту. Мы, люди, раскрываемся полностью, только когда уверены, что никто нас не видит; в этом и есть философия холодной страсти, примирение с *безглазым* миром и слепой судьбой, стратегия, приносящая публике невиданные, чудесные плоды, Инна показала на нас, и униформист, пожилой седовласый господин в черном костюме с красной бабочкой, подошел к нам и на скверном сербском попросил нас удалиться. Земанек встал и сказал, что мы придем позже, на пятичасовое

представление; а я, как частенько со мной было в последнее время (говорить совсем не то, что я думаю, как будто не своим языком, как будто я переживаю заново куски чужой жизни), сказал;

— Конечно. Но я попросил бы вас спросить госпожу, не могла бы она после окончания тренировки подойти к нам, чтобы я спросил у нее кое-что?

Униформист пристально поглядел на меня и спросил:

— А вы кто? Вы знакомы с госпожой Инной?

Тогда впервые я и услышал это имя, Я ответил:

— Меня зовут Ян Людвик, и я думаю, что я знаком с Инной.

— Вы думаете? — спросил униформист, — Значит, вы не уверены, Земанек стоял рядом и с изумлением смотрел на меня, как тогда, на насыпи.

— Дело в том, что я совершенно точно знал госпожу когда-то, очень давно, — сказал я, а он смотрел на меня как на безумца; я думаю, он решил позвать охрану, пока я не наделал бед, и поэтому сказал:

— Подождите.

Но я не дал ему уйти и сказал:

— Я хочу задать госпоже Инне только один

вопрос.

— Хорошо, задавайте, я ей передам, — сказал он.

Я посмотрел на Земанека и сказал:

— Спросите, не хочет ли она после репетиции выйти за меня замуж?

Он кивнул, будто одобряя вопрос; было видно, что он считает, что я совершенно невменяемый. А я добавил:

— Вы знаете, я только что разошелся с одной девушкой и хотел бы жениться. Но я хотел бы взять женщину отсюда, а не снаружи.

В этот момент в глазах у старика появилось чуть больше доверия.

— Вы не хотите женщину *снаружи?* — переспросил он.

Я повторил:

— Да. Я не хочу жену снаружи.

Он попросил подождать и направился к женщине-пауку, которая опять упала в свою паутину и трепыхалась в ней, пытаясь встать на ноги и выбраться из прочной сетки.

Униформист подошел к Инне, наклонился к ее уху и что-то прошептал, после чего она захохотала. Земанек сказал:

— Ты рехнулся, Ян Людвик, тебе к психиатру

надо.

— У меня тоже есть гениталии, — сказал я, с любопытством рассматривая все вокруг.

— И ты женишься на этой?.. — сказал Земанек, не закончив свою мысль.

— Зови ее буквой «Ж». Я женюсь на букве «Ж».

Инна все хохотала, опершись на плечо униформиста; засмеялся и сам униформист; к ним подошла Иннина сестра Светлана и с любопытством спросила, что произошло; униформист что-то ответил по-украински, и она тоже залилась. Потом Инна что-то прошептала униформисту, он кивнул и, подойдя ко мне, сказал:

— Госпожа с удовольствием ответит на ваш вопрос, если вы сейчас уйдете, а вечером после представления вы найдете ее в ее вагончике.

Тогда я встал, посмотрел вокруг и увидел, что и Инна с любопытством смотрит на нас двоих, пытаясь угадать, кто из нас этот совершенно спятивший Ян Людвик; чтобы *определиться*, я послал ей воздушный поцелуй; она захохотала еще пуще, вернула мне поцелуй, то же самое проделала и ее сестра, а я с Земанеком вышел из шапито.

Мы очутились на улице. Начинался дождик, а зонтиков у Нас не было. Я предложил Земанеку

пойти что-нибудь выпить в близлежащем кафе, он согласился, и тем вечером мы посетили все три представления: в пять, в семь и в девять. После третьего представления я пошел искать Инну в вагончике. Она открыла мне дверь (одета она была в дешевые джинсы из Восточной Германии и блузку; с ней была и ее сестра Светлана).

— Добро пожаловать в цирк, — сказала та на плохом английском.

У Инны была до прихода в цирк классическая несчастная судьба: рано умерший отец-алкоголик; мать осталась с двумя детьми; обе в школе занимались партерной и силовой гимнастикой, получалось у них хорошо, и по совету учителя они начали тренироваться у какого-то знаменитого русского специалиста, переехавшего на Украину. Потом, из-за того что денег не было, им пришлось прекратить занятия и подыскать себе работу; Инна стала работать в каком-то кафе; там она была и танцовщицей, и официанткой; там познакомилась с парнем, в которого влюбилась и который пообещал ей работу в другом большом городе. Она настояла, чтобы к ней приехала ее сестра; та приехала, но из связи с этим парнем ничего не вышло, потому что он был не владельцем кафе, как он сказал, когда они познакомились, а

владельцем тайного борделя. Он предложил им работать у него в качестве высокооплачиваемых проституток, те отказались; он пригрозил им, что убьет обеих, и двое суток держал их под замком у себя дома; приехала полиция и их освободила, но разразился скандал, их имена и фотографии были во всех газетах, и они больше не вернулись в родной город и до сих пор даже не знали, жива или нет их мать. Они уехали в другой город, еще больше, и там попробовали поступить работать в цирк, который в тот же день должен был уезжать из города; они сочли, что это добрый знак, что в цирке их накормят и увезут куда-нибудь подальше. Инна и Светлана показали все, что они умели в партерной гимнастике; один старик, нынешний униформист, когда-то бывший известным исполнителем номеров на трапеции в цирке, а тогда работавший уборщиком и продавцом мороженого, заинтересовался ими и взял их к себе в свой вагончик; он кормил их из своей порции, они спали в его кровати, а он спал под открытым небом. В перерывах между представлениями он научил их всему, что знал и умел сам. А теперь все наоборот: они звезды, а он у них помощником.

Они рассказывали эту историю без слез и без гнева, с равнодушием, какое бывает только у

монахов и монашек в монастыре. Говорили, как будто то, что произошло, должно было произойти, и я почувствовал смирение, какого не встречал до того никогда в жизни.

Где-то перед рассветом я попросил сходить в шапито и найти мне лестницу (мне принесли прекрасную алюминиевую лестницу для эквилибристики); я показал им мой номер с Петрунеллой, любовником и рогатым мужем; они смеялись до потери сознания, просили повторить номер, и в конце Инна сказала:

— А почему бы тебе не выступить с этим номером несколько раз, пока мы в городе?

Я согласился. Земанек побледнел.

— Ты не циркач, — сказал он.

Но я ответил:

— Земанек, я и раньше был циркачом. Но этого от меня требовала Партия Люции. А теперь меня просит девушка, которую я не люблю, как Люцию, но которая мне нравится; так почему бы мне и не выступить?

И правда, Люция просила меня быть циркачом не потому, что так хотелось ей, а потому, что так хотела ее Партия; Инна же просила меня стать клоуном (с заметной одаренностью в эквилибристике) не потому, что это принесло

бы какие-нибудь очки цирку, а потому, что ей нравилось мое дурачество; она смеялась, как не смеялась ни одна женщина в мире; смеялась так, как Люция, моя Люция никогда не смеялась, не смеется и смеяться не будет, хотя и могла бы смеяться, если принять во внимание ее судьбу, не идущую ни в какое сравнение с судьбой Инны; и я сказал:

— С удовольствием, Инна. С удовольствием.

Так началось все это с Инной и с цирком. А я вечером заснул мирным сном, каким не спал с тех пор, как познакомился с Люцией. Понятно, я любил Люцию, но теперь передо мной было нечто конкретное: красивое тело, про которое я знал, что когда-нибудь оно действительно станет моим. И что я стану мужчиной — без ненужных движений, которыми оттачивается техника любви. Инна на трапеции выглядела совершенно естественно, как будто ни дня не посвятила тренировкам и упражнениям; не было причины ей не быть такой же и в постели. У меня был и дом — небесный шатер.

* * *

Вернувшись из цирка, я смотрел на все вокруг с чувством внутреннего превосходства. Мне был

смешон мой вчерашний конфликт с физкультурником; я просто не мог понять, почему я был настолько глуп, что вообще уделил какое-то внимание этому конфликту. Когда я вышел из цирка, я понял, что мир Люции, Партии, школы, семьи, нации, государства — это обычный неубранный двор; мир без цирка казался мне бедным, смешным и неполным; он генерировал только мелкие неприятности, которыми пугал несчастных мух, попавших в его паутину; эти мухи думали, что мир заканчивается за оградой этого маленького двора, и не видели, что за ним есть нечто еще, и еще, и еще; в цирке, после всего нескольких проведенных там волшебных часов, я помял, что мир огромен. (Нечто подобное со мной случилось лишь однажды; у меня была двойка по математике во втором классе, Земанек хотел меня утешить и дал мне книгу Карла Сагана, которая называлась «Космос»; в ней рассказывалось о новых, неизвестных мирах; утверждалось, что каждую секунду погибают миллиарды миров и возникает столько же новых; тогда в первый раз мне показалась смешной моя проблема с двойкой по математике.) Мне была смешна фраза «здоровый народный дух», потому что она казалась мне чем-то похожей на «здоровый народный бройлер». Я

не мог понять, что я жил в клетке, не мог понять, что ложная граница космоса, установленная системой, политикой, обществом, сводящая весь великолепный мир к трем зонам — сексу, политике и экономике, может настолько притупить восприятие человека, что он перестает видеть невидимое — подвиг, то, что скрывается за внешней стороной вещей. Я спрашивал себя: почему я не дал физкультурнику по морде, когда он издевался надо мной, читая мои стихи? Почему не разбил ему нос? Чего я боялся? Что меня вышвырнут с его территории, из его вонючего, большого, а на самом деле мелкого, провинциального мирка? И почему я не изнасиловал Люцию той ночью? (На самом деле она лукава, как всякая женщина, она меня обманула, перехитрила, потому что вовремя сдалась; я *хотел* непременно взять ее силой, показать некое превосходство над ней в ответ на ее партийную приверженность; но она ощутила это и в ключевой момент отдалась мне, чтобы лишить меня этого удовольствия, потому что Партия, общество, нация и семья *научили ее*, что недостойно, когда кто-то тебя насилует; и вот она своим согласием создала себе алиби, она хотела скандал, который я давно планировал, превратить в обычный половой акт; и я тут спло-

ховал, испугавшись ее внезапного движения.)

В этом и состоял парадокс: вне цирка находится целая планета, миллионы и миллионы квадратных километров; а у нас в цирке есть только круг радиусом метров в двадцать, и все же у нас в цирке целый мир (я подсчитал, что по формуле πr^2 площадь всего 1256 м^2). Раз уж мы заговорили о подсчетах, должен вам сказать, что в цирке у меня стал навязчивой идеей подсчет объема чаш и бокалов; меня интересовало, каков объем женского пупка, что в него помещается такое количество звезд, и какой такой крепкий небесный напиток собирается в нем при спаривании, и почему так пьянит этот напиток, совершенно невидимый, пренебрежимо малый, если выражать его в единицах объема); значит, пространство у них, а мы лишь часть его; нас изгнали с большого на малое небо, а изгнали нас такие, как Люция, как физкультурник, а позже и Земанек; вот так обстояли дела, и это утешало.

Когда я проснулся утром, голова у меня была тяжелой, как свинцовое ядро: я всю ночь пропьянствовал с Земанеком в студенческом баре; школьникам туда ходить было запрещено, но у нас с Земанеком был там приятель (брат контрабасиста из нашего так и не созданного джаз-трио).

Я встал поздно и опоздал в школу; вошел в класс без стука; был понедельник, и у нас был классный час с физкультурником. Земанек сидел на своем месте и, видимо, превозмог физиологическую потребность в сне, которая обычно вызывается похмельем, он поборол закон физиологии; к этому его обязали порядок, система, общество. Как если тебе хочется пойти отлить по совершенно понятным, естественным причинам, но ты заявляешь, что по причинам общественным тебе этого *совсем не хочется*; это своего рода неестественный, но общественно желательный блуд с самим собой.

Я вошел, попросил прощения за опоздание; физкультурник сказал, чтобы я написал письменное объяснение моему опозданию; сказал, что я абсолютно безответственный; я согласился и сказал:

— Хорошо, можно мне теперь, как безответственному, сесть?

Он махнул рукой, и я сел. Пока я шел к своему месту, я уловил взгляд Люции: она почувствовала, что я вдруг сильно изменился, потому что раньше я никогда не опаздывал, тем более не разговаривал таким нахальным и надменным тоном с учителями; она смотрела на меня снизу

вверх, и я понимал, что между нами все кончено, что мой цирк сильнее ее Партии; с другой стороны, кроме невыносимой боли оттого, что я ее теряю, что я ухожу в какой-то другой мир, что моя реинкарнация состоится еще при жизни, я чувствовал невыносимую легкость бытия, свободу, которой я упивался: у меня, в отличие от этого дисциплинированного класса, был мой цирк и моя Инна, к которой за одну ночь я стал ближе, чем к Люции за четыре года. Я сел рядом с Земанеком, а он смотрел на меня так, как будто я привидение.

— Что с тобой произошло, приятель? — спросил он.

Потом физкультурник говорил свои обычные глупости, ругал нас, угрожал нам замечаниями, махал пальцем и потом, где-то в конце урока, сказал, что было бы неплохо, чтобы все как можно более массово включились и написали бы что-нибудь для предстоящего конкурса на тему «Перспективы народного искусства в настоящее время». Он сказал, что идею такого конкурса подала Люция, как ответственная за культуру в школе и в Партии, и что награждение (наград предполагалось три: одна первая, одна вторая и одна третья, и, что немаловажно, с денежными

премиями) состоится в день вручения аттестатов, в конце нашего четырехлетнего срока обучения. Земанек спросил:

— Когда надо сдать?

Ответ был:

— Завтра.

Тут я встал и вышел, что раньше было немыслимо; после урока я предложил Земанеку написать сочинение на конкурс вместе; он сказал, что не хочет; я просил его хотя бы составить мне компанию, потому что хотел сидеть и писать всю ночь; он и на это сказал, что не хочет; после школы я сходил к одному знакомому, взял у него пишущую машинку и принялся за работу. Утром мое эссе — мой расчет с ними — было готово.

* * *

Чтобы избежать недоразумений, я приклею к следующей странице второй экземпляр, напечатанный через синюю копирку, этого эссе, которое, в сущности, и было (если не считать Люции) основной причиной моего отъезда. Вот оно, полностью:

ПЕРСПЕКТИВЫ
НОВОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА

В настоящее время больше, чем когда бы то

ни было, говорится о воскрешении народного искусства и о его на первый взгляд безграничных перспективах. При этом без всяких оговорок упоминается величие народного гения, особенно в партийном понимании искусства и его служения народу.

Во-первых, в настоящее время мы постоянно слышим выступления об сорганизованной народной культурной деятельности» (тут, понятно, я думал о Люции, которая как заведенная прочитала свою речь на мероприятии, начинавшуюся именно с этой фразы), *Много говорится о «потребности объединить усилия всех выступающих против деструктивных сил, захвативших, культурное поле родины».*

Сегодня шире, чем когда бы то ни было, начинают создаваться народные спортивные и певческие общества, молодежные и студенческие союзы, в которых крепнет национальный дух и осознание народного характера любого большого искусства и при этом отторгается все, что не желает ***определиться*** *в качестве народного искусства, которое само питается от своего первоначального глубинного корня — истинно народного духа* (я думал, конечно, о моем джазе, черпающем вдохновение в народной песне). *Это*

другое искусство, не желающее ***определяться*** *как народное, подвергается жесточайшим нападкам: это искусство (включающее в себя джаз, авангард, постмодерн) рассматривается как «предумышленное культурологическое отравление», «достаточно смешное, чтобы стать частью антракта в народных мероприятиях»* (тут опять я думал о Люции), *или считается продуктом большевизма, то есть коммунизма. Я приведу здесь цитату из выступления на мероприятии, в котором одна наша соученица сказала: «Марксистская революция разрушила целый духовный мир: любовь к родине, национальное чувство, отношение к истории, к семье, прошлому и будущему». Тем самым, если вы не* ***определяете*** *себя в качестве деятеля* ***народного искусства,*** *вы автоматически становитесь* ***большевиком*** *и* ***марксистом,*** *а раз вы большевик и марксист, у вас нет духовной родины, вы не любите отчизну* (через много лет после моего отъезда я слышал комментарии, что я уехал, потому что не был патриотом!), *вы не имеете отношения к истории и, как правило, в семье у вас разлад. Если следовать этой дурацкой логике, жена вам не изменит, если у вас в доме сохраняется здоровый народный дух.* (Это была отравленная стрела, пущенная в физ-

культурника, чтобы напомнить ему об измене его жены.)*Хотя в доме нужно нечто другое, то, что важнее здорового национального духа, — нужен мир!*

Но давайте вернемся, господа, к теории нового народного искусства.

Новое народное искусство, как его понимает эта Партия, не может быть ничем другим, кроме террора провинциальной посредственности, подавления всего индивидуального, думающего своей головой. Национальное — это своего рода искусственный камень, насильно привязанный к шее человека, который хочет взлететь; им человека держат, чтобы он остался в своей деревне, около своего нужника, чтобы он не увидел другой мир, не понял, что существует множество разных миров. Даже в Священном Писании говорится, что существует два типа людей: один кочевник, а другой земледелец; один стремится осваивать новые и неведомые миры, а другой лучше всего чувствует себя, когда он связан со своим полем, когда квакает в своем народном духовном сортире и при этом рассказывает сказки о величии народного духа и пускает ветры от национального гороха своего собственного производства, величайшего символа святого духа его предков.

Все другое: модернизм, постмодернизм, новая архитектура, художественный эксперимент, все, что отходит от уже известного, в особенности джаз («топотание ногами, которым пытаются раздавить македонский уклад»), в этих кругах считается тем, что ослабляет державу.

Таким образом, это народное искусство в том виде, в каком его задумывает Партия власти, есть не что иное, как своего рода специальная культурная полиция, которая призвана защитить провинциальный консерватизм и дух деревенского жителя, перебравшегося в город, так и не ставшего до конца горожанином, но желающего создавать искусство! Каждая новая эстетика, в которой эта деревенщина не может идентифицировать себя с волынкой или опинком, зурной или барабаном, хотя бы она и произошла от волынки, опинка, зурны или барабана, для него, господа, есть коммунистическая эстетика. «Отечественное искусство» для этих идиотов от культуры — это волшебные слова. Все остальное для них — китч; интернационализм, космополитизм, постмодернизм, номадизм, цинизм — это все для них китч и халтура, от которых нужно избавляться. Потому что это не камень, который, как на дно, тянет в одно и то же место — в

центр мира, в тестикулы твоего отца, к Великому Предку, к общине, к семейной патриархальной модели, в которой все спят по двадцать душ в одной комнате и где несподручно даже заниматься любовью со своей собственной женой.

На самом деле нет большей халтуры, чем новое народное искусство, которое потихоньку превращается в товар массового, серийного производства. Сколько новых фольклорных певцов (особенно в Партии), сколько новых бытописателей, народных живописцев, сколько новых озабоченных патриотов! В этом искусстве по старым нотам, в избитых тональностях вместо письма от возлюбленной из-за моря воспевается мобильный телефон, вместо отплывающего парохода — светофор, разделивший влюбленную парочку, потому что она прошла на зеленый, а он был вынужден остановиться на красный; пишутся дебильные романы, в которых одну и ту же женщину, македонку, насилуют трижды на протяжении пятнадцати минут один за другим серб, грек и болгарин, и это символизирует трагическое положение македонской женщины и македонской нации, поделенной между тремя поработителями, которые только и думают о том, как бы наложить на нее лапу (при этом

фантастический дебил-писатель и не подумал о том, что, может быть, женщине не так уж и плохо с этой троицей, тем более что всех троих едва хватило на пятнадцать минут, что для здорового мужчины даже и не десятая часть времени, требуемого на любовные игры. (Я здесь специально преувеличил длительность любовной игры, чтобы очаровать Люцию; очевидно, что она все еще много для меня значила, несмотря на все то, что она мне сделала.)*С этой точки зрения новое народное искусство ничем не отличается от культа народного искусства при коммунизме, когда происходило все то же самое, только вместо мобильного телефона воспевали трактор как новое верховное божество передовиков и ударников, когда новорожденным девочкам давали «адекватные» имена, например Тракторина. Тогда писали о рабочем, который встает ни свет ни заря и который, в соответствии с духом народного искусства, счастливым идет на фабрику, чтобы отдать свой труд ради благополучия всех и тем самым ради своего благополучия, и об этом писали оды, славословия и т. д. и т. п.*

И вот тут, господа, мы подходим к главному: национализм ничем не отличается от коммунизма, когда речь заходит об индивидууме и

коллективе. И тот и другой хотят их переплавить, слить индивидуальное с коллективным, не оставив ничего отдельного, выдающегося, заметного, все превратить в инкубаторы, в которых выращивается посредственность. Партия здорового народного духа — это единый огромный хор, в котором каждый может крякать что ему угодно, но с условием, что крякать и двигаться можно только с частотой и длиной волны общего кряка; нельзя, например, мычать, когда все крякают. Скотный двор, по определению одного писателя. И с этой целью используется еще одна прирожденная характеристика народного искусства — ***анонимность,*** *которой они злоупотребляют и которую используют в своих ужасных целях: для того, чтобы замаскироваться, затеряться в толпе, заполучить славную, агрессивную, эстрадную анонимность!*

У народного, традиционного искусства, этой «вершины народного духа, пупа нации, с которым всякий творец должен быть связан невидимой пуповиной всю свою жизнь» (здесь я опять поддел Люцию)*, нет автора, вернее, он неизвестен. Поэтому так храбро и поет он о выдуманной мести проклятому турку, насилующему македонских женщин; потому он так смело материт свод-*

ников, за пять минут в кафе после трех рюмок желтой ракии вербальными бомбами и пулями разжигает пламя революции, причем все это в трех куплетах, и освобождает целые народы в припеве. Легко быть храбрым, если не ставить подпись. Нынешняя политика поняла новое народное искусство как некий бланк: один и тот же текст, под которым всегда ставится другая подпись или вообще не ставится никакая. Все в Партии говорят об одном и том же, пишут об одном и том же, думают об одном и том же. С такими волынщиками и барабанщиками номадизм не пройдет; миру они неинтересны, а если и интересны, то только как последние образчики пасторальности.

В конце эссе я написал и еще кое о чем, о чем сначала не хотел, а именно написал об артистах, показавших на сцене обряд колядок, и не только о самом обряде. Я хотел их уязвить; я понимал, что это то же самое, как если писать критическую статью о театральном спектакле и при этом обличать актера в пороках в его частной жизни, совершенно ничего не сказав о его роли; но у меня было на это право, потому что я терял Люцию и терял большое небо; у меня было на это право, потому что их роли были неразрывно сплетены с

их личной жизнью, И вот что я написал:

Возьмем для примера всего один лишь фрагмент обряда колядок. Какое удивительное анальное скудоумие устного происхождения видно во фразе «Это не усы, это мочалка задницу подтирать; это не мужской прибор, это турка — женщинам кофе варить; это не глаза, это фонари, чтобы бабам ночью не темно было до ветру ходить; это не голова, это горшок щербатый, чтобы в него хозяину и хозяйке нужду справлять, нынче время зимнее, жирно жрется, жидко срется».

Такой провинциальный экспансионизм, такой фрустрационный местечковый дух, который о сексе и анальном опыте говорит только из-под маски обряда, который, в сущности, является обрядом одной политической партии, не предлагает никаких перспектив. Сексуальные фрустрации этих людей приобретают формы политической организации и репрессии. Давайте поможем им реализоваться в сексуальной сфере, открыв публичный дом в здоровом народном духе!

Поэтому перспективы нового народного искусства таковы: дебильные, несуществующие, ненормальные и анонимные. Это искусство — не

что другое, как агрессивный провинциальный консерватизм, который был относительно безвреден, пока не нашел сильной политической поддержки. Такая демократия — то просто контрреволюция, которую осуществляет деревня против города, неграмотный против грамотного, плохой ремесленник против хорошего. Вот что происходит, и ничего более, господа.

Девиз: Соломон 909.

Вот это и было то эссе, написанное с юношеским задором, направленным на Люцию, с энергией и ненавистью против тех, кто хотел отобрать у меня Люцию, встать между нами, быть Хором в нашей Песни песней. А я только страстно мечтал о ее пупке, желал осыпать его поцелуями; до сих пор не понимаю, было ли мое желание сексуальным в настоящем смысле этого слова. Может быть, оно было только политическим: обладать Люцией, *членом Партии*; может быть, оно было просто первой стадией полноценного, здорового секса, который проходит в своей эволюции и через политическую фазу: обладать неким/некими, обрести силу, которая сама по себе не является сексуальной (чаще всего просто профессиональной), как бы эта сила ни хотела казаться таковой, и показать эту маску, эту личину другим, обще-

ству. Эссе было написано за одну ночь, при этом было выпито немало вина, что легко можно заметить по иногда слабо связанным ассоциациям; я и сейчас вижу эти места, но не исправляю их, чтобы можно было понять, в каком настроении я тогда был. Эти места, эти видимые швы в тексте лучше всего открывают дух времени, в котором мы жили; в этих местах кое-что написано под влиянием гнева и ярости, а не потому, что я так думал. Я уничтожал, нападал, критиковал, даже пожертвовал прекрасным народным обрядом, чтобы заполучить, привлечь к себе Люцию, думавшую нечто совсем противоположное; я был готов отдать за нее всю державу; я, в сущности, лгал; представлял себя предателем народного искусства, только чтобы Люция обратила на меня внимание.

И достиг желаемого: она была одним из основных следователей на допросе.

* * *

Каждый вечер я ходил в цирк и смотрел все три представления, а после представлений шел в вагончик Инны и Светланы. Когда я был у них в последний раз, то сильно выпил; мне предложили вина, и я перебрал. Я страдал из-за Люции,

о которой думал днем и ночью. Кроме того, я уже видел пупок Инны (она и переодевалась при мне, но тогда эта непринужденность в отношениях между людьми в цирке была мне непонятна, потому что Инна точно так же себя вела и перед другими обитателями их мира); но ее пупок, к сожалению, не шел ни в какое сравнение с пупком Люции; он был каким-то не таким глубоким, бессильным, почти незаметным на твердом плоском животе; это было все равно как сменить один бокал на другой с тем же напитком, не допив предыдущий до половины; как пить вино из рюмки. Но я любил Инну совсем по-другому, не так, как Люцию: я любил ее как свою спасительницу. В тот вечер, когда я напился у Инны, я все рассказал ей о Люции; она положила мою голову себе на колени и долго меня утешала. Гладила меня по голове и говорила, что она *понимает*, что со мной. И мне хватило этого, чтобы так и заснуть, лежа у нее на коленях.

За два дня до вручения аттестатов зрелости меня позвали в цирк. Инна договорилась, что вечером я выступлю со своим номером в перерыве между другими номерами; директор сказал мне, что никакого гонорара мне не будет и что выступать я буду под свою ответственность; я

согласился. Меня спросили, какой сценический псевдоним я себе выберу. Без колебаний я ответил: Соломон Лествичник.

И вот наступил этот вечер. Все было как в сказке. Публика валилась на пол от смеха; был антракт; все жевали воздушную кукурузу, пили кока-колу, но смеялись; на огромной высоченной кровати лежали Инна с униформистом и будто бы занимались любовью под одеялом, совершая там гротескные движения; я лез к ним, желая поймать их на месте преступления, но у меня ничего не получалось: лестница стояла, не прислоненная ни к чему, я залезал по ней наверх, но тогда, когда мне надо было только приставить ладонь козырьком к глазам, чтобы *увидеть*, я внезапно скатывался вниз с другой стороны лестницы. Все прошло блестяще, но я ушел с арены с некоторым чувством горечи и сказал Инне:

— Здесь они смеются. А будут ли смеяться в другом городе?

А она ответила:

— Не волнуйся, дурачок; это везде смешно. Все люди на этой планете одинаковы; измена везде смешна.

Это меня просто потрясло. Я подумал, что был несправедлив, когда сердился на Люцию за то,

что она хотела, чтобы я повторил номер: не потеряешь равновесия — не узнаешь, это и вправду было смешно!

На следующий день, за день до того, как должны были вручать аттестаты (у меня было одиннадцать пятерок и одна четверка, понятно, по физкультуре), мне позвонили из школы. Я побежал в гимназию и направился в кабинет директора. У дверей на стуле сидел Земанек и держал в руке бутылку водки. Он был какой-то обмякший, с безвольно склонившейся головой.

— Что с тобой, приятель? — спросил я его.

Он медленно поднял голову, и я увидел, что он был в стельку пьян.

— Ян Людвик, — выдавил он, — больше от меня ничего не жди. Тебе конец, парень.

Я вошел в кабинет директора. Внутри были он и Люция.

На столе, кроме обычных кроссвордов и ребусов, лежала свежая газета. Она была открыта на странице, на которой где-то внизу большими буквами было напечатано: «Соломон, циркач-гимназист». Под заголовком была моя фотография, где я исполнял номер про Петрунеллу и ее любовника. И я понял, что пришла беда.

— Ага, — сказал физкультурник, — вот и наш

герой.

Я был совершенно ошарашен; я никак не думал увидеть тут Люцию; от физкультурника я ждал чего угодно, но не от Люции.

— Люция, — спросил я, — ты-то что тут делаешь?

Но Люция оборвала меня и сказала:

— Ян Людвик, оставьте фамильярности. Сядьте, и давайте перейдем к делу.

И я понял, что Люция — главное действующее лицо этого маленького судебного процесса.

— Правда ли, что вы выступали в цирке с цирковым номером без получения согласия школы? — спросила Люция.

— Да, — ответил я.

— Понимаете ли вы, что вы запятнали честь школы?

Я ответил, что мне глубоко наплевать на честь школы. Физкультурник тут же внес мои слова в протокол, который он вел (в первый раз тогда я увидел его неумелый почерк).

Потом он вынул мое эссе под девизом «Соломон 909», положил его на стол и сказал (вернее, сказала Люция, но выглядело это так, будто говорил физкультурник):

— Господин Ян Людвик, это ваше эссе?

Я сказал, что мое. Они переглянулись. Я спросил их, не пора ли мне уже праздновать и не получил ли я первое место в конкурсе; они с серьезными лицами посмотрели на меня, отрицательно покачали головами и сказали, опять совершенно серьезно:

— Нет.

Потом Люция спросила, осознаю ли я, что написал. Я ответил, что все, что я написал, написано осознанно и от всего сердца. Физкультурник записывал, а Люция продолжала допрос. Спросила, не раскаиваюсь ли я в написанном. Я сказал, что нет и что я не понимаю, в чем там раскаиваться.

— Тем хуже, — сказала Люция.

Потом они стали спрашивать меня по очереди, так что я временами не понимал, кто из них спрашивает. Но я помню, о чем спрашивали: правда ли в одном случае, когда я исполнял некоторый цирковой номер в физкультурном зале, я сказал: «Пусть меня, если сможет, так *поднимет* по лестнице твой здоровый народный дух». Я сказал, что вот это вот «меня» здесь лишнее, что это необоснованное обвинение; но сказал, что тем не менее можно ответить «да» и что я больше верю в существование святого Петра, чем в Партию здорового народного духа. Еще меня спросили, правда ли,

что в эйфории от успеха моего циркового номера я хлопнул по заду госпожу Люцию П. Я сказал, что да, хлопнул и что не жалею об этом; я даже сказал, поскольку больше совершенно их не боялся, что жалею, что как следует не нахлестал по заднице госпожу Люцию П. (Физкультурник записывал не отрываясь, а Люция вела себя так, будто была со мной незнакома.) Они очень переполошились: не ожидали, что я так буду отвечать — без капли страха, с чувством превосходства; их охватил гнев, потому что ситуация была самой страшной для любой власти: допрашиваемый ее не боится. Спросили еще, правда ли, что в одном случае я заявил, что собираюсь, чтобы избежать службы в армии, поступить учиться в академию джаза в Берне. Я ответил, что да. Спросили, есть ли вообще у меня чувство патриотизма. Я ответил, что служба в армии не имеет никакого отношения к патриотизму; напомнил им об Эйнштейне, который сказал, что человек, который марширует под военную музыку в строю, очевидно, получил большой мозг по ошибке и что для этого вполне хватит маленького. Физкультурник с силой раздувал ноздри, едва удерживаясь от того, чтобы не ударить меня; лысина у него горела, как тогда в джипе под орехом, около железнодорожной на-

сыпи. Они спросили, было ли такое, что я, держа в руках заявление о приеме в Партию, высмеивал его и что везде, где было написано «народный дух», написал «Люция». Я сказал, что так и было. Спросили также, не я ли пустил по классу записку, в которой назвал Люцию недостойными словами. Я сказал, что никаких недостойных слов там не было, что там, *в соответствии с истиной,* было написано «физкультурникова подстилка». Тут физкультурник уже не смог сдержаться и запулил в меня тяжелыми часами, стоявшими на столе; часы ударились о стену в сантиметре от моей головы, выщербив в ней солидную ямку, а физкультурник заорал:

— Так, значит, ты признаешь все?!

Я сказал:

— Да.

Я думаю, их взбесило мое спокойствие. Они действительно злились оттого, что я во всем признавался; вероятно, они ожидали, что я начну выкручиваться, отказываться, но я говорил всю правду, я был чист перед ними и перед собой. Но кульминацией (для меня) был момент, когда меня спросили, правда ли я осквернил старинную народную песню и что дома у одного моего приятеля пел: «Скажи мне, мама, научи меня,

как заполучить мне Люцию, курву-красавицу». Я сказал, что пел. И, рассердившись на предательство Земанека, сказал, что и сейчас могу спеть, если они хотят.

Потом они перешли к вопросу о моем эссе. Меня спросили, что я имел в виду, когда написал, что «отечественное искусство для этих идиотов от культуры — это волшебные слова». Я сказал, что думаю, что каждый, кто верит в «отечественное» искусство, — идиот. И что единственное искусство — это то, которое создано от любви к желанной женщине. Меня спросили, какая связь, по моему мнению, между коммунизмом и Партией здорового народного духа. Я сказал, что это одно и то же. Меня спросили, действительно ли я думаю, что люди, являющиеся защитниками народного искусства, здорового народного духа, — это «волынщики и барабанщики». Я сказал, что да. Меня спросили, действительно ли я думаю, что обряд новогодних колядок — это вершина скудоумия. Я ответил, что так я и думаю. (Нет необходимости повторять здесь, что этот обряд будил во мне самые возвышенные чувства, что на самом деле я, когда писал это, думал об *исполнителях,* но теперь вместо меня говорил какой-то другой, оскорбленный Ян Людвик.)

Потом они спросили меня, на самом ли деле я думаю, что сказанное госпожой Люцией П. в своей речи на мероприятии — это кретинизм. Я сказал, что именно так и думаю, несмотря на то что к госпоже Люции П. в частном плане питаю самые искренние чувства.

— Какие чувства? — спросил физкультурник.

— Любовные, — ответил я. И еще добавил, желая оскорбить Люцию, что она довольно ограниченная девушка и что если показать пальцем в каком-то направлении, то она будет смотреть на палец, а не туда, куда он показывает. Но, несмотря на это, я все равно ее люблю.

Это произвело плохое впечатление на Люцию; сперва она опустила голову, но потом взяла себя в руки и спросила:

— Ян Людвик, значит, вы открыто утверждаете, что питаете любовные чувства к Люции П.?

— Конечно, — ответил я. — А почему вы говорите о Люции П. так, как будто ее здесь нет?

Но ответа я не получил.

— Так почему же вы не уважаете ее отношение к народному искусству? — спросила она, как будто говоря о ком-то третьем.

— Потому что я люблю Люцию П., а не ее воззрения на народное искусство.

Тут в игру вмешался физкультурник, павлином распустил хвост, как в тот раз, когда он пел в Стоби, и спросил:

— А что означает подпись под эссе, Соломон 909?

— Ничего, это просто девиз, — ответил я.

— А какое отношение он имеет к номеру моего джипа, С-909?

— Никакого, это просто совпадение, да по-другому и не могло быть, потому что Соломон был мудрецом, а не физкультурником.

— Случайно ничего не бывает, — сказал он. — Может быть, вы пытались навести кого-нибудь на мысль, что это я автор эссе, подкопаться под меня, запятнать мою общественную репутацию таким *неадекватным* способом? — спросил он.

— Совсем нет. Я могу вас только пожалеть, с вашей общественной репутацией, — ответил я.

Он кипел, жила на шее у него взбухла, и я думал, что она сейчас лопнет и хлынет кровь. Потом он спросил:

— А что вы хотели сказать вот этим, цитирую: «Если следовать этой дурацкой логике, жена вам не изменит, если у вас в доме сохраняется здоровый народный дух. Хотя в доме нужно нечто другое, то, что важнее здорового национального

духа, — нужен мир!»

Я молчал. Потом сказал:

— Чтобы в доме был мир, нужно, чтобы в нем был мужчина.

В этот момент физкультурник схватил мое эссе, разорвал его на клочки, подбежал ко мне, схватил меня за волосы и стал совать обрывок бумаги мне в рот.

— Ешь! — орал он. — Ешь, а не то убью!

Люция плакала, физкультурник стоял надо мной и пытался впихнуть мое эссе мне в рот; я ел из упрямства, потому что решил не давать никакого повода к агрессии. Физкультурник взбесился не на шутку; я думаю, он совсем потерял рассудок, потому что и он начал жевать бумагу. Кричал:

— Видишь, и я ем! Ты думаешь, ты герой?! Думаешь, я не могу его съесть?! Смотри, я тоже ем!

И ел!

Потом сел и в первый раз в жизни закурил: вытащил сигарету из ящика стола и закурил. Он посмотрел на меня, затянулся и спросил:

— А правда, что, после того как ты напился, ты пытался изнасиловать ученицу Люцию П. на набережной Вардара в Велесе в тот самый день, когда проводилась школьная экскурсия в Стоби?

Люция выжидающе глядела на меня.

— Нет, — сказал я. — Этого не было; это она хотела, чтобы я ее изнасиловал.

Люция пристально смотрела на меня, ситуация ускользала из-под ее контроля.

— Это неправда! — вскрикнула она.

— Опишите, как все было! — сказал физкультурник.

И я начал выдумывать: что Люция сама пришла, когда я ее позвал, по своей воле; что я знал, что ей запретили видеться со мной, но все же позвал ее; что она не сопротивлялась, что пила со мной вино и курила; что сама сняла блузку, что лунное сияние осветило ее грудь, которая была *как у собаки* (я сказал это, чтобы позлить физкультурника, который, очевидно, хорошо знал, как выглядит ее грудь), что я отказывался, а она грозила мне, что Партия меня убьет, если я ее отвергну; что потом сняла юбку (лысина физкультурника багровела все больше и больше; жила на шее надулась еще сильнее, и я думал, что она сейчас лопнет и его хватит удар), что потом я снял с нее трусики, что раздвинул ей ноги, что она умоляла скорее войти в нее, и что потом я *покончил с этим делом* только для поддержания народного духа, и что потом *оттрахал ее как следует*, после чего она долго меня целовала и

обнимала на набережной.

Эффект был достигнут: это «оттрахал ее как следует», эта моя ассоциация с громким стуком в дверь довершила дело. Но и моей супериронии пришел конец; я не учел того, что они в тот момент, когда увидят, что потеряли идеологическую власть надо мной, начнут употреблять физическую власть, то есть после того, как они поняли, что не могут поработить мою душу, они могут решить поработить мое тело, отнять его у меня; это последнее средство, которое остается у власти перед ее падением. Но это больно: посмотрите на рисунки, изображающие средневековых мучеников: какие физические муки, кровь, какие гримасы боли! В следующий миг физкультурник встал и начал осыпать меня ударами — по лицу, по спине, по шее, по животу; я упал, и он начал меня пинать и топтать; Люция визжала и умоляла его перестать, и я слышал, как она интимно обращалась к нему:

— Фис, перестань, прошу тебя, прекрати; он врет, он только притворяется, будто он настоящий мужчина, прошу тебя, он меня и пальцем не тронул, это он от гордости на трепку нарывался. Фис, это все!

Не сказала ему: «Перестаньте, господин дирек-

тор», а «Фис, перестань», и мне стало совершенно ясно, что у них все на мази; в этот момент дверь открылась и заглянул Земанек; он сказал:

— Что вы делаете с ним?

Только это и сказал, Фис дал ему затрещину и закрыл дверь, а Земанек, сволочь такая, скотина, больше не вошел. Потом Фис схватил меня за волосы и сказал Люции:

— Оботри его.

И она долго вытирала меня платком; в глазах у нее стояли слезы, но это была не та Люция с перекладины, неизвестно, существовала ли та Люция вообще; я видел перед собой женщину в слезах, *творение страстное, мною в письмо переведенное, женщину, у которой глаза голубиные под кудрями; волосы ее — как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; зубы ее — как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как лента алая губы ее, и уста ее любезны; как половинки гранатового яблока — ланиты ее под кудрями ее; шея ее — как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных; два сосца ее — как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями; вот она, плачет передо мною, и простирает руки свои*

ко мне, и говорит мне: приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе; вот она, стоит передо мною, и я говорю ей: О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; пупок твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои — как два козленка, двойни серны; шея твоя — как столп из слоновой кости; глаза твои — озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой — башня Ливанская, обращенная к Дамаску; голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на голове твоей, как пурпур; царь увлечен твоими кудрями; вот она передо мною, с простертыми руками, плачет и говорит: положи меня, как печать, на сердце твое, как печать, на мышцу твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный; вот она передо мной, и я беру ее за руку, и она ведет меня во вселенную свою, в виноградники, в сады, между лилиями, между бедрами ее, двумя

цепочками, двумя башнями каменными, во чрево свое, в ворох пшеницы…

Она плакала, платком вытирала мне кровь, хлещущую из разбитого носа, а он, схватив меня за волосы, оттащил к портрету партийного вождя, поднял на ноги и сказал:

— Читай, читай, что написано на последней странице (единственной странице, оставшейся неразорванной) твоего эссе. Но ты, тварь, читай *ее* глазами, а не своими!

Я стоял справа от его стола, глядел на лист, в голове у меня гудело; перед глазами сверкали молнии, и я думал, что сейчас потеряю сознание. Тем не менее я посмотрел на последнюю страницу и увидел то, чего никто другой не видел:

Люция была голой. Она распласталась внизу, сверху на ней лежал Фис. Они спаривались, как животные; она стонала и просила, чтобы он вошел в нее до костей; именно так, до костей; Фис издавал нечленораздельные звуки, двигал голым задом, а Люция просила еще; в какой-то момент она увидела меня и сказала: «Фис, за нами кто-то наблюдает». Он перестал двигаться; встал и повернулся ко мне. «Никого нет, — сказал он, — тебе показалось». — «Ты посмотри, какие у него глаза; красные, как сера в аду», — сказала она. «Те-

бе кажется, Люция», — сказал он и вернулся к ней, на нее. И потом все превратилось в клубок букв, а в середине клубка была раскаленная буква «Ж».

Потом жестокий удар вернул меня к действительности. Передо мной стоял Фис, Люция, совершенно одетая, стояла справа от него и плакала.

— Смотри, что ты написал, мы умеем читать между строк. Над кем ты смеешься, предатель? Надо мной? Я тебе волынщик и барабанщик? И что нужно, чтобы в доме был мир? Над кем ты смеешься, зассанец?

После этого я уже ничего точно и определенно не помню. Знаю только, что он бил меня своими волосатыми руками, пока не убил Бога во мне; потом Люция увела меня оттуда; помню, что пьяный Земанек поцеловал меня в щеку, плача и приговаривая: «Ты мой брат, несмотря ни на что, ты мой брат; ради тебя, если надо, я передвину подальше от Партии всю Вселенную»; помню также, что я потребовал, чтобы меня отвели в цирк; и если мои органы чувств меня не подводят, Земанек с Люцией отвели меня к входу в цирк. Потом я увидел людей: ни у кого из них не было лиц; я видел и разноцветные афиши; все эти цвета были *бесцветными,* безымянными; ни один красный цвет не был красным, только в

себе самом содержал нечто абстрактно красное; но ни один не был по-настоящему красным. Я попросил Земанека сбегать ко мне домой, принести мне саксофон и необходимые вещи. Я остался с Люцией, она страстно целовала меня в губы, как будто хотела *что-то* мне возместить; мне было тошно и мерзко; она говорила, что все это с народным духом — это серьезно и что я должен был к этому прийти, пусть не сразу и не вдруг; что я должен был это признать, но признать нежно, без гордыни; я ее не слушал, потому что я усиленно раздумывал; я спрашивал себя, неужели незаметно, что цвета вообще не имеют цвета и что запахи вообще не пахнут; напрасно я старался ощутить запах корицы, который шел от ее волос, его больше не было; я стоял рядом с ней, ее груди прижимались ко мне, и я чувствовал их, но они были как бородавки на какой-нибудь мраморной Венере; я чувствовал, что мир страшно устал и что все эти цвета, запахи и прикосновения уже стали старыми, что их необходимо обновить. Я помню также, что Земанек быстро вернулся, что я обнял их двоих, расцеловал и сказал: «Спасибо». Они испуганно глядели на меня. «Спасибо, — повторил я, — я иду внутрь; там Инна, она спасет меня».

И так и случилось. Я вошел внутрь. А на самом деле вышел наружу.

* * *

Потом все было легко: я вошел в цирк и стал мужчиной той самой ночью. Из всего этого я и Люция сделали какую-то ненужную драму; всегда есть женщины, предназначенные для любви и дружбы, для милосердия и страсти. Цирк уезжал через три дня; три дня Люция и Земанек приходили вместе с моим братом к цирку; я отказывался их видеть, потому что чувствовал себя униженным до мозга костей; я передавал им, чтобы они уходили, что я не желаю их видеть, а они говорили, что все, что случилось, ничего не значит, что мы начнем все заново, что все происшедшее — это дурацкая случайность, безумие; говорили, что сделают все, чтобы я вернулся; говорили, что Фис находится под следствием, что даже Партия осудила его за этот допрос, что его временно отстранили от должности, что газеты подняли шум из-за этого дела, что мой аттестат ждет меня (я его так никогда и не получил, потому что он мне больше не был нужен); я передавал им, чтобы оставили меня в покое. Я спал с Инной, занимался с ней любовью, обожал ее; через три

месяца постоянных выступлений с номером с лестницей я уже репетировал на трапеции и стал третьим в номере Инны и Светланы; объехал все европейские города; много читал и знакомился с настоящими людьми, носил настоящую одежду и пил настоящие вина; потом разошелся с Инной и свои потребности удовлетворял с многочисленными женщинами *снаружи*; но с Инной и в дальнейшем остался связан некой пуповиной и обычно ночевал в ее вагончике. Она была моей спасительницей, всем в этом мире. Я не ревновал, когда она нашла себе нового друга — аргентинца, глотавшего огонь; он и по сей день остается одним из моих лучших друзей. Через два месяца мне сообщили, что мой отец умер от сердечного приступа; письмо брата, естественно, было полно обвинений, он возлагал всю вину за смерть отца на меня, потому что тот не смог смириться с тем, что его сын стал *циркачом.* Но у меня не было никакого желания выходить *наружу*, кроме как затем, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности и купить что-нибудь поесть; я находил проститутку, покупал еду и затем возвращался домой, под малое небо.

Только однажды я отсутствовал довольно долго: когда умерла моя мать. Я поехал на похороны,

но не почувствовал ничего; видел Люцию вместе с Земанеком в магазине, но тоже ничего не почувствовал. Они покупали какие-то консервы, и он объяснял ей, что такие же точно консервы, но дешевле можно купить в другом месте. Люция оставалась все такой же красавицей, хотя стала как будто другой, будто уменьшилась. Я к ним не подошел, оставил то, что хотел купить, на полке и вышел. Они меня не видели; потом от одного знакомого в парикмахерской, где я брился, я узнал, что у них есть ребенок и что Земанек стал генеральным секретарем Партии, но что эта Партия проиграла на выборах и что ее политическая сила сильно уменьшилась; но все же, со слов приятеля, Земанек, как секретарь Партии, живет прекрасно, у него есть и любовница: какая-то девушка, очень похожая на Люцию в молодости. Люция получила высшее образование и стала дефектологом, теперь работает в Центре слуха и речи, очень хорошо зарабатывает, живет одна, а Земанек посещает ее иногда и, естественно, появляется с ней на всяких государственных праздниках и партийных торжествах, чтобы продемонстрировать общественности прочность своего брака.

Все было хорошо; в цирке я обрел душевный

покой и думал, что ничто больше не сможет поколебать его. Так было до того дня, когда я, примерно месяц назад, поднимаясь по своей лестнице (это было всего лишь увертюрой к моему номеру на трапеции с Инной и Светланой), вдруг заметил, что теряю равновесие. Я не мог даже и думать о том, чтобы забраться вверх по лестнице, о трапеции я уж не говорю. Я упал; я часто падал в отвратительную сеть, в которой я запутывался и из которой меня выпрастывал старый униформист; даже ходить мне стало трудно. Директор цирка разорвал договор со мной. Я был и у врача: мне сказали, что я страдаю синдромом Меньера с нарушением функций внутреннего уха и расстройством вестибулярного аппарата. Но это было чисто *физиологическим* объяснением; я знал, что у меня болит не тело, а душа и что мне нужно найти центр мира.

Поэтому я и ухожу — чтобы искать его.

Но: запах корицы! Услышу ли я еще раз запах корицы от волос Люции, пусть и в какой-нибудь другой жизни?

Конец ночной книги и Богу хвала и слава!

Книга «Свет»

Богом клянусь, что говорю правду!

Я жена, господин судья, Павла Земанека; хоть и только по закону, я все еще ему жена, хоть он давно не живет с нами, со мной и Зденочкой. Он стал другим, совсем с ума сошел, дай Бог ему счастья в его Партии, но он именно там изменился и лишился последнего ума, господин судья. Он уже несколько лет живет с одной молодой женщиной, она новый кадровик в Партии, и я его понимаю: после рождения Зденочки я вообще не похожа на ту. Люцию, которую он когда-то отвел к алтарю. Этой девушке сейчас двадцать лет, а мне уже тридцать пять; большая разница для здорового мужчины, такого как Земанек, господин судья, привлекательная разница, и я на него не сержусь; у меня груди (простите мне такую нескромность, господин судья) уже не те, что были; и бедра, и кожа уже не такие; Земанек ушел, проще говоря, потому что должен был.

С другой стороны, у меня вообще не было ника-

ких контактов с покойным Яном Людвиком все эти годы. Ни он мне ни разу даже не позвонил, ни я ему не звонила, потому что не знала, где он обретается со своим цирком, да и не могла знать, потому что цирк — это подвижный центр мира, как он сам сказал три дня назад, когда вернулся.

Нет, я совсем не отклоняюсь от темы, господин судья, я только хочу вам сказать, что в день, когда онпозвонил (а это было в пятницу), он сказал, что на следующий день будет здесь; сказал, что передает привет Земанеку (он вообще не знал — или притворялся, что не знает, — что Земанек больше не живет со мной и Зденочкой); для него время будто остановилось, такое впечатление, что для него все еще продолжался тот день, когда я и Земанек проводили его в цирк с саксофоном на плече. Как сейчас его вижу: избитый, кровь носом идет, ногу подволакивает, потому что Фис его отдубасил только так, всю душу из него вытряс, все из-за эссе, из-за которого Людвик стал героем потом, когда власть поменялась; только ему, вы же знаете, наплевать было на эти «партийные финты», как он их называл, ему предлагали место в новой власти, но он не согласился.

Я о нем ничего не знала, только что писали в журналах, в которых пишут про эстраду, — там

его называли «мастером равновесия». Вот недавно статья была в «Фокусе», там говорилось, что он начал с эквилибристического номера с лестницей, держащейся только за небо; он, взобравшись на эту лестницу, которая не опиралась ни на что, играл на саксофоне песню «Скажи мне, мама, научи меня», а потом стал выступать на трапеции и вместе с какой-то женщиной — по-моему, Инна Коленина ее звали — выделывал что-то совершенно невероятное. В цирковых кругах у него был псевдоним Соломон Лествичник. Но его цирк никогда к нам в город больше не приезжал. Один раз только я видела, господин судья, фотографию этой женщины в одном заграничном журнале, она гораздо красивее меня. Но Ян мне сказал, когда вернулся, что я красивее всех на свете, для него по крайней мере; я его об этом спросила, а он сказал: у нее, может быть, тело красивее, но ты для меня самая красивая женщина на свете.

Не знаю, господин судья, почему он меня любил. Никогда этого не понимала. Он был симпатичный, сильный, умный, одаренный в искусстве и физически выносливый; и в литературе был виртуоз, и на перекладине; не знаю, почему он в меня влюбился. Половина девушек в классе готова была перерезать себе вены из-за него, но он на

них и не смотрел, смотрел только на меня. Мне он не нравился: очень волосатый был, а у меня от природы отвращение к таким мужчинам. Он мог любую заполучить, кроме меня, а вот влюбился в меня. Я вам это говорю, потому что уж столько лет прошло; тогда мне было бы нелегко так сказать. У меня есть муж (ну, или, скажем, у меня *был* муж); теперь у меня есть Зденочка; я должна следить за тем, что говорю.

Раз было что-то такое на перекладине в физкультурном зале; мы были в классе втором или третьем; он обманом встал на место Земанека, который должен был помогать нам, девушкам, подсаживать нас на перекладину. Я знала, что Ян Людвик меня любит; но я уже полгода засматривалась на Земанека, и меня интересовал только Земанек; с ним я гуляла раз десять, когда Земанеку удавалось отвязаться от Яна; Ян бегал за Земанеком как хвостик, и я не могла назначить свидание Земанеку; я думаю, что и Земанек избегал меня из-за их такой тесной дружбы. Но, как бы то ни было, этот случай на перекладине был очень неприятным; скорее всего (хоть я и не читала дневник Людвика), он счел, потому что я его обняла, когда спрыгивала с перекладины (а обняла его, потому что, в сущности, мне его

было жалко, потому что он был готов претерпеть любые унижения, только чтобы побыть со мной хоть один миг), что питаю какие-то глубокие чувства к нему. Но тогда это было не так. Я его обняла, потому что он был симпатичный, а кроме того, надо было думать и о рейтинге нашей Партии, а я в то время была активисткой, и ожидалась наша победа на выборах.

В то время, господин судья, много значило объявить себя *национальным художником.* Людвик, к сожалению, был интернационален. Я думаю, в нем всегда было какое-то упрямство; ему очень мало было надо, чтобы быть счастливым. Но именно упрямство и эта его глупая потребность непокорства потом меня толкнули к нему и отдалили от Земанека. Я понимала, что понемногу он начинает мне нравиться; я была уверена, что рано или поздно попаду в его сети, и, понятно, испугалась: это могло мне очень осложнить всю жизнь, потому что я целиком и полностью отдалась делу Партии. И поэтому в момент, когда я увидела, что не могу ему сопротивляться (это было летней ночью на набережной Вардара в Велесе, когда мы почти занялись любовью), я решила ему навредить, чтобы он опомнился, чтобы отдалился от меня, и я передала сборник его стихов Партии.

Понятно, что там над ним посмеялись, и это на некоторое время его отдалило от меня. А потом он перешел, так сказать, в наступление и написал это эссе, которое и решило его судьбу. Он не мог получить аттестат, окончить школу; во время разговора с директором он ему надерзил, и у того нервы сдали, потому что в этом эссе Людвик допустил некоторые неуместные намеки на него и на неверность его жены. Директор его побил, а мы с Земанеком увели его из школы (позднее Фиса из-за этого сняли и он получил выговор, а потом его даже исключили из Партии, но дело было сделано, и Людвик уже уехал); он попросил Земанека сбегать к нему домой, взять его вещи и принести ему саксофон. Это было все, что у него было, и все, что ему было нужно. Мы ждали Земанека перед цирком; я вытирала Людвику кровь платком и говорила ему, что надо сходить к врачу, но он не хотел. Говорил мне, что цвета больше не цвета, а просто расцвечены; я так понимаю, что это было последствием сотрясения мозга, потому что Фис с ним совсем не был нежен. Я пыталась ему сказать, что я не виновата и что меня заставили пойти на этот допрос, но он вообще не хотел про это говорить. «Я тебя прощаю, Люция!» — так он сказал. И потом сказал, что, несмотря ни на что,

все еще любит меня и что всегда будет любить; сказал, что уезжает навсегда, потому что ему все противно и что надеется обрести покой. Потом сказал, что, если не найдет мира в цирке, непременно станет монахом и посвятит себя Богу.

Он меня прямо пугал, потому что говорил бессвязно: говорил что-то, что я не понимала. Но только сейчас, после этой трагедии, до меня дошло, что говорил он совершенно ясно и разборчиво. Потом пришел Земанек, он принес ему саксофон и чемодан; это был тот же самый чемодан, в котором теперь нашли и роман и дневник Яна Людвика, как и те несколько книг, которые Людвик читал. Он все это взял, поцеловал меня в щеку (это был ужасно спокойный поцелуй, как будто мы были на вокзале и провожали его, а он уезжал на выходные и все знали, что он скоро вернется); потом он обнялся и расцеловался с Земанеком. В его глазах не было слез; был только какой-то холодный гнев, какая-то ненавидящая страсть, он смирился с судьбой и тем состоянием, в котором находился мир.

Я плакала, господин судья. Почему? Потому что любила его. Да, я не стыжусь сказать: в тот миг, только в тот миг я любила Яна Людвика, хотя он и раньше меня привлекал. Я любила его

по-особенному, но, повторяю, эта любовь мне испортила всю жизнь, потому что Ян Людвик — очень сложный и конфликтный человек. Он не хотел смириться с тем, что в жизни есть законы и силы, которые, может быть, и не слишком праведные, но они существуют, и это следует принимать как данность, как мы принимаем как данность то, что сегодня погода не солнечная, а пасмурная, господин судья.

Людвик смотрел на меня, вытирал мне слезы и утешал меня; представьте, господин судья, он утешал меня, а не я его; он уезжал, будущее его было совершенно туманным, он уезжал в полную неизвестность, а мы, наоборот, возвращались в свой надежный и предсказуемый мир. Мне потом много раз снилось, что он заплатил этой неизвестности своей головой, — вот о чем я думала, господин судья, то есть не то чтобы думала; просто мне снилось, будто он падает с той проклятой трапеции и ломает себе шею; я просыпалась вся в поту и плакала. Позже, намного позже я его даже любила, как женщина, которая любит мужчину; были ночи, когда мне хотелось собраться и уехать искать его; попросить у него прощения за то, что мы ему сделали (потому что Партия, как и всякая партия, потонула, как бумажный

кораблик), но каждый раз я быстро брала себя в руки. А при свете дня все эти ночные замыслы — поехать искать его (да и телесная страсть к нему) — казались мне бессмысленными. Потому что, когда наступал день, у меня был Земанек; Земанек уже был в Партии, со мной; мы вместе ходили на все заседания; он делал прекрасную карьеру и скоро перерос и меня в Партии; мы из-за Партии все время были рядом, и это было для меня утешением, да, думаю, и для него после всего того, что произошло с Яном. И вот однажды, когда мы возвращались с одного собрания, он спросил меня, совершенно спокойно, не хотела бы я стать его женой. А я еще спокойнее сказала ему: «Думаю, да». Это был совсем банальный вопрос и совсем банальный ответ, если можно так выразиться, господин судья. Впрочем, этот брак был логичным и ожидаемым, но я и теперь не могу избавиться от чувства, что в этот брак мы с Земанеком вступили, только чтобы на совесть не давил груз из-за Яна.

Пояснить? Вообще-то, я думаю, что это сложно объяснить, господин судья, но я попробую. И у меня, и у Земанека было чувство, что мы оба принимали участие в репрессиях против Яна Людвика; я даже больше, чем Земанек. Но

не это было самым страшным: самое страшное было то, что мы жили в совершенно реальном и существующем мире — мире Партии; мы разделяли ее отношение к миру и жизни, а Ян Людвик пришел неизвестно откуда, ворвался в наш мир и серьезно расшатал наши убеждения; он, другими словами, был серьезной угрозой самому существованию нашего мира, он угрожал его уничтожить, проткнуть, как мыльный пузырь, и если бы этот мыльный пузырь лопнул, мы остались бы вне его, в каком-то безвоздушном пространстве. Он представлял для нас опасность, как некий катаклизм, как, скажем, землетрясение представляет опасность для целых цивилизаций. Ян Людвик смеялся над нашим миром и повторял, что этот мир — ложный, иллюзия; нам пришлось защищаться, защищать мир, в котором мы жили, потому что у нас не было другого мира, своего мира, а у него был; если бы мы потеряли мир Партии, мы остались бы наедине с собой и нам пришлось бы тогда посмотреть в пустоту собственных душ. И поэтому мы решили любой ценой не признавать, что наш мир фиктивен, что он — мыльный пузырь. Мы прогнали Яна из этого мира, но у нас осталось томительное чувство, что нам его недостает, потому что мы были с ним

близки; наш с Земанеком брак был чем-то вроде алиби, доказательством того, что наш мир все же реален, что в этом мире партийных собраний, трусости и лжи, подсиживаний и шантажа все же есть место и чему-то человеческому — любви, здоровой, нормальной, телесной, духовной, что от этой любви даже и дети рождаются. Этим браком мы на самом деле (и я, и Земанек) убеждали себя, что мы не ошиблись, когда прогнали Яна, потому что наш брак *реально* существовал, был знаком того, что мы любим друг друга, а если любим, то не можем быть виновны в том, что в этом нашем мире не было места третьему.

Но с самого начала с этим браком все пошло наперекосяк; родилась Зденочка, слава богу, и я целиком посвятила себя ей; Партия оказалась не у власти, но Земанек получил высокое назначение (стал генеральным секретарем) и постоянно ожидал возвращения к власти. Не появлялся дома целыми днями, а то и неделями. А когда приходил, был так измотан, так нервничал и хотел спать; не знаю, замечал ли он вообще Зденочку. Я понимала, что Партия понемногу, но неотвратимо забирает его у меня, и знала, через какие фазы он проходит, потому что я через них уже прошла: транс во время принятия коллективных

решений, сильные эмоции в толпе, чувство, что ты принадлежишь чему-то большому и важному, что ты Прометей своего народа, что ты уверен, знаменит и анонимен; Земанек из-за Партии не видел меня, Люцию, женщину из плоти и крови, как когда-то я ради Партии прошла мимо Яна Людвика. И я знала, что последствием такой активной партийной жизни для Земанека, точно так же как и для меня, будет то, что он перестанет осознавать, где видимый каждому нормальному человеку предел, за который нельзя переходить в оскорблении других людей (какой абсурд: а мы боролись за здоровый народный дух!); так и случилось. Я все поняла в самый первый вечер, когда Земанек переспал с новой кадровичкой Партии; поняла по тому, как он вошел, снял ботинки, по тому, как он меня обнял. Я думаю, что и он знал, что я все знаю, но он умолял, взглядом, притвориться, как будто я не знаю. И я играла в эту игру, пока он не решил начать с новой страницы — уйти к той женщине, омолодиться (потому что у мужчин в этом возрасте есть сильное желание омолодиться, хотя это чистая утопия). Я ему не мешала: для меня жизнь давно кончилась, где-то посередине между окончанием школы и отъездом Яна. У меня была Зденочка и

все еще есть, слава богу, и это меня и держало в жизни все эти годы. Иногда я думала и о Людвике, но это было просто потребностью *вспомнить*; у каждого человека есть потребность вспомнить кого-нибудь или что-нибудь, потому что это как подтверждение того, что он жил, что у него было прошлое. Мое прошлое, к сожалению, было очнь мутным и неопределенным. В том прошлом ясно сияло только воспоминание о Яне Людвике. И о стихах, которые он мне написал.

Только поэтому я согласилась, когда он позвонил, встретиться с ним. Чувство к нему во мне уже совсем угасло; у меня и в мыслях не было, что я могу с этим человеком после стольких лет обняться или заняться любовью. Но я хотела *вспомнить*; по-моему, и он сказал мне по телефону то же самое — сказал, что придет, чтобы вспомнить что-то.

Вот так все и получилось: он пришел, будто нигде не был, будто никуда не уходил; просто пришел ко мне домой, даже не постучался; поставил на пол чемодан, обнял меня, и потом я долго рыдала в его объятиях, а он утешал меня и вытирал мне слезы; говорил: «Ничего, ничего; просто годы прошли; это не страшно». Я посмотрела на него: он почти не изменился и не постарел, будто

у него на это не было времени; только морщины на лбу у него стали заметнее, как будто какая-то надпись была у него на лбу, господин судья, будто линия жизни, которая у него с ладони переместилась на лоб. И он смотрел на меня, смотрел на мои волосы, в которых начала уже появляться первая седина, и все повторял: «Ничего, это ничего; это просто время в твоих волосах». Но я знала, что он меня утешает, обманывает меня; я всю жизнь ощущала свое тело, господин судья, знала обо всех его недостатках и достоинствах. Я еще не совсем непривлекательна, но я понимала, что уже не та Люция, какой была, и это нормально, потому что я, в отличие от Яна Людвика, жила в мире, в котором время течет и где все предсказуемо, даже и медленный приход старости.

Людвик не стал ничего есть; сказал, что позавтракал в поезде и что не может дождаться, когда мы поедем. Я спросила его, куда мы едем; он сказал, что хочет свозить меня в одно место. Больше он ничего не хотел говорить; я приняла душ, и мы поехали на вокзал. Мы сели в поезд до Битолы; я предполагала, что он хочет съездить в Стоби. Он был странный: все улыбался и говорил, что человек может вернуться назад в прошлое и что можно еще раз пережить день, который уже

прошел много лет назад. В поезде мы разговаривали; он рассказывал мне о своей работе в цирке и о любви к Инне Колениной, говорил, что в эту любовь и он и она бросились с холодной страстью и что, в сущности, ему было хорошо, что он был счастлив и у него не было никаких причин расставаться с Инной, но он все же решил расстаться с цирком и с этой женщиной только потому, что у него не было на то никаких причин. Он жаловался (как только он умеет, с его-то владением словом), что заметил, что его органы чувств полностью мертвы, что даже к чудесам он холоден, потому что он потерял чувство невозможного, которого в цирке было слишком много; он сказал, что дошел до того, что чудеса стали для него обыденностью, и он захотел вернуться из-под малого неба (вероятно, он имел в виду цирковой шатер) под большое. Только поэтому он решил вновь пробудить свои органы чувств. (Я только теперь узнала, что он потерял ощущение равновесия и что он страдал синдромом Меньера; мне кажется, что он однажды сказал мне: цена осознания — потеря равновесия.) Я спросила его, шутил ли он, когда сказал мне по телефону, что хочет уйти в монастырь. Он ответил, что не шутил и что у него действительно есть такое намерение,

как только кончится этот день, предаться Богу. Он сказал, что пробовал жить и в большом, и в малом свете, но что нигде не нашел счастья; что в конце концов посвятит себя Богу, потому что у него есть знаки (так он и сказал) того, что Бог хочет ему явиться. Говорил, что несколько раз в жизни ему виделся яркий свет и он никак не мог понять, почему никто, кроме него, этот свет не видит; вместе с этим светом, говорил он, он слышал и прекрасную музыку. Я слушала, как он это говорил, совершенно убежденный в том, о чем он рассказывал, и меня это пугало; у Людвика, того Людвика, которого я знала, не было склонности к мистицизму. Он сказал, что в цирке этот свет являлся ему несколько раз и он выполнял умопомрачительные номера на трапеции, веря, что Господь бережет его. Он говорил довольно бессвязно, господин судья, и я не знала отчего: он выглядел очень возбужденным; нет, он не был пьяным, в этом я уверена, просто возбужденным; когда я ему сказала, что он слишком разволновался, он сказал: «Да, конечно; знаешь, что это такое — после стольких лет опять оказаться под настоящим небом?»

Потом я ему рассказывала о Партии, о Земанеке, о нашем браке, о Зденочке, но он меня не слушал.

Спросил меня, что стало с физкультурником; я ему сказала, что его наказали за то, что он побил ученика, и что потом его посадили в тюрьму за то, что он избил свою бывшую жену и ее мужа. Он все только улыбался и вдруг сказал: «Люция, я хочу показать тебе этот свет и эту музыку; для этого я тебя сюда привез». Я сказала, что не верю, что я увижу что-нибудь подобное, что это нужно заслужить, что нужно, чтобы человек был чист душою. Он сказал, что я должна послушать эту музыку и что ни джаз, ни народная музыка — это не музыка; они на самом деле только бледное отражение той настоящей вышней музыки; он сказал, что теперь ему смешно, что когда-то он защищал джаз от народной музыки, и то, что он написал в своем эссе, было чистой глупостью; сказал, что существует только одна музыка и что я непременно должна ее послушать.

Мы сошли в Стоби; он держал меня за руку, в его прикосновении не было ничего сексуального, ничего эротического; он держал меня, как будто он святой и хочет приобщить меня к священной тайне; мы шли и скоро пришли на то место, где он тогда напился столько лет назад, на экскурсии, около мозаики с павлином. Он стоял и смотрел на мозаику; вдруг он сказал: «Люция, а где другая

мозаика?» Я не знала, что он имел в виду. «Какая другая мозаика?» — спросила я. «Та, с пауком». Я сказала ему, что тут никогда не было никакой мозаики с пауком. «Была, — сказал он. — Была большая мозаика с огромным черным пауком, сидящим в великолепной паутине». Я убеждала его, что ничего подобного тут не было; я хорошо знала Стоби, потому что и Земанеку там нравилось и мы часто туда ездили в первый год брака. Людвик потом наклонился, встал на колени и внимательно посмотрел вниз. «Кто-то перенес мозаику, камень за камнем, — сказал он. — Кто-то перенес ее на другое место».

Потом мы лежали под деревом и курили; он курил и смотрел в небо; солнце стояло высоко, светило вовсю, и день был довольно жарким; мы лежали и молчали. «Ты о чем думаешь?» — спросила я. «Думаю о желтом масле детства», — ответил он. И рассказал, что у него была тетка, которую звали Цвета; у нее была парикмахерская в центре города; и что он все время, когда был ребенком, ходил к ней в парикмахерскую, а она после работы запирала свою парикмахерскую, вела его к себе домой и давала ему кусок хлеба, намазанный маслом; масло было желтое, и он никогда в жизни больше не видел такого желтого

цвета и никогда больше не слышал такого запаха. Где он только не спрашивал, где можно купить такое *масляное* масло (сущая тавтология, сказал он, но правдивая и необходимая, чтобы описать именно это масло); все эти годы, во всех городах, по всему миру он искал такое масло; масло стало у него вроде навязчивой идеи, настоящей манией, но он никогда и нигде так и не нашел масла такого цвета и с таким запахом. Он сказал, как и в тот вечер, когда мы его потеряли, что мир ему кажется страшно старым и что цвета предметов и запахи с течением времени слабеют; что у него есть желание вернуться назад, пусть даже в детство; я смотрела на него и видела, что мы вдвоем тонем постепенно в какой-то непонятной пустоте, что говорим о существенном, хотя кажется, что мы говорим какие-то незначительные вещи. Он спросил меня, помню ли я, каким шампунем я мыла волосы, когда училась в школе; я сказала, что не помню. Он сказал, что у меня волосы всегда пахли корицей; я ответила, что это невозможно, потому что я не выношу запаха корицы; а он меня убеждал, что так и было.

Мы лежали так под деревом не знаю сколько, довольно долго; я думаю, что уже и понятие времени потеряло смысл, потому что мы говорили

о чем-то, что не связано со временем. У нас не было никакого желания говорить о самих себе, о чем-то, что с нами уже произошло, потому что казалось, что между нами все уже произошло и что с нами больше ничего не может случиться того, что было бы нам неизвестно.

Но это только так казалось, потому что Ян вдруг протянул руку и начал гладить меня по волосам и по лицу. Воздух дрожал на солнце у нас перед глазами; все было совершенно нереально, да и его рука, гладившая меня, выглядела бестелесно, совершенно прозрачно. «Ян, — сказала я, — не надо». Он не реагировал, продолжал гладить меня по голове, пропуская волосы между пальцев. «Ян, неужели ты думаешь, что через столько лет можно?..» Он посмотрел на меня и сказал: «Нет, не думаю. — И добавил: — Я просто хочу, чтобы ты лежала совершенно спокойно и позволила мне исполнить мое последнее мирское желание». — «Какое желание?» — спросила я с удивлением. «Обещай, что будешь лежать, не шевелясь, полчаса». — «Что за глупости, Ян Людвик? Ты хочешь невозможного». — «Нет, — сказал он, — обещай».

И потом он стал меня упрашивать; просил, как малое дитя, совершенно по-детски; встал передо мной на колени, целовал мне ноги; говорил,

что просит, чтобы я только оголила живот; что больше ничего не требует и просит всего лишь на полчаса «дать ему взаймы мой живот» (так он и сказал, господин судья!); сказал, что клянется, что вообще до меня не дотронется руками; я смеялась, уж очень безумным было его предложение. «Ян Людвик, — сказала я, — мы же взрослые люди. Что это за глупости?» Он стоял передо мной на коленях и умолял только вытащить блузку из брюк и показать ему живот, он ползал передо мной на коленях, молитвенно сложив руки; я велела ему не сходить с ума, вести себя тихо. Он с восторгом смотрел на меня; глаза у него сияли, как у юноши; я сказала, что он ставит меня в очень неудобное положение и что, если кто-нибудь пройдет мимо и увидит, что средь бела дня *я показываю живот* какому-то неизвестному мужчине, меня объявят сумасшедшей; я сказала, что у меня есть дочка и что годы мои не те, чтобы заниматься подростковыми забавами под деревом, но он не сдавался. Я хорошо знала его характер и понимала, что так легко он не отвяжется; в какой-то момент я уже пожалела, что опять с ним встретилась, и сказала: «Ну ладно. Но только на четверть часа».

Он вскочил на ноги, открыл чемодан (он все время носил его с собой) и вынул из него бутылку

вина. Я лежала под деревом; чувствовала себя глупо, и мне было очень не по себе из-за того, что я согласилась исполнить чужое желание. Он сказал: «Закрой глаза». Я закрыла; он завернул мне блузку; в следующий момент я почувствовала, как что-то капает мне в пупок, и потом ощутила его язык в нем, в пупке; я дернулась и открыла глаза: «Ян Людвик, ты что делаешь?» Он склонился к моему животу, прикрыл пальцем горлышко бутылки так, чтобы из него капало по капле; он наливал вино мне в пупок и потом пил. «Я наполняю вином чашу мира», — сказал он. «Ты сошел с ума, немедленно прекрати!» — «Но ты же мне обещала, Люция!» — «Нет, Ян, не могу; я, может быть, тебе и обещала, но теперь отказываюсь», — сказала я и встала.

Он вдруг разрыдался; плакал, и я в первый раз в тот день всерьез задумалась о его психическом здоровье. Меня охватил страх; я чувствовала свою ответственность за то, что произошло, и не знала, что делать. Он сказал: «Я тебя просил лишь позволить мне выпить бутылку вина из твоего пупка, а ты не разрешаешь; а ведь ты сама знаешь, Люция, что я заслужил намного больше того, что прошу». Я попыталась ему объяснить, что это ненормально, что это совершенное безумие, что

я не смогу это вынести, что мне щекотно, а он сказал: «Может быть, для тебя это унизительно?» — и я в этот момент поняла, стала просто уверена в том, что Ян Людвик приехал не просто так и что жажда мести — не важно, что он притворялся, что он равнодушен к тому, что с ним случилось, — все еще горит в его душе. Наверное, поэтому он и решил сначала отомстить, чтобы потом мог с чистой душой предаться своему Богу.

Но он уже лежал на спине, униженный и оскорбленный. Курил. Я спросила его, сердится ли он на меня. Он ответил, что сердится. Сказал, что хотел только, чтобы мой пупок стал для него чашей, мерой для последней бутылки вина в его жизни; я сказала ему, чтобы он не говорил так, потому что я суеверна и не люблю, когда говорят о чем-нибудь последнем в жизни. Он сказал, что все в порядке, предложил идти обратно; я согласилась. Мы встали; он взял меня за руку, но вдруг произошло нечто странное: мои руки сами потянулись к его лицу, и уже в следующий момент я прильнула к нему и обняла его. Он не хотел меня целовать; я сказала, чтобы он поцеловал меня; он ответил: «Нет. Сначала дай мне чашу»; сказал это капризно, по-детски, как будто он мой ребенок; я рассмеялась, засмеялся и он, и я сдалась.

Он просил, чтобы я отдала ему давно украденную, потерянную чашу. Просил, будто это зубная щетка, которую кто-то украл; и было невозможно отказать ему в этом желании.

Потом я легла под дерево; я решила дать этому несчастному дурачку то, что он хочет; я оголила живот, и он начал свой ритуал: лил по несколько капель в пупок, а потом слизывал их языком. Это длилось бесконечно долго; сначала мне было щекотно и я отстранялась, а он возвращал меня на место, грубо и резко, и продолжал. Я чувствовала себя предметом, *чашей,* чем-то, чем кто-то пользуется. Сначала это было мне все равно, даже в известном смысле я сочла это унижением, своего рода местью, придуманной Яном Людвиком, но через некоторое время я начала тонуть в каких-то неведомых глубинах; я думала, что теряю сознание, потому что передо мной стал возникать какой-то неведомый свет. Я теперь даже не помню, разговаривали ли мы в процессе, думаю, что нет. Помню только, что внезапно, когда это унижение для меня уже ничего не значило, даже начало мне нравиться, он встал и сказал: «Все. Чаша пуста». Потом подал мне руку, помог встать, поправить и отряхнуть одежду; выбросил пустую бутылку в кусты, и я только

тогда увидела, что солнце уже стоит низко и что день начал потихоньку угасать. Пейзаж вокруг золотила целая паутина из лучей, и невозможно было определить источник этого странного рассеянного света. Мне что-то кололо пупок, я задрала блузку и увидела, что на пупке лежит черный паук моей юности, бабушкина брошка; Ян Людвик, видимо, вернулся из цирка, из белого света, чтобы мне ее вернуть, и, выпив свое питье, он запечатал чашу пауком.

Я посмотрела на брошку, взяла ее и покрутила в руках; Ян стоял в стороне, он был будто в каком-то трансе, как в бреду. Он сказал: «Я украл ее в тот вечер на набережной. Вернее, не украл: она просто ко мне прицепилась». И тут я решила вернуть ему то, что принадлежало ему и что я положила себе в карман сразу после того, как он мне позвонил и сказал, что придет.

Я сунула руку в карман и сказала: «Ян Людвик, и у меня есть кое-что твое». И я достала из кармана его тетрадку со стихами; она немного пожелтела, но была цела; на ней большими буквами было написано «Загадка». Он взял ее, руки у него дрожали. «Значит, тебе ее все-таки вернули?» — спросил он. Я рассказала ему, что спасла ее совершенно случайно; после того допроса Фиса

уволили; новый директор выбросил все из ящиков стола, включая и тетрадку; я совершенно случайно шла мимо его кабинета и увидела ее. Нагнулась и подняла тетрадь.

Потом он обнял меня, и мы, как старые добрые друзья, пошли по шпалам. «В Велесе сядем на поезд», — сказал он. По дороге я рассказывала ему, что Земанек очень изменился и что он живет с другой женщиной, но мне кажется, что он меня совершенно не слушал. Он только все посматривал на часы и говорил, что нам нужно поторопиться; он сказал, что нам нужно быть у моста и туннеля до половины восьмого, потому что тогда проходит экспресс. И мы пошли; в какой-то момент я почувствовала, что со мной не все в порядке; меня будто кусало что-то, как ядовитый паук; у меня закружилась голова, мне стало дурно, и у меня ослабли ноги. Я чувствовала, будто тону; солнце было уже совсем низко над горизонтом, и все вокруг окрасилось в какие-то странные, необычно блеклые цвета; что-то было в воздухе, какое-то электричество; я почувствовала и какое-то неопределенное телесное возбуждение; в один момент я привлекла Людвика к себе, и мы долго целовались на путях. Он сказал, что теперь это нехорошо, сказал, что

он решил предаться Богу и что такие искушения ему не нужны; потом опять посмотрел на часы и заторопился; мы очень быстро дошли до моста. За мостом зияла мрачная дырка туннеля. Ян остановился. И в следующий момент сказал: «Прощай, Люция!» — бросил чемодан рядом с рельсами и ухватился за металлические конструкции моста с правой стороны; влез очень ловко, как гимнаст на перекладину; залез на самый верх и стоял на последней балке моста. Я закричала: «Людвик! Слезай, Людвик!» Он засмеялся совершенно безумным смехом; я думаю, что тогда он уже совсем потерял контроль над собой; «Знаешь, Люция, знаешь ли ты, где находится центр мира, Люция? Он в твоем пупке, Люция, потому что я перенес центр Вселенной из цирка в твой пупок, где он и должен быть, где он и был, только Земанек этого не видел, да и ты не видела; передай ему, что он просто дурак», — сказал он. Я умоляла его слезть, потому что в любую минуту мог проехать экспресс, но он сказал: «Не волнуйся, Люция, я творю чудеса; я остановлю поезд взглядом, одним взглядом я остановлю его; я останавливал и кое-что побольше в жизни, Люция! Я могу взвалить себе на спину целый свет и принести его, Люция, только для тебя; я не настолько слаб, как тебе

кажется, Люция!» И потом прямо там, на мосту, на самой верхотуре, начал выплясывать какой-то танец — резкие, безумные, гневные движения. «Люция! — кричал он. — Смотри, Люция, как я танцую: оп, оп, оп!» И прыгал с балки на балку. «Помнишь лестницу, опирающуюся только на небо, Люция?!» — кричал он как сумасшедший. И смеялся.

Издалека уже слышался шум приближающегося поезда, который, почти не переставая, гудел и мчался, как всякий экспресс; я стояла на путях и кричала: «Слезь, Людвик! Слезь ради бога!» Но он стоял наверху; ветер раздувал его волосы. Он отвечал: «Нет. Не слезу, Люция. Я уже был когда-то, Люция, был уже и юношей, и девушкой, и кустом, и рыбой, играющей в воде. Я хочу спросить тебя еще вот о чем, Люция: зачем твоя Партия и ты хотели меня кастрировать? Зачем, Люция? Чем вам мешали мои гениталии? Вот, посмотри, они совсем обыкновенные, как у всех остальных». И он стал расстегивать ширинку, господин судья.

Потом все произошло очень быстро: экспресс появился из-за поворота, страшно гудя; машинист включил сирену, потому что я стояла на путях, а Ян Людвик стоял на самом верху моста, расставив ноги, расстегнув брюки, держа член в

руке; я побежала направо от моста и скатилась с насыпи; остановилась только у реки, в кустах; локомотив проехал под Яном и уже въезжал в туннель. А Ян с моста, охваченный невиданным гневом, невиданной гордостью, невиданной яростью, начал мочиться на весь мир с высоты, на контактную сеть под напряжением, на вагоны, безумно смеясь; он кричал: «Люция-а-а-а! Я обещал тебе остановить поезд с помощью чуда; и он не въедет в туннель, Люция! Я раньше и целые миры передвигал, неужели меня испугает какой-то экспресс, Люция!» И в следующий момент я увидела молнию, разряд над сетью; увидела свет, страшную вспышку, в десять тысяч раз сильнее солнца, яркую, как очи Господни; такого света я не видела никогда в жизни, господин судья; свет был фиолетовым, везде одинаковым, совершенным, постоянным, ибо не был он одним в одно время и другим в другое время или одним в одном месте и другим в другом месте, не был для одних прекрасным, а для других безобразным; свет этот сиял всего один миг, показавшийся мне целой вечностью, и я знала, что и Ян Людвик видел этот свет с самого начала, и, хотя я была испугана и в шоке, я была счастлива, что Ян увидел этот свет еще раз.

И потом вокруг стал распространяться запах корицы.

И в следующую минуту я услышала, как останавливаются вагоны в туннеле, как экспресс теряет силу, не может промчаться сквозь туннель, как он останавливается, выбившись из сил; а через мгновение из туннеля выбежал обезумевший, что-то кричащий машинист, молодой человек с бородкой, лысый, с волосатыми руками; из вагонов вылезали люди, много людей, целый город, целый мир; все собрались на мосту, под контактной сетью, оставшейся без напряжения, и смотрели на обуглившееся тело, висевшее на проводах; кто-то упал в обморок, а другие кричали: «А где женщина? Где женщина, которая была с ним?» — и я увидела, что они бегут ко мне, совершенно спокойно закрыла глаза и потонула в какой-то блаженной тьме.

* * *

Вот что случилось, господин судья. Я понимаю, что все это весьма необычно. Но все именно так и было. Потом перед похоронами, еще в морге, вынесли цинковый гроб. Сказали: открывать нельзя. А некоторые из простых людей, из его родни, говорили: «Давайте откроем гроб и по-

смотрим на него еще раз, посмотрим, весь он там или нет». И очень старались, но так и не сумели, по воле Божьей. Но изнутри доходил странный звук, будто шуршание книг, страниц бесчисленных, будто слова золотые двигаются, создаются и переписываются.

Судмедэксперты сказали еще, что в кармане его пиджака нашли обуглившийся клубок; это, по их мнению, была какая-то тетрадка, на которой были еле видны буквы; экспертиза показала, что это книжечка стихов. Попробовали извлечь один лист, но весь клубок распался. Только в центре остался один полуобгоревший лист, на котором были едва видны слова: «Ян Людвик. ЗАГАДКА».

Вот и все, что я знаю, господин судья.

И наверное, нужно сказать: я не чувствую себя виновной.

Послесловие
(Рецензия на книгу «Пуп земли»)

Откликаясь на неоднократные и настойчивые просьбы г-на Людвика, брата покойного Яна Людвика, я, будучи доцентом литературы и к тому же профессиональным критиком, согласился набросать пару слов для издания, которое вы держите в руках.

Сказать по правде, я пишу эту рецензию для второго издания этого «романа». Для первого, несмотря на невыносимое давление со стороны издателя, г-на Людвика, бухгалтера, я отказался писать что-либо, потому что считал, что «Пуп земли» — вещь в первую очередь сомнительная (как в том, что касается ее авторства, так и ее подлинности). Но были и другие причины, по которым я не хотел идти навстречу желанию брата г-на Яна. Скажу несколько слов об этих причинах.

Во-первых, отнеситесь с большой долей скепсиса к тому, что текст, который вы только что прочитали, является художественным произведением. Я лично и персонально нахожу достаточно

симптоматичные места в этом сочинении с точки зрения теории, особенно в «романе» Яна Людвика. А именно: данный текст вообще проблематично называть романом, потому что он в большой мере отходит от того, что теоретики в настоящее время называют «правилами романного жанра». В нем много заимствованных персонажей из произведений, которые нам (людям, профессионально занимающимся литературой) прекрасно известны, так называемых цитируемых персонажей. Наиболее заметны персонажи, взятые, например, из «Шутки» Кундеры. Но не менее важны и явственны мне, как доценту литературы, аналогии между этим незрелым текстом и моим романом «Азбука для непослушных». Например, и там и тут существует персонаж, у которого «на шее бьется жилка» (там это Евфимий, здесь — Стефан); и там и тут заметно черно-белое, практически манихейское структурирование персонажей; ясно видна и схожесть между Философом и Красавцем из «Азбуки». Очевидно, что покойный Ян Людвик пользовался моим романом и что, кроме всего прочего, текст находится на границе понятия «плагиат» по отношению к моей «Азбуке». И там и тут выводятся некие тезисы о письменности, азбуках и вообще име-

новании, которые у меня, доцента литературы, являются результатом многолетнего, систематического, мучительного образования в области семиологии, то есть теории знаков, как и других пограничных дисциплин, имеющих отношение к науке о тексте.

Но я не сержусь, поскольку, повторяю, речь идет о начинающем авторе, который испытывал необходимость опереться на авторитет. Кроме того, автор уже мертв, и неудобно было бы назначать экспертизы, которые подтвердили бы факт плагиата. Кому от этого была бы польза?

Но главным в решении не писать рецензию на первое издание все же были видные невооруженным глазом провалы в логике повествования, или *проайретического кода*, а также в логике структурирования экзистентов (персонажей), или семического кода, как мы это по-научному называем в академических кругах. В романе встречаются такие ошибки, которых не позволил бы себе ни один начинающий. У автора, очевидно, были проблемы как со счетом, так и с логикой. Как иначе объяснить то, что, например, автор утверждает, будто его персонажи ездили из Константинополя в Дамаск и обратно за десять дней? (Если у вас первое издание, обратитесь, по-

жалуйста, к с. 51; там говорится, что отец Стефан за десять дней успел добраться из Константинополя до Дамаска и вернуться назад! Этот же «подвиг» повторяет и Илларион Сказитель!) Даже если речь идет о чуде, это уж слишком, потому что святые не летают по небу, как реактивные самолеты! Насколько мне известно, тогда не существовало поездов; удивительно, как покойный г-н Ян Людвик не заметил этого упущения, раз он возрастал на такой изысканной литературе, на какую указывал его брат в своем предисловии, — среди этих произведений, естественно, находится и мой роман «Азбука для непослушных», вышедший задолго до этого «романа», исследующий похожие темы и использующий похожие стилевые решения!

А что вы скажете об этом (цитирую): «У нас в цирке есть только круг радиусом метров в двадцать, и все же у нас в цирке целый мир (я подсчитал, что по формуле πr^2 площадь получается всего 31,4 м^2)»?! Наука, называемая математикой, господа, являющаяся сестрой символической логики, говорит нечто иное: 3,14 (значение я), умноженное на 400 (то есть на 20 в квадрате), равно 1256 квадратным метрам. Разница между 1256 и 31 квадратным метром, согласитесь, доста-

точно велика, чтобы заключить, что либо автор этого произведения совсем лишен таланта, либо его персонаж никогда не был в цирке, поскольку, если бы он там побывал, ему бы стало совершенно ясно, что площади в 31,4 квадратного метра не хватит для размещения одного-единственного слона! Конечно, Ян не бухгалтер, как его брат, но эти недочеты могли бы исправить люди, готовившие издание к печати! Или редактор, или корректор, или издатель!

Или еще: в нескольких местах из-за недостаточной аккумуляции различительных признаков между одним и другим экзистентом (это как раз то, что постигается тяжелым писательским и теоретико-профессиональным трудом) непонятно, идет ли речь о дочери логофета или дочери царя. Читателя вводят в заблуждение, он может подумать, что логофет и царь — это один и тот же персонаж, чего точно не может быть, потому что это нарушает то, что мы, профессионалы, называем «энциклопедическим» кодом произведения, который напрямую участвует в построении горизонта достоверности художественной структуры. А именно: известно и наукой историей установлено, что Византией управлял не только император, но и логофет, но это не одно и то же лицо. Или, са-

мая большая глупость (простите за выражение): на с. 50 рассказчик говорит нам, что лично был свидетелем того, как двери тайной комнаты открыли во второй раз, что произошло «десять лет назад». Двери в тайную комнату открыл и внутрь к букве-девушке вошел отец Мида. На с. 156 тот же самый рассказчик утверждает, что отец Мида зачал его с буквой-женщиной в ту ночь, когда открыли двери! Другими словами, рассказчик родился еще до момента своего зачатия; он, еще не будучи зачатым, был свидетелем полового акта, от которого родился! Ну уж вы меня извините! Кто он? Господь Бог? Его посланник на земле?! Кроме того, из этого вытекает, что даже если бы так и было (сюрреалисты и фантасты должны раз и навсегда понять, что и в *странном, чудесном и фантастическом* должна присутствовать элементарная логика повествования!), то ему в момент, когда он записывал свое свидетельство, было всего лишь девять лет и три месяца (девять месяцев необходимо для того, чтобы выносить плод, пусть и «букве-женщине»!). А если ему всего неполных десять лет, сколько же лет тогда его брату, Стефану Буквоносцу?! Двадцать?! А если ему двадцать, откуда у него «стариковские руки», «морщины» и «глаз, закрытый бельмом» (по-

научному «катаракта», болезнь, по заверениям специалистов-медиков, старческая)?! Очевидно, что многое в логической перспективе повествования функционирует неправильно. Не важно, что автор пытается прикрыть эти недостатки, используя «колеблющегося» рассказчика и клише типа «Если вы мне верите, хорошо, а если нет — это ваше дело» или «Если это правда и если слово вообще может быть правдивым».

Я бы не хотел, чтобы мое естественное желание как критика говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, как и моя репутация критика, у которого «что на уме, то и на языке», были истолкованы в этом контексте как ревность или, не дай боже, зависть, причиной которых стал успех, постигший роман покойного г-на Яна Людвика после его выхода из печати. Это правда, что роман получил две крупные литературные премии, но моя обязанность как критика-рецензента говорить о произведении откровенно, не оглядываясь на признание публики. Тем не менее я искренне удивлен, как вышло, что критики и члены жюри до сего дня не заметили этих недостатков. Неужели это означает, прошу прощения, что в этой стране никто, кроме доцентов литературы, не читает книг и не знает, что такое

логика?!

Я пишу это в то время, как г-н Людвик ждет, чтобы передать уже готовые пленки второго, дополненного и исправленного издания в типографию. Поэтому тут нечего долго теоретизировать; я просто исполняю его желание. Мне очень приятно, что г-н бухгалтер, после того как я указал ему на недостатки, признал, что действительно существует необходимость их исправления. Надеюсь, что он послушался меня и устранил эти очевидные ошибки (а не только опечатки).

Еще хотел бы сказать, что, кроме других несомненных недочетов (заметных и, по моему мнению, ненужных замедлений повествования, на профессиональном языке именуемых *ретардацией*, особенно в первой части), «роман» страдает от нескрываемой и местами бесполезной *поучительности*, то есть перегружен притчами, почерпнутыми из христианского вероучения. Понятно, что в этом есть и своя ценность: искренность в постановке некоторых важных, экзистенциальных вопросов, а также искреннее автобиографическое отношение к феномену первой любви.

В конце несколько слов и о дневнике. По мое-

му мнению, этот наш литературный дебютант (как говорится, к сожалению, ныне покойный) лучше всего умеет выражать свою мысль в полуэссеистической форме, хотя и в ней чувствуется известная неопытность в отделении более важного от менее важного. Тем не менее нам запомнятся некоторые пассажи из его дневника, в которых он теоретизирует по поводу общеизвестных болевых точек нашей цивилизации.

О свидетельских показаниях Люции Земанек сказать нечего: стилистика и теория прозы уже давно не занимаются юридическими высказываниями такого типа.

И чтобы закончить (может быть, и слишком строго, но к этому меня обязывает не только мой беллетристический, но и прежде всего доцентский опыт, а также научный идеал объективного, систематического и исчерпывающего описания): речь идет о начинающем авторе, который, несмотря на указанные недостатки, тем не менее предложил нам временами интересный и читабельный текст. К сожалению, любителя (в самом чистом смысле этого понятия), о котором идет речь, уже нет между нами. Если бы он был жив, может быть, в какой-нибудь своей будущей публикации он развил бы свой несомненный талант

и обеспечил бы себе место в галактике признанных македонских литературных ценностей.

Суважением, *д-р Венко Андоновский, доцент литературы*

Приложения

О подлинности фотокопии, или — «Загадка»!

Скажу сразу: я бухгалтер и в отчетности люблю определенность. Воспринимайте то, что вы сегодня имеете возможность прочитать, как и «роман» моего брата, с достаточной долей скепсиса. А именно: перед вами специально включенная во второе издание «романа» моего брата тетрадка стихов, которые мой брат написал во время обучения в гимназии, посвятил своей любимой «девушке с раскосыми глазами», которую, как вы теперь знаете, зовут Люция Земанек. На самом деле ее зовут не так, потому что, как вам известно, я из очевидных соображений благоразумия изменил настоящие имена в дневнике брата, позаимствовав их из «Шутки» Кундеры.

Первое: почему я печатаю стихи брата? Главным образом потому, что, по моему убеждению, они послужили основной причиной всей несчастной судьбы моего брата и этого издания. От них все и пошло, как от яйца. Из них, в сущности, и «вылупился» роман моего брата. Это более чем очевидно. Они, как говорит г-н доцент Венко

Андоновский, были *предтекстом* романа. Я бы сказал, предтечей.

Как бы то ни было, вот эти стихи, которые брат написал, когда ему было всего семнадцать лет. Вы наверняка удивляетесь, как это возможно, потому что из свидетельских показаний г-жи Люции Земанек вы уже знаете, что от тетрадки не осталось и следа, потому что, когда судмедэксперты попытались извлечь тетрадку из кармана обугленного пиджака моего брата, она рассыпалась и остался только один полуобгоревший листок, на котором было написано: «Ян Людвик. ЗАГАДКА».

Так вот, дорогие мои читатели, вернее, читатели моего брата: к счастью, существует список, то есть копия оригинала. Доцент литературы, уважаемый г-н Венко Андоновский, сказал бы, что плохо, что в этом мире так много копий и так мало оригиналов (еще вчера, когда я ждал его с готовыми пленками в руках, чтобы забрать у него рецензию на это второе издание, он рассказывал мне о симуляциях и симулякрах и упоминал некоего господина, по-моему, по фамилии Бодрийяр), но в данном случае наличие копии этой тетрадки мне кажется невероятно удачным обстоятельством. Существованием фотокопии стихов моего брата мы обязаны матери г-жи Люции, которая

еще тогда, когда Ян подарил тетрадку Люции, прочитала стихи и просто-напросто сделала фотокопию, потому что они ей понравились! Однако, по ее словам, она скопировала только те стихотворения, которые ей приглянулись!

И этот случай «улучшения» оригинала доказывает, что при изготовлении любой копии (как говорит и мой брат в своем «романе»), мы все больше отдаляемся от оригинала, а тем самым и от Бога. Другими словами, от каждого оригинала мы берем только то, что соответствует нашим критериям!

Но, к сожалению, даже эта версия оригинала не дает нам ответа на все вопросы по поводу ее оригинальности, то есть подлинности. Я говорю, следовательно, о подлинности копии, а не о подлинности оригинала! Во-первых, рукопись, лежащая перед нами, содержит только девять стихотворений, а в оригинале, в соответствии с дневниковой надписью моего брата, их было пятнадцать. Вот что он пишет: «...я написал для Люции пятнадцать стихотворений. Отпечатал их на старой машинке в школе, переплел их в картонную папку, озаглавил «Загадка», написал посвящение: «Девушке с раскосыми глазами» (на копии, между прочим, стоит посвящение

«Девушке с раскосыми *очами»),* а на первой странице написал свой номер телефона (которого здесь нет! — *м.* з.[1]) и послал Люции с одной ее подружкой».

Очевидно, что многое не совпадает. Или Ян плохо помнил, сколько стихотворений он написал Люции, или по ошибке думал, что написал свой номер телефона на первой странице, или кто-то подменил первую страницу рукописи. Но зачем кому-либо это делать? И где найти точно такую же пишущую машинку, у которой к тому же нестандартный шрифт?

Мои сомнения по поводу подлинности (фото)копии разделяет не только Люция Земанек, но и доцент литературы, уважаемый д-р Венко Андоновский. А именно: в одном разговоре на совсем другую тему Люция Земанек сообщила мне, что ее мать в молодости писала стихи и не скрывала своих литературных устремлений. Я попросил Люцию показать мне некоторые из этих стихотворений. Я был в настоящем шоке: стихи были отпечатаны на машинке с таким же

[1] Примечания: 1

Сокращение «м. з.» означает «мое замечание». Со всей ответственностью заявляю вам, что во всем издании только эти высказывания (обозначенные данным сокращением) являются полностью достоверными, то есть определенно моими! Все остальное — спорно!

точно шрифтом, как и стихи Яна! Тогда я подумал: может ли быть такое, что в рукопись попали стихотворения матери Люции, которая, воспользовавшись тем, что единственный экземпляр «Загадки» навсегда утерян, просто напечатала новый титульный лист «Загадки» (при этом она исправила посвящение и не написала номер телефона, потому что не знала, что он должен был там быть), а потом предоставила свои произведения для второго издания, чтобы они вышли под именем моего брата, который посмертно получил немалое литературное признание?! Таким образом она могла бы символически, пусть и под чужим именем, удовлетворить свои нереализованные литературные амбиции! Ни на минуту не хочу думать, что это так и было. Госпожа Люция Земанек, ее дочь, со своей стороны, когда я спросил, принадлежат ли эти стихи перу Яна Людвика и узнает ли она их, ответила: «Думаю, что да». Но потом она сказала: ей кажется, последнее стихотворение ей совершенно незнакомо и она почти уверена, что раньше его не видела. Она также заявила, что ей кажется, отдельные стихотворения изменены — в том смысле, что вставлены некоторые слова. Например, она утверждает, что в стихотворении «Раскосые глаза» в восьмой строч-

ке, которая теперь звучит: «заливы, пересохшие уж было, и седименты», слов «и седименты» не было в единственной и оригинальной версии и что это очевидная вставка. Но нет ответа на вопрос: как возможно дополнить стихотворение на фотокопировальной машине?

Вторую причину для сомнений озвучил г-н Венко Андоновский, имевший возможность ознакомиться со стихотворениями. Он в первую очередь сообщил мне, что некоторые из девяти стихотворений, в соответствии с результатами его профессиональной психолингвистической и психориторической экспертизы, не соответствуют семнадцатилетнему возрасту. У меня волосы встали дыбом на голове, когда он, независимо от Люции, сделал вывод, что последнее, девятое стихотворение отличается от других своей зрелостью и, скорее всего, было вставлено позднее! Но опять-таки нет ответа на вопрос, кто, и когда, и с помощью какой пишущей машинки, и, главное, как сумел вставить его в оригинал?! И кто, в конце концов, автор этого стихотворения? Г-н Андоновский утверждает, что оно и стилистически достаточно сильно отличается от остальных восьми. При этом он намекнул, что для детальной экспертизы сейчас нет времени и что, вероятно, в

случае ее проведения он потребовал бы выплаты некоторого авторского возмещения, поскольку доцентам литературы (как известно) платят не особенно хорошо.

Как бы то ни было, все страшно усложнилось, когда г-н доцент сообщил мне, что более детальная стилистическая экспертиза, скорее всего, показала бы, что некоторые стихотворения представляют собой всего лишь свободный поэтический парафраз известных стихотворений популярных поэтов Анте Поповского, Петре М. Андреевского и Радована Павловского! Тем самым получил бы свое подтверждение тезис о том, что все написанное моим братом уже существовало ранее и, может быть, было лучше того, что написал он.

И наконец: я больше не могу со всем этим справиться. Все это зашло уже слишком далеко, даже и для бухгалтера, который держит все под контролем! А когда несколько дней назад совершенно случайно в кармане старого пиджака моего брата я нашел письмо, которое написал ему наш известный писатель Бранко Варошлия, — очевидно, в ответ на письмо, в котором мой брат спрашивал его мнения по поводу своих стихов (а это означает, что Варошлия держал в руках стихотворения

Яна к Люции!), — и когда я увидел там некоторые замечания, относящиеся к стихотворениям, которых у нас попросту нет, я решил опубликовать все, включая и это письмо!

Судите сами, что есть что и что здесь подлинное, а что нет. И конечно, насколько это все ценно. Потому что, понятно, подлинность есть то же самое, что и ценность.

Издатель

Ян Людвик
ЗАГАДКА
Девушке с раскосыми глазами

НЕДОСТИЖИМАЯ

Мраморностью своего мощенья
Меряет поле бескрайность столетий,
А за рядами деревьев
Ветры крест-накрест выплясывают
Пространства четвертое измеренье.

Я унес тебя на руках
Туда, где рождается день,
И вот оставляю одну,
А потом ухожу, не оборачиваясь,
И я знаю, что сам себе лгу,
Притворяясь, что забыл о твоем существовании.

Я пройду от начала времен,
От Адама и Евы,
Через свет далеких веков

И шепот морей пересохших,

Чтобы, дойдя, повернуться на восток
И опять тебя увидеть — Недостижимую.

ДЛИННОВОЛОСАЯ СКИТАЛИЦА

Ты не поешь, как алконост,
И не тебе секрет открылся,
Как радуги построить мост,
Но все же я в тебя влюбился.

Зато в тебе немало эманаций,
Неведомых химическим таблицам.
Я пью их в череде реинкарнаций,
Но вдоволь не могу напиться.

Длинноволосая скиталица,
Спеши, ведь жизни завершенье
Грядет, и души переселятся
Туда, где были до рожденья.
И все — святой и вертопрах —
В могильный обратятся прах.

Все, но не ты!

Пусть даже пеплом станет тело,
Притворной будет твоя смерть.
За нею — дальние пределы,
И книги судеб новые листы,
И жизни круговерть.

МАЙ БЕЗ ТЕБЯ

Когда мы повстречались в школе,
Расцветала акаций аллея,
И заждались нас маки на поле,
Лепестками бесстыдно алея.

Как из древнего палимпсеста,
От тебя я узнал, что Всевышний
Из дрянного слепил нас теста —
Нам любовь даже стала лишней.
Мы живем, чтоб свой путь пройти
До последнего хрипа и вздоха.
Но и смерть, как там ни крути,
Жизни факт подтверждает плохо.

И опять здесь весны толчея,
И опять в поле маков тыщи.

Пусть мы призраки, ты и я,
Но вернись, о любовь моя!
Мы в акациях май отыщем.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

Школьная сказка
Следы нашего расставания
На дорожке, где мы ходили,
Уже новым асфальтом залили.
Лишь остались на задней парте
Знаки, будто мы расстояния
Отмеряли на старой карте.

Икс и игрек, минус и плюс,
А под ними, где профиль твой,
Нацарапанное «Я люблю...»,
Зацарапанное — кого.
Здесь нас нет с тобою давно,
Только парты как монументы.
Плюс и минус слились в одно,
Так близки, но не эквивалентны.

Мы идем по дорогам разным,

Я отправился вверх, ты — вниз.
Над вопросом я бьюсь не праздным,
Где же ты, помоги, отзовись.
Одному мне никак не справиться:
В чем, скажи, между ними разница
И что лучше — горы крутизна
Или пропасти бездна без дна?
Если глянуть со стороны,
Они эквивалентны, равны.

И сдается, нашел я ответ:
Пусть нас в разные стороны вынесло,
Но без низа ведь верха нет,
И одно без другого немыслимо.

Реверс с аверсом у монеты:
Смотрят врозь, но эквивалентны.

РАСКОСЫЕ ГЛАЗА

Послушай сказ о неземной красе.
Он сохранился в колокольном звоне
Церквушки, поглощенной морем. В нем

Луна, бледнея, выплывает, чтобы

Утес увидеть, где ты одиноко
Сидишь с времен неведомых. В твоих

Глазах омыло море влагой новой
Заливы, пересохшие уж было, и седименты,
И сень прельщает странников усталых,
Манит в ее глубины. Ты потом

По мраморным ступенькам сходишь в море
И тонешь тихо в серебристой зыби
Ночных фосфоресцирующих волн.
И в этот миг все сущее в восторге
Бессильно замирает пред тобой,

О красота.

МИР НЕ СОЗДАТЬ БЕЗ ТВОЕГО ЭЛЕМЕНТА

Всмотрись в потухающий космос —
Увидишь в нем то же, что я:
Идет диффузия — обратный осмос,
Рождается новое из отложений старья.

Мир новый явился, но монумента
Он глыбой недвижной лежит и доныне:
Ему не хватает твоего элемента,
Как первоплевка первоглине.

И пока мраморное море устало
Небо рельефит без роздыха,
Тишину кровавит каменное кресало,
И красные чайки парят в алом воздухе,
Закат прозевать боясь,
И приход твой, любовь моя,
К южным безвестным морям.

ТЫ — МОЯ АТЛАНТИДА

Мы, моряки, застыли в онемелости,
Остановившись, чтобы посмотреть
На синюю, в волнах, плиту могильную.
Под нею — наших тел окаменелости,
Чужая и ржавеющая смерть.

Заклятие на мне со дня рождения:
Моря пересекать, ища мираж,
И я с покорностью бессильною

Высматривал до глаз остекленения
Тебя — корабль, не взятый в абордаж.

И вот теперь — сдаюсь,
Пусть вешают на рее,
Я мертв и так давно.

Над казнью посмеюсь:
Ведь жить труднее,
Чем тихо лечь на дно.

А в море южном, ненависть струя,
Кляня свою планиду,
Смеются кости тех, кто, как и я,
Поверил в Атлантиду.

ТВОЕ ЭХО — МОЕ ДЫХАНИЕ

Поднимись к старинной церкви:
Папоротник, там растущий,
Тебе скажет, что когда-то
Мимо шли святые старцы.
Здесь они остановились,
Прошептали твое имя,
И оно на крыльях эха

Улетело к синю морю.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОСЛАНИЕ ЛЮЦИИ

Тяжело о тебе мечтать,
Время красить твоим дыханьем
И, мечтая, вдруг вспомнить опять,
что меня уничтожить и смять
Можешь ты лишь одним невниманьем.
Но тебя восславить готов,
О Люция, свет мирозданья,
Лишь один я, и больше никто.

Твои волосы, о Люция,
Рассыпаются по подушке,
В сновиденьях твоих юнцы и
Их юницы: друзья и подружки,
А меня из снов гонишь ты
Так, как гонят из парка мальчишку,
Обрывавшего с клумбы цветы.
И мне больно от этого, словно
Я споткнулся о слово-ледышку
В псевдонежном письме любовном.

Неужели приходит то время,
Когда мы друг другу изменим:
Я — тебе,
А ты — мне,
И до гроба

Так ни с чем и останемся оба.

Дорогой Ян!

Сразу хочу тебе сказать, что ты приятно удивил меня своими первыми опытами в литературном аду. Самым важным я считаю тот факт, что ты не обманываешь, не притворяешься, что ты старше, чем ты есть, не делай этого и в дальнейшем и не притворяйся, что еще хуже, потому что это невыносимо в любом искусстве, но заметнее всего в литературе. Ты молод, ты любишь, ты беспрепятственно путешествуешь по миру эмоций и идей, ведь даже смерть — это не символический скелет и острая коса, а «синяя, в волнах, плита могильная».

Говоря проще, тебе удается и жизнь, и слово о ней.

Если тебя уже увлекла Македония, то

не говори нам то, что ты о ней знаешь. Гораздо сильнее ты сумеешь увлечь нас, если напишешь о том, что тебе в ней неведомо. Поверь, этим ты будешь интереснее. Перед этой загадкой теряли дар речи люди и поумнее, и поопытнее нас с тобой, вместе взятых.

А теперь желаю тебе много успехов в будущем и до свидания. Ты не знаешь и, Бог даст, никогда не узнаешь, что значит, когда тебе постоянно напоминают, чтобы ты не опоздал на докучное совещание. Передавай привет своим домашним и раскосым глазам.

Скопье, 7 окт.
Б.Варошилия